

Декабрист Кривцов и его братья

Предисловие

Хорошо на час-другой уйти душою в прошлое, и отдохнуть, и освежиться там в созерцании иной жизни, в забвении себя и оглушающей сумятицы дня; а если окунуться глубже — большие течения истории неизбежно выносят мысль из прошлого назад в настоящее, но окрепшею и просветленною.

Таков и замысел этой книги: углубиться в одной точке прошлого — до основных течений истории, рассказать судьбы одной семьи так, чтобы сквозь них стало видимо движение общественно-психологических сил. Я выбрал для такого изображения эпизод из истории того времени и того круга, где совершался коренной перелом в истории русского общества, и эпизод, как мне казалось, достаточно типический. Мне было увлекательно вглядываться в эту повседневную жизнь, следить за снованием ее маленьких челноков, как будто случайно переплетавших нити по всем направлениям, и однако выводивших прекрасный сложный узор, вовсе не случайный; в надежде приобщить и других к участию, какое возбуждали во мне самом те дела и люди, написана эта хроника стародавних лет.

Она написана на основании бумаг семейного архива Кривцовых, переданного мне Е.Н. Орловой^{1*}, неизданных дневников Н.И. Кривцова и писем его и его жены к Чичериным, предоставленных мне А.А. Чичериной^{2*}, на основании официальных документов, какие нашлись в архивах: Государственном, Комитета Министров, Министерства Внутренних дел и Министерства Иностранных дел (московское отделение), и всех печатных сведений, относящихся к предмету этой книги. Как Е.Н. Орловой и А.А. Чичериной, так я обязан глубокой благодарностью особенно Второму Отделению Императорской Академии Наук, представительство которого открыло мне доступ в наши труднодоступные казенные архивы, С.К. Богоявленскому, Н.А. Гольденвейзер, С.Н. Маслову, Б.Л. Модзалевскому и В.И. Семевскому^{3*}, которые своим просвещенным содействием облегчили мой труд.

Москва

29 января 1914 г.

...Но что еще предвижу?
 Нам зарево Москвы осветит путь к Парижу.
Н. Остолопов^{4*}

Се образ изваян премудрого героя.
Ломоносов^{5*}

Николай Кривцов, двадцати одного года, офицер лейб-гвардии Егерского полка, раненый под Бородином в левую руку пулею на вылет и взятый в плен, был привезен французами в Москву, и праздным зрителем, как военнопленный, прожил здесь все время, пока Наполеон владел Москвой. Он еще до войны, в Петербурге, был знаком с Коленкуром^{6*}, тогда французским послом при русском дворе, и бывал на его вечерах; тут, в горящей Москве, они встретились, Коленкур доложил о нем Наполеону, и по требованию последнего представил ему Кривцова. В те дни Наполеон искал разговора с образованными русскими людьми; оставление Москвы русской армией и потом сожжение ее поставили его в тупик: он не понимал этой пассивной неподатливости своих врагов и тщетно силился разгадать тревожившую его загадку. Кривцов оказался столь же вежливо непроницаемым, как и другие, и Наполеон отпустил его после короткого разговора. Дальнейшая судьба Кривцова зависела от того, оставят ли его французы в Москве или уведут с собою. Его выручил случай. Дня за два до выступления французов, в приемной «префекта Москвы» Лессепса^{7*} он встретил знакомую ему по Петербургу жену итальянского гравера Вендрамини^{8*}, которая жила с мужем в Москве и теперь была крайне встревожена слухами о предстоящей после ухода французов расправе простонародья с иностранцами. Кривцов успокоил ее, обещав исходатайствовать ей с мужем квартиру в Воспитательном доме^{9*} и защищать их, если останется в Москве. После этого г-жа Вендрамини, по совету одного французского полковника, отправилась к герцогу Тревизскому^{10*}, чтобы осведомиться, будет ли Кривцов оставлен. Маршал спросил ее, хорошо ли она знает Кривцова, добр ли он и человеколюбив, и когда она ответила утвердительно, он, немного подумав, объявил ей, что Кривцов останется. Дело в том, что французский штаб тревожился за участь своих многочисленных раненых и больных, остававшихся в Москве, и так как один из главных лазаретов находился как раз в Воспитательном доме, где жил, лечась от раны, и Кривцов, то благоразумие советовало оставить его для возможного заступничества за раненых. В записке, данной Лессепсом г-же Вендрамини, было сказано: «Прощайте, любезный Кривцов, поручаю вам в особенности семейство Вендрамини, а также и всех бедных французов, которых вы будете в состоянии спасти».

Кривцов, с разрешения начальника Воспитательного дома, генерала Тутолмина^{11*}, действительно очень хорошо устроил Вендрамини. В страш-

ную ночь после выступления французской армии, когда заложенные ею мины взрывали арсенал и Кремлевские башни, он несколько раз приходил к ним и успокаивал их, несмотря на боль, которую причиняла ему рана в руке. На другой день случилось то, что предвидели французские начальники. Два больных из французского лазарета прогуливались по набережной Москвы-реки против Воспитательного дома. Только что вступившие в Москву казаки напали на них, взяли в пики и сбросили, еще живых, в реку. Увидев это, товарищи убитых из Воспитательного дома сделали несколько выстрелов по казакам; тогда казаки ворвались в Воспитательный дом, и несколько сот больных французов, наполнявших лазарет, несомненно были бы перебиты, если бы не подоспел Кривцов. Он, не без труда, убедил французов признать себя его пленными (они уже вооружались, чтобы дать отпор казакам), затем бросился навстречу казакам и объявил их офицеру, что все здесь находящиеся французы — военнопленные, за которых он, Кривцов, отвечает. Раздраженные выстрелами казаки по-видимому не желали уступить, но в конце концов Кривцову удалось их выпроводить.

Этот небольшой подвиг сослужил Кривцову впоследствии хорошую службу. Французские газеты протрубили о великодушном поступке благородного русского офицера, потом история эта вошла и в многочисленные французские мемуары о походе Наполеона в Россию, разумеется изукрашенная и драматизированная: *le généreux M. Krivtsov**, с рукой на перевязи, в дверях загораживает дорогу казакам, которые врываются по лестнице *en poussant des hurlements sanguinaires***; их угрозы его не устрашают, он торжественно приказывает им удалиться, и его слова, *prononces avec l'enthousiasme et la fermeté d'une sublime inspiration****, оказывают желаемое действие. Как бы то ни было, этот эпизод или эти рассказы сделали имя Кривцова известным. Когда вскоре после реставрации Бурбонов он приехал в Париж, Людовик XVIII принял его, благодарил, и пожаловал ему орден Почетного легиона^{12*} (который, впрочем, дошел до Кривцова только десять лет спустя). Говорят, что и Александр I лично благодарил его за спасение французов¹.

Кривцов был сын зажиточного орловского помещика; он родился в 1791 году в родовом имении отца Тимофеевском, Болховского уезда, первоначальное образование получил дома и все детство провел в деревне. Учили его слегка, а баловали сильно: он был в малолетстве слабого здоровья; позднее он окреп, стал рослым и сильным, и даже славился способностью переносить всякую стужу, чем в Петербурге заслужил расположение великого князя Константина Павловича^{13*}. В Петербург для определения на службу его привез в 1807 г. родственник его отца С.Н. Тургенев^{14*}, отец Ивана Сергеевича, писателя. Кривцов вступил юнкером в Егерский гвардейский полк. Став на рельсы, он покатился ровно и быстро: мелькнули в

* Великодушный г. Кривцов (*франц.*).

** Испуская угрожающие вопли (*франц.*).

*** Произнесенные с энтузиазмом и твердостью в высоком воодушевлении (*франц.*).

коротких промежутках первые верстовые столбы военной карьеры — портупей-юнкер, прапорщик, подпоручик, и французское нашествие застало его уже поручиком². Аккуратность, исполнительность, правильные привычки были в его натуре. В эти годы он кажется копией молодого Чаадаева: та же врожденная трезвость и корректность, то же до ригоризма скромное и строгое поведение, тот же гордый и независимый характер, пока еще смягчаемый молодостью, но уже внушающий уважение, наконец то же влечение к аристократическому обществу. По-видимому, это были типичные черты эпохи. Неудивительно, что Кривцов был на хорошем счету, был известен великим князьям и даже государю. Я.И. Сабуров^{15*} рассказывает, что однажды государь, гуляя по набережной, увидел Кривцова, входящего в дом французского посла в тонком мундире на распахку и щегольской жилетке, что было тяжким нарушением формы. Кривцов сам поспешил заявить полковому командиру о своем проступке и был посажен на гауптвахту. На следующий день великий князь Константин Павлович потребовал его к себе и спросил: где он был вчера, когда встретил государя? Кривцов отвечал, что у Коленкура. «Хорошо, сказал великий князь, брат велел тебя похвалить; посещай хорошее общество»³.

Кривцов участвовал в сражении под Смоленском^{16*}, под Бородином один уцелел из всех офицеров своей роты, но раненный в руку, как сказано, был взят в плен и привезен французами в Москву, где мы и встретили его в первый раз. После освобождения Москвы он вместе с другими больными был отправлен для излечения в Петербург; здесь-то государь, обходя госпиталь, вероятно и благодарил его за спасение французских пленных и пожаловал ему на лечение 5000 рублей. Это было первое из многочисленных денежных «пособий», которые он сперва удачно получал, а после научился искусно выпрашивать. Вылечив руку, он вернулся в армию, в мае 1813 года участвовал в сражении при Бауцене^{17*}, в июле получил штабс-капитана, а 18 августа, при Кульме^{18*}, французское ядро оторвало ему левую ногу выше колена. Это произошло, говорят, на глазах государей, участвовавших в битве, и они осыпали его наградами. При операции сделался антонов огонь, который вырезывали, и обнажили кость, отчего он впоследствии очень страдал. Еще рассказывают, что в Праге, где он лежал первое время, за ним ходила какая-то знатная дама — сестра милосердия, которая познакомилась с ним со многими немецкими и английскими аристократическими семьями. Крепкий организм выдержал увечье; позднее, в Лондоне, Кривцову сделали искусственную ногу, с которой он мог не только ходить, но даже танцевать. Военная карьера, конечно, была ему закрыта.

Он остался за границей надолго — до половины 1818 г. В эти три года он объехал большую часть Европы: Австрию, Швейцарию, Францию, Германию, побывал в Англии, по несколько месяцев прожил в Вене и Женеве, полтора года в Париже. Он путешествовал так, как вообще путешествовали тогда просвещенные русские туристы — не наспех, не лихорадочно, а с толком, с чувством, с расстановкой, всюду заводя знакомства с выдающимися людьми, слушая лекции, изучая устройство школ, судов, тюрем, бога-

делен, и все заносил в дневник с мыслью о России. Так до него путешествовал по Европе Карамзин^{19*}, и лет десять после него, в 1820-х годах, А.И. Тургенев^{20*}.

Этот заграничный дневник Кривцова сохранился. Он писан по-французски и очень велик: четыре тесно исписанных записных книги составили бы в печати большой том. Б.Н. Чичерин^{21*}, которому он принадлежал, собирался издать его целиком, и даже написал предисловие к нему — ту статью о Кривцове, которая в 1890 году была напечатана в «Русском Архиве»^{22*}; но издание почему-то не состоялось. Этот дневник теперь передо мною. Было бы бесцельно излагать его в подробности, рассказывать о местах, посвященных Кривцовым, о достопримечательностях, ими виденных, о людях, с которыми он вступал в общение; это дало бы нам лишь мертвый инвентарь путешествия. Но из-за строк дневника глядит на нас лицо писавшего, а если пристально всмотреться в него, и на миг забыть в созерцании, оно оживет само и осветит пред нами ту общую жизнь, которой оно было причастно. Кривцов — не «тип», да отдельное лицо и не может быть типом; но у него одно из тех характерных лиц, которые драгоценны для историка. Нелегко сквозь индивидуальное выражение разглядеть черты эпохи, еще труднее в разборе временных чувств и мыслей открыть далекие перспективы истории, но если это хоть в малой мере удастся, задача стоила усилий. Такому анализу подлежит в сущности каждое человеческое лицо, потому что на каждом, для умеющего читать, начертаны письмена времени и прошлого; но есть в людской толпе лица особенно выразительные — и таков, как кажется, Кривцов. Он не слишком отделен от нас по времени; быть может, удастся сквозь его личные особенности и сквозь наносные отпечатки эпохи разглядеть и нечто более важное для нас: его родство с нами, те общие черты мышления и чувства, которые, зародившись незадолго до него и еще элементарные в нем, унаследованы и нами, но уже в форме очень сложной и потому труднее различимой. Это сплошь и рядом бывает в истории; и надо дорожить такими начальными, примитивными формами, потому что в них часто можно подметить нити основы, которые за позднейшим пестрым узором или едва заметны, или даже вовсе становятся не видны.

*

Далекий, отживший век, давно улегшиеся волнения, некогда громкие имена, звучащие теперь глухо и призрачно!

6 ноября 1814 года, в воскресенье, Бенжамен Констан^{23*} дает обед в честь Кривцова; дело происходит в Женеве. Приглашены: Сисмонди^{24*}, знаменитый естествоиспытатель Пиктэ^{25*}, — президент женевской академии и, не менее известный переводчик Бентама^{26*}, Дюмон. Кривцов видимо польщен, но сохраняет полное самообладание. Вечером он заносит в свой дневник характеристики обедавших: у Сисмонди тривиальные и неинтересные манеры, хороши в его лице только глаза; у него больше гениально-

сти, чем здравого смысла, воображение властвует над ним, и вообще его сочинения лучше его бесед; Дюмон только что вернулся из Англии и увлечен ею даже чрезмерно; под резкой внешностью в нем таится неиссякаемый запас любезности, познаний и остроумия; Констан — маленький, чернявый, подвижный человек, чрезвычайно приятный в общении; его жена — холодная натура, вероятно выигрывающая при более близком знакомстве.

3 марта 1815 г., в Париже, он вечером, вероятно снабженный рекомендательным письмом, делает первый визит к г-же Сталь^{27*}. Ее жилище похоже на ярмарку; никто не сидит на месте, нет никакого средоточия, — все ходят, выходят, возвращаются и опять выходят, без конца, наполняя дом таким беспокойством, которое донельзя утомительно. Несколько дней спустя он посещает г-жу Жанлис^{28*}. Прославленная романистка дарит ему экземпляр своего последнего произведения, говорит о своих литературных занятиях и о Наполеоне, и попутно высказывает истину, которая кажется ему необыкновенно прекрасной и глубокой: только сердцем можно стяжать любовь людей, — научиться этому нельзя. — Вот, за обедом у него самого, идет оживленная беседа между публицистом Контом^{29*}, Жюльеном^{30*} и другими знаменитостями, любезно принявшими его приглашение. Он с удовольствием отмечает, что разговор не умолкал ни на минуту; обсуждались вопросы политические, моральные, и лучше всех говорил Конт. Он определил цивилизацию, как развитие человеческих способностей; Жюльен поправил его: цивилизация, сказал он, есть усовершенствование природы человека и улучшение его положения на земле. Конт и запросто заходил к нему посидеть, и просидел однажды целых три часа. Заходят к нему и Жюльен, и Сэ^{31*}. В воскресенье 2 апреля 1815 год он видит Наполеона на торжественном богослужении (это было во время Ста Дней). Он не сводит глаз с императора: вид этого человека, говорит он, возвышает душу и внушает высокие мысли; на его лице печать гения. Наполеон казался рассеянным, перелистывал молитвенник, сморкался, смотрел направо и налево. — Видел он и Гёте: проездом через Веймар он посетил немецкого поэта, но был им принят холодно. Кривцов не отнес эту холодность на свой счет: другого приема, пишет он, и нельзя было ждать от царедворца-ученого, — то есть тем хуже для Гёте.

Вот один из обычных дней Кривцова в Париже — 5 ноября 1815 года. Он только полгода в Париже, но у него уже обширный круг знакомства в высшем свете и среди людей науки и пера. Утром он сделал визит м-гу Пиктэ, брату женеvского ученого, женеvскому полномочному министру в Париже, днем побывал у жены английского посла, г-жи Крауфорд, вечер распределил между двумя салонами: княгини Водемон и м-га Делессера, одного из первых банкиров Парижа, сахарозаводчика и члена палаты депутатов, инициатора сберегательных касс, прозванного за свою филантропическую деятельность *Père des ouvriers**, и собственника знаменитой ботанической

* Отец рабочих (франц.).

коллекции, описанной Де-Кандром^{32*}. В салоне княгини Водемон он бывает особенно часто; здесь собирается цвет парижского общества: герцог Шуазель^{33*}, Бенжамен Констан, князь Камилл де Роган^{34*} и другие. В этот вечер Кривцову везло: у Делессера он встретил Александра Гумбольдта^{35*}, у кн. Водемон впервые увидел Талейрана: отталкивающее лицо, противный гнусавый голос, но его реплики тонки, остроумны и приятны. Поздно вернувшись домой, он еще пробегает предисловие Б. Констана к 4-му изданию его трактата о невозможности установления конституционного строя^{36*}; эту книгу он утром получил от самого автора, что льстит его самолюбию; потом он записывает в дневник события дня и с полным удовлетворением ложится спать, чтобы завтра с утра начать то же.

Так свободно движется среди избранного парижского общества, вначале на костылях, потом съездив не надолго в Лондон, на пробковой ноге, этот 24-летний отставной русский офицер, не знатный, не богатый, ничем не прославленный. Конечно, он умен и образован; он чрезвычайно легко, почти не замечая того, усвоил себе в короткий срок весь внешний лоск и блеск европейской образованности, ее последние интересы, ее способы мышления, и спокойные, уверенные, любезные манеры лучшего французского круга. Как это случилось — другой вопрос. Кажется чудом эта быстрая ассимиляция небогатого дворянского юноши из Болховской глуши культуре столь утонченной и отличной; но здесь была далекая подготовка Петровских, Елисаветинских, Екатерининских времен. Как холст грунтуется для принятия красок, так известная часть дворянской молодежи во время заграничных походов 1812—1815 годов была психически загрунтована для принятия западных идей и манер, и полпути по этой дороге Кривцов прошел еще в Петербурге. Он чувствовал себя в Женеве и Париже вполне «своим», не сознает в себе ни малейшей отчужденности от местной атмосферы; только поэтому он и может быть так уверен и спокоен. Этим спокойствием он необычайно импонирует европейцам; он подходит к ним как равный, не заискивая и не смущаясь, в нем нет и тени неуверенности или провинциальной жадности, — напротив, он в совершенстве владеет той солидной любезностью, которая принимает лестные знакомства и внимание, как должное, как разумеющееся само собою. Притом солидность была у него в крови; он принадлежал к тем людям, которые, по французской пословице, дают себя за-дорого. Иной человек и сильного духа, но мал ростом, подвижен и говорит скоро, — его берут дешево, по крайней мере при первом знакомстве, и любая ничтожность при второй встрече амикошонски треплет его по плечу: Кривцов был крупен, представитель, наверное и говорил с весом, и так как он к тому же был по европейски *comme-il-faut*, и умен, и в курсе европейских интересов, то лучшие салоны Парижа гостеприимно раскрылись пред ним, и Грегуар^{37*}, и Сэ, и старик Лагарп^{38*} охотно заглядывают в его холостую квартиру. Мы увидим дальше, что он был солиден не только вовне, но и сам с собою; он сознавал и сознательно культивировал в себе солидность, как ограду против внешней и внутренней распушенности. Он вообще очень любил порядок.

У него есть запас положительных идей или сознанных чувствований, который он держит в чистоте и порядке, точно аккуратно распланированный сад с клумбами и песочком посыпанными дорожками. Иметь такой запас идей он считает долгом и первым достоинством всякого человека, уважающего себя, и он весьма доволен, что у него есть такой запас. Красота этого сада и идеальный порядок, в котором он содержится, немало значит во впечатлении, которое Кривцов производит на людей. Всякого достойного собеседника он проведет немного по своему саду, — нигде не оступишься, все ласкает глаз, строго и пышно красуются три главных цветника — *géligion, vertu* и *patriotisme**, — и тот естественно очарован. Они не спрашивали, почему в этом русском саду — все только европейские цветы, и нет ни одного русского; напротив, знакомые формы и краски им нравились: оно и легче для восприятия, да притом они были убеждены, что европейские цветы — самые лучшие и самые красивые, последнее слово культуры. Почвы без семян не бывает, и в Кривцове было много русских семян; но русский чертополох и буйные травы едва только пробивались между западных цветов, и он тщательно обрывал ростки или не водил европейцев в те части сада, а Грегуар, Лагарп и Сэ не присматривались слишком внимательно, а довольствовались приятным созерцанием общей картины.

Войдем и мы. Мы встретим здесь, разумеется, все те же цветы, которые тогда — в 1814—16 гг. — наиболее культивировались в Европе; потому что каждая эпоха имеет свои любимые цветы, и по гербарии ее любимых цветов можно датировать эпоху.

Вот первая большая клумба — *simplicité des mœurs*** . Ее Кривцов взрастил в себе еще до начала дневника, до Женевы и Парижа; на первых страницах дневника она в полном цвету. Известно имя садовника, который за полвека перед тем первый вывел этот цветок на удивление мира; его вывел в роскошной махровой форме Жан Жак Руссо из простого полевого цветка, который от века произрастает в каждой незасоренной душе. Да: Кривцов обожает простоту нравов, патриархальный быт, наивные, непосредственные чувства, словом — близость к природе.

*La belle Lise**** — перевозчица на Бриенцком озере. Она молода, хороша собой и по общему свидетельству добродетельна. Перевозя Кривцова из Бриенца в Унтерзей, она рассказала ему свою биографию. Она из бедной семьи; прожив год в Берне для обучения мастерству, она добродетельно вернулась домой, чтобы своим трудом кормить своих старых родителей. Князь Любомирский употребил все усилия, чтобы добиться ее расположения и увезти ее с собою в Вену, но она поблагодарила его за доброе чувство и не захотела покинуть отца и мать и родную страну. — Кривцов тронут и умилен; редко он так жалел о скудости своих средств, как в этот раз. Прощаясь с Лизой, он от души пожелал ей счастья, а в дневнике записав эту

* Религия, добродетель и патриотизм (*франц.*).

** Простота нравов (*франц.*).

*** Прекрасная Лиза (*франц.*).

встречу, он прибавляет такие строки: «Безвестное происхождение, или по крайней мере простые и чистые потребности, хижина на берегу одного из этих прелестных озер, и Лиза, были одну минуту предметом моих желаний. Но увы!...»

Он приближается к Кларану, скромной деревушке, с величайшим нетерпением; волнуемый нежным и сладостным чувством, он вошел в знаменитую рошу, где страстный Сен-Пре в тени деревьев сорвал первый поцелуй с уст прелестной Юлии^{39*}. Кто из нас хоть раз в жизни не испытал сердечной привязанности, влияющей на всю судьбу человека? Кто не пылал более или менее огнем, который Руссо так красноречиво изобразил в своей Новой Элоизе? И потому можно ли оставаться равнодушным при виде этих мест, прославленных пламенным пером знаменитого писателя и пожирающими страстями этих двух любовников, столь чувствительных, столь добрых и интересных? Увы! От роши осталось немного деревьев; крестьяне, ценя барыш выше романтических красот природы, возделывают теперь виноград на том месте, где самый страстный из любовников вкусил наивысшее блаженство.

Но умиление над Юлией — только дань сентиментальному элементу природы, сфера интимных, личных чувств, где предписывалась безусловная свобода. В целом идеал «естественной» жизни был несравненно шире, он обнимал все формы людских отношений — семью, общество, государственный строй, даже религию, — определяется он признаками как раз противоположными свободе: ясностью и устойчивостью всех людских отношений, простотой и неизыблемостью закона. При той отвлеченности, с какою мыслился тогда патриархальный идеал, люди не замечали этого противоречия, — не замечал его и Кривцов; они вовсе не спрашивали себя, как могут уместиться буйная свобода и сложность чувства на крепком укладе патриархального быта. Так в каждом отдельном случае решал произвол собственного чувства; если страсть была красива, героична, она оправдывалась безусловно, хотя в принципе ее нельзя было оправдать, ибо что стало бы с простотою нравов, если дать волю личным страстям? Патриархальность быта, как ее представляли себе те люди, аккуратно распланированная, налаженная как механизм, имела для них невыразимое обаяние: она глубоко удовлетворяла их рационалистическое мышление прямою и правильностью своих линий, а та узаконяемая незаконность героических страстей была только небольшим коррективом к их геометрическому мирозерцанию, потому что втайне предполагалось, что подобные случаи беззакония вообще сравнительно редки.

Кривцов еще больше, чем средний человек его времени, был подвластен этому идеалу геометричности. Все своевольное, сложное, хаотическое причиняло ему умственную боль и заранее осуждалось им, как ненормальность и уродство; напротив, видя правильное и закономерное, он испытывал полное удовлетворение, так что существенный смысл явления играл в его оценке только второстепенную роль: его симпатии и антипатии определялись преимущественно тем, к какой категории, хаоса или космоса, отно-

сились представшие ему явления. Этой рассудочной склонностью к порядку и питалась в Кривцове его мечтательная любовь к «естественному» состоянию человека; вернее, самый образ естественного состояния создавался у него, как у его современников, по отвлеченному плану простоты и ясности, как схема идеального порядка. И так как житейского опыта было мало, а интерес и способность к наблюдению конкретных мелочей были слабо развиты, то при первом взгляде подходящие части действительности легко принимались за осуществленный идеал и свободно истолковывались в его смысле.

Так, Тироль показался Кривцову подлинной Аркадией^{40*}. Он не устает умиляться. С какой любовью говорят тирольцы о своем государе, как трогательно они рады тому, что смогли наконец вернуться под власть своего государя, столько выстрадав за него! Как отрадно видеть уважение, которое здешние дети оказывают старикам! Стоит старику сказать слово, ребенок тотчас возвращается на путь долга (*rentre dans le devoir*, говорит Кривцов): «счастлива страна, где так почитают старость!» Избы в тирольских деревнях большею частью раскрашены снаружи; это лишний раз доказывает добродушие и гостеприимство жителей: очевидно, они желают этим внешним украшением доставить хоть минутное удовольствие прохожему, когда не могут принять его как гостя. В самой малой тирольской деревушке есть церковь; что может быть более трогательно, более утешительно для людей, как собираться в святом месте, чтобы совокупно возносить к великому Раздавателю благ свою радость и свое горе? А христианское благочестие нигде не являет столь умирительного зрелища, как в сельской церкви. — На третий день своего путешествия по Тиролю Кривцов был окончательно побежден. «Прибыв в Ланден, — пишет он, — я нашел хорошее помещение, хороший ужин и славные лица. Милые тирольцы! Еще нигде я не встретил такого простодушия, чистосердечия и гостеприимства, нигде не нашел людей столь образованных, столь близких к природе; они храбры, преданны, веселы, проворны, словом все добродетели соединились в них. Чего только не сделали они из любви к своему государю, какие жертвы вынесли, чтобы освободить его от чужеземной власти! Счастливым и достойным счастья народ! Вкушай теперь плоды твоей великой преданности и твоего героизма! Да оградят тебя твои горы и твоя бедность от врагов и разврата; довольствуясь тем, что у тебя есть, ты долго будешь счастлив, и каждый чувствительный человек, проезжая через твою прекрасную страну, благословит твою долю и прольет слезу радости при виде народа, состоящего из братьев!»

Но очарование длилось недолго. Легко было, мчась на почтовых чрез Тироль, поддаться столь желанному самообману; въехав затем в Швейцарию, Кривцов еще на первых порах был полон умиления и восторга, особенно в Швице, где пред ним витали тени Вильгельма Телля и его доблестных сподвижников. Но поколесив по разным кантонам^{41*}, пожив в Берне, он с грустью стал замечать, что обаятельный мираж Аркадии рассеивается. Через три недели после той тирольской записи, в сентябре 1814 года, он

предается печальным размышлениям. Он спрашивает себя, почему такая грусть сжимает его сердце? Почему ни ясность неба, ни величие ледяных твердынь, ни красота озер, ни разнообразие видов не могут ее рассеять? Обманула ли Швейцария его ожидания? Нет, он видел природу в ее ослепительной красоте, он всюду нашел благоденствие, — и тем не менее он печален. «Если я не встретил абсолютного блаженства в этих уединенных долинах, если видел людей, достойных лучшей доли, если не нашел той невинности, которою чарует нас золотой век, то ведь я заранее знал, что все это — химеры; и все-таки, может быть именно в этом — одна из причин моей меланхолии, потому что, хотя и сознавая всю фантастичность этих сладких иллюзий, я бессознательно надеялся увидеть их воплощенными в этих уединенных местах, в этих бедных убежищах альпийских поселян, и действительность, обманув мои мечтательные надежды, повергла меня в мрачное раздумье. Эти места, казалось бы созданные для счастья, эти люди, казалось бы предназначенные благоденствовать, не пользуются всеми дарами, которые расточает им природа; так же, как в городах, корысть — их главный двигатель, и она не только не насыщает их желаний, но еще увеличивает их потребности и тем — их страдания. Вместо того, чтобы наслаждаться благами, которые природа рассыпала вокруг них, они жаждут искусственных благ, не только не дающих, но губящих счастье: честолюбие, корыстолюбие и страсти проникли и в этот край».

Но и меланхолия была не серьезна. Эти мечты и разочарования о патриархальном быте рождались в голове и, погостив, исчезали, как дым, не оставляя сердечных ран; с подлинным чувством они имели так же мало общего, как и с внешней действительностью. Кривцов, разумеется, и трех дней не мог бы прожить в идиллической хижине среди сынов природы, — и очень скоро он осваивается в Париже, как рыба, пущенная в пруд. Год спустя, на вопрос г-жи Лагарп, отчего так любят Париж, у него есть готовый ответ: что ни говорите, Париж — очаг просвещения и цивилизации, центр ума человеческого; здесь, как нигде, умеют ценить прелести общежития и т.д. Платонически Кривцов и впоследствии будет ставить непосредственность выше условностей света; и в Париже, и позднее в Петербурге он не раз ополчается против скуки, расчетливости, жеманства и холода, царящих в светском обществе, изредка он любит даже на час-другой погрузиться в скромный быт, украшенный присутствием миловидной женственности, и тогда он не упускает случая констатировать себе самому наличие в себе вкуса к естественному, потому что это — не что иное, как вкус в добродетели, *vertu*, а чувствовать в себе любовь к добродетели ему очень приятно. Но жизнь свою он располагает вне всякой связи с простотой, внимательно соображает шансы житейского успеха, живет и хочет жить в светском обществе, даже, по возможности, в высшем.

К числу добродетелей, которые он вменял в долг всякому уважающему себя человеку, относилась и религиозность, — тоже категория, спаянная из чувствительности и идеи порядка.

Религия — это глубоко и поэтично; погружаясь мыслью и воображением

ем в тайны Провидения, чувствуешь себя столь возвышенным, столь серьезно мыслящим! Кривцов очень любит в подходящих случаях останавливаться пред своей религиозностью, обозреть ее с самодовольством и ощутить в себе сознание, что он обладает ею. Проездом в Зальцбург он сделал визит баварскому наследному принцу и был приглашен к обеду; после обеда, откланявшись, он отправился посмотреть кладбище, где похоронен Парацельс^{42*}. Вид кладбища, где стерты все различия между великими и малыми, богатыми и бедными, натурально поверг его в глубокомысленное раздумье. Дворец и кладбище! Там — обманчивый блеск земного величия, здесь, у подножья креста, пред ликом Спасителя, сколь ничтожными кажутся эти тленные блага, которых мы добиваемся на земле часто ценою вечной жизни! Застигнутый однажды ночной грозой в горах, под рев ветра, сверканье молний и гром, он идет безмолвно, вознося свои мысли к Верховному существу и славословя его непреложные судьбы (*en adorant ses destines immuables*; этих слов почти нельзя и перевести).

Притом, религия утешительна и успокоительна. Бог — это высший, последний авторитет, венчающий всю иерархию порядка; без него мир, то есть порядок, оставался бы незавершенным, а подобное сознание было нестерпимо для Кривцова. Бессмертие души, говорит он, как бы ни отрицали это философы, — не химера. Есть иная, вечная жизнь, земная жизнь — только подготовительная ступень, только чистилище для вступления в ту. Не может быть, чтобы Бог создал нас для того, чтобы короткий миг прозябать здесь, суетиться по-пустому и затем исчезнуть, не исполнив никакой установленной задачи; нет, без сомнения, — и разум дан затем, чтобы, руководствуясь им, мы на земле сделали достойными блаженства, уготованного нам в той, истинной жизни. Кривцов был, конечно, далек от мысли приноравливать свою жизнь к этим принципам; они оставались совершенно отвлеченными, — формальная дань эстетике порядка.

Он не прожил в Париже еще и года, как от этой воздушной религии не осталось и следа. Вначале, почувствовав убыль своей веры, он встревожился; он обвинял руководителей общественного мнения во Франции: это они подрывают веру в людях, и если не будут приняты меры предосторожности, зло может сделаться всеобщим. Он старался укрепить свою колеблющуюся веру в беседах с религиозными людьми, и утешал себя: надеюсь, что как только уеду из Парижа, вся моя прежняя вера вернется ко мне, — «публично, прибавляет он, я во всяком случае буду исповедовать ее, ибо всякий человек обязан исповедовать какую-нибудь религию, как всякий обязан подчиняться гражданским законам». Он даже принимает меры предосторожности против самого себя: букинист прислал ему собрание сочинений Гольбаха^{43*}; вспомнив недавно слышанную проповедь о вреде нечестивых книг, он отправляет назад Гольбаха, и этот поступок чрезвычайно успокаивает его: он снова чувствует себя укрепленным и возносит в своем дневнике красноречивые хвалы Богу, в чьем лоне единственно человек может найти нерушимый покой. А месяц спустя он уже так основательно закончил со своей religion, что с легким сердцем проделывает следующее ко-

шунство. Он высмотрел себе новую квартиру, у трех сестер, из которых одна, Генриета, хорошенькая и живет отдельно от мужа; задумав интрижку с нею, он составляет план атаки: «Был у этих дам, моих будущих хозяек, — пишет он. — Генриета очень мила. Хочу приударить за нею. Они, видимо, очень набожны; тем лучше: сделаю вид, что я неверующий, и постепенно разыграю комедию обращения в веру; это будет им льстить, и я с Божьей помощью воспользуюсь этим для покорения Генриеты, уверив ее, что эта перемена произведена во мне ею. Притом, так как очень вероятно, что вера никогда не вернется в мое сердце, то мне не мешает поупражняться в разыгрывании религиозной комедии на предмет будущей моей жизни с моими добрыми христианами» (то есть в России).

Та же история повторяется с Кривцовым и в области политических идей. Вплоть до Парижа он был убежденным монархистом. Любовь к государю — это так идиллично, так непосредственно! И притом это — порядок. Революция внушает ему непреодолимое отвращение, потому что она — нарушение порядка и забвение долга, она подрывает нравственность. Он не находит достаточно сильных слов, чтобы заклеить революционеров, *hommes ennemis de tout ordre et de tout devoir*^{*}. Еще в Женеве, в конце 1814 года, радикализм Сисмонди глубоко претит ему; «мы слишком разномысленно смотрим на вещи, — пишет он, — и это не удивительно: он республиканец, я — подданный». — Но и консерватизм его — только рассудочный; стоит ему встретить где-нибудь эстетически-увлекательное явление, или, как теперь говорится, «героический жест», *противоположного* свойства, то есть из категории свободы, — он восхищен; при этом, разумеется, об анализе понятий нет и речи: национальный смысл слова «свобода» он смешивает с политическим, и т.д. Так случилось с Кривцовым при въезде в кантон Швиц. Шиллеровские Телль, Мельхаль, Штауфахер^{44*} воскресли в его воображении, и из под его пера полился вдохновенный гимн «свободе». «Я вступил в тот кантон, где было положено основание швейцарской свободе. Священная почва! Приветствую тебя! Рожденный и воспитанный под деспотической властью, я могу только удивляться тебе и воссылать пожелания о твоём благоденствии. Смутно-блаженное чувство наполняет мою душу религиозным почтением к твоим утверждениям и твоим доблестным обитателям. Здесь, больше чем где-либо, я чувствую благородного человека. Я горжусь принадлежностью к семье твоих сынов. Да, среди величественной природы человек должен быть таким же, и не может быть рабом; да, у подошвы этих первозданных исполинов, на берегу этих очаровательных озер, в тени этих бесконечных дубрав он может питать только великие идеи, только возвышенное чувство божественного назначения», и т.д., — две убористых страницы во славу паладинов свободы и их свободной страны. Противоречия в своих оценках он не чувствует: несколько дней назад он умилялся патриархальной верностью тирольцев австрийскому дому, теперь восторгается борьбою швейцарцев против того же австрийского

* Люди, враждебные ко всякому порядку и всякому долгу (*франц.*).

дома, — это ничего: в обоих случаях был героизм, «близость к природе», там — под знаком порядка, здесь, правда, с полным нарушением порядка, но столь же красивый, как и в том случае. Но в своем сознании, повторяю, он был об эту пору убежденным консерватором, — грациозные увлечения не в счет.

И вот, 16 марта 1815 года, прожив в Париже еще только шесть недель, он пишет в своем дневнике: «Могу сказать с уверенностью, что до сих пор либеральные идеи нисколько не привлекали меня. Однако я начинаю находить некоторую прелесть в гражданской свободе. Очень приятно знать свои права и границы, иметь определенный путь поведения, знать, что ты можешь, и чем ты повинен родине, ближним и себе самому». Порядок, большая дисциплина личная и общественная — вот чем либеральные учреждения победили Кривцова; перед этим сильнейшим соблазном померкло сентиментальное очарование воображаемого патриархального строя. Раз вступив на этот путь, он быстро пошел вперед; два месяца спустя он — уже убежденный конституционалист и в принципе даже оправдывает революцию. И как быстро он вошел в новую роль, как прекрасно в короткий срок усвоил себе радикальную фразеологию! Можно подумать, что он век исповедовал эти мысли — так непринужденно и вместе уверенно они выглядят в его изложении. «Стремление к либеральному и представительному строю слишком сильно в умах, чтобы оно могло остаться безуспешным, — пишет он 2 июня. — Время деспотизма прошло; может быть, кое-где он еще будет пугать людей своей тенью, но это не может продлиться; все народы слишком прониклись сознанием своих прав, и следующее поколение уже не увидит тиранов. Мы, может быть, последние жертвы их произвола. Дай Бог, чтобы это было так». На следующий день он возвращается к этому предмету. Утром он разговорился с горничной Виржини и по этому поводу находится в умилении. Виржини, конечно, наивна и добродетельна; она рассказала ему о своей любви к своему кузену, о своих планах на будущее, о своих надеждах на семейное счастье, какого образец — ее родители. Он тронут, но гнев и скорбь сжимают его сердце. «Счастливая простота! Где тот несчастный, кто не ощутил бы твою прелесть и не предпочел бы тебя пустым химерам земного величия! И таких-то людей ставят ни во что, на них одних взваливают все тяготы государственности. О, Боже, доколе будешь ты терпеть, чтобы жалкие тираны, которым ты вверил судьбу людей, так слепо заблуждались насчет своей собственной участи и не признавали твоей отеческой воли, кто создал всех равными и независимыми! Доколе нелепые установления людей не уступят место таким, которые предписываются разумом и пользой!» А две недели спустя ему удалось побывать в палате депутатов, и под впечатлением этого импозантного зрелища его либерализм дошел до точки кипения. Он категорически заявляет, что заплатить за такое учреждение революцией — не слишком дорогая цена. Он убежден, что не пройдет ста лет, и значительная часть Европы будет управляться конституционными правительствами, и этого движения не остановят никакие усилия тиранов, — напротив, чем более они будут противить-

ся, тем сильнее будут потрясения. Он был глубоко взволнован, когда на кафедре взошел молодой депутат и внес законопроект об отмене конфискации во всех случаях, кроме контрабанды; декоративный эффект этой сцены дошел ему до сердца; «счастлив, — пишет он, — человек, который может так законно и прямо содействовать благосостоянию своей страны, усовершенствуя ее законы». Может быть он в воображении видел уже самого себя на трибуне русского законодательного собрания законодательствующим на благо родной страны: сладкая, опьяняющая мечта!

А рядом с мечтами и умствованием шло накопление реальных жизненных впечатлений. Кривцов жил в Париже в бурные дни и был здесь зрителем важных событий. Через месяц после его приезда Париж был ошеломлен известием о высадке Наполеона, бежавшего с о. Эльбы, во французской бухте Жуан. Кривцов, ежевечерне посещая салоны великосветских дам, мог близко наблюдать смены в настроениях парижского общества за весь этот бурный период от вступления Наполеона в Тюильри, до его второго отречения после Ватерлоо, мог подробно знать все происходившее и даже лично знал некоторых видных участников дела, наконец, был беспрестанно вовлекаем в споры французов о жгучих событиях дня. Тут он воочию видел плоды революции и рождение свободы, одну из тех мучительных и безобразных судорог, без каких никогда не совершается обновление государственного строя. Но он не узнал своего отвлеченного образа в этих конкретных фактах. Одно дело было мечтать о свободных учреждениях и революции: тут все было логически последовательно, и, значит, необходимо, а главное — тут ничего не пугало, потому что дело рисовалось мечте только в самых общих чертах, которые всегда величественны; другое дело — действительность. Действительность была спутанна, хаотична, а с беспорядочностью Кривцов меньше всего мог примириться. Поведение французов во время Ста Дней возбуждает в нем крайнее отвращение; этот раскол в обществе, взаимная ненависть партий, и с другой стороны — безучастие масс, — ему и на мысль не приходило, что это — явления обычные и исторически-неизбежные в таких случаях. Он видел в них только результат революции, окончательную деморализацию французского общества: революция сделала французов эгоистами и честолюбцами, революция приучила их равнодушно встречать самые сильные потрясения, они развращены революцией до мозга костей. Чем более он присматривается к французам, тем более он ужасается отсутствию в них всяких нравственных устоев, всякой последовательности; это народ *sans principes, sans mœurs et religion*^{*}, у них нет даже истинного патриотизма, и потому их надо смести с лица земли, чтобы они не заразили своим гниением прочие народы. Чрез 10 дней после вступления Наполеона в Тюильри он записывает в своем дневнике: «Если союзники хотят вмешаться во французские дела, он не должны терять ни минуты, и их армии должны быть уже на французской территории. Умы потрясены, но не объединены, не надо давать им срока опомниться,

* Без принципов, обычаев и религии (франц.).

надо нанести решительный удар, пока армия еще расстроена. Надо, как и прошлый раз, изолировать лицо (то есть Наполеона) от нации, но теперь уже не следует щадить этой подлой нации: надо истребить ее, если возможно, чтобы о ней больше не было и помина. Не Бурбонов надо вернуть им, но еще больше прищипорить их к свободе: это вовлечет их в своеволие, в анархию, и следовательно приведет к гибели». 2 апреля, глядя на Наполеона во время богослужения в *Chapelle Imperiale**, он думал о том, что союзникам, может быть, следовало бы сохранить Наполеона на французском престоле, потому что только он способен своей железной рукой смирить разнузданную революциями Францию; поистине, прибавляет он, Наполеон — посланный небом мститель за королевскую власть. А отвлеченно он в это самое время восхваляет политическую свободу, как лучшую гарантию личной и общественной дисциплины!

Позднее, когда острое возбуждение улеглось в нем, он стал снисходительнее судить о французах и не так мрачно смотрел на будущее Франции. Особенно подкупила его в ее пользу палата депутатов; он допускал теперь, что следующее поколение французов сумеет разумно использовать свои свободные убеждения. Но впечатления этих дней оставили в нем горький осадок. «Я родился, — пишет он 6 июня, — среди варварского народа, видел большую часть цивилизованных, и прихожу к заключению, что они всюду одинаковы. Кто захотел бы трактовать людей, как существа разумные, уравновешенные и последовательные, то есть какими они должны бы быть, тот жестоко ошибся бы; какая-то смесь непоследовательности и легкомыслия мешает им двигаться прямо». — С каким сочувствием подписался бы под этими строками Николай I! Он тоже всю жизнь негодовал на то, что люди и народы не ходят всегда по прямой линии, что в человеческой душе мало порядка; вся его политика направлялась утопическим замыслом насадить порядок в душах. Позднее Кривцов и будет маленьким Николаем на губернаторстве. То была общая черта их поколения.

Эти конкретные французские впечатления своеобразно отразились на его мышлении. Еще в самом начале своего увлечения либеральными идеями он полагал необходимым условием свободы известную подготовку народов, без чего свобода, говорил он, неизбежно вырождается в своеволие, худшее рабства. Эту подготовку он определял разнo: то как известный уровень образованности, *les lumières***, то как *vertu*; разумел же он всегда одно и то же, именно, привычку к выдержке, к дисциплине. И сначала он думал, как и естественно было для вчерашнего консерватора, что выучка должна предшествовать свободе. Французские события должны были, казалось бы, укрепить его в этом мнении: нужно ли было еще другое доказательство опасности свободы для незрелого народа! Да он и сам так думал о *французах*. Но факты и умозрение у него мало влияли друг на друга; умозрение развивалось своим путем, совершенно свободно, и либерализм Кривцова

* Императорская капелла (франц.).

** Свет; зд. — просвещенность (франц.).

расцвел полным цветом как раз в период Ста Дней, так что тем же самым гусиным пером, которым он вчера беспощадно казнил в своем дневнике разнузданность французов, как результат революции, он на следующей странице отвлеченно воспевал свободу, как необходимое благо для всех народов. Факты не смешивались с умозрением, как масло с водой, но героический эффект — другое дело: под влиянием такого эффекта умозрение легко делало скачок в направлении, даже прямо противоположном смыслу наблюдаемых фактов. Такое действие произвел на Кривцова, как я уже упоминал, вид палаты депутатов. Очарованный этим зрелищем, сразу решив, что парламент есть истинный палладиум^{45*} гражданской и личной свободы, он без труда примирился с неизбежностью потрясений, происходящих от неподготовленности народа к свободе; теперь он уже не считал нужным ждать зрелости, а относил подготовку по ту сторону реформы: представительные учреждения должны быть введены во всяком случае, а затем, после неизбежных, более или менее резких злоупотреблений свободой, установится правильное и разумное пользование ею. Как и почему водворится это равновесие и водворится ли непременно, об этом он сейчас не спрашивает себя, потому что и весь этот скачок мысли был не логического, а эмоционального происхождения: страстно захотелось парламентов. Только много времени спустя и совсем по другому поводу — в связи со своими наблюдениями над европейскими школьниками — он набрел на недостававшее среднее звено: просвещение искореняет рабство, и, наоборот, свобода споспешествует просвещению. Поэтому, говорит он, попытки насадить одно без другого заранее обречены на неудачу; они только нераздельно могут существовать в социальной среде; свободе надо учиться, как всякому искусству, — он разумеет: учиться на деле и в связи с просвещением.

К концу своего пребывания в Париже он составил себе ясный политический идеал, разумеется, совершенно фантастический, самое смешное сочетание разнородных, можно сказать — противоположных государственных начал, какое кому-либо приходило на ум. Республики он не одобряет; республика, по его мнению, это постоянная революция, в том смысле, что она не ставит никаких преград личному честолюбию. Единственно-разумная форма правления, по крайней мере для настоящего времени, говорит он, — конституционная монархия. И прежде всего внешний декорум власти должен быть демократизирован.

Опасно давать государю гражданский лист в 25 миллионов, достаточно пары миллионов: какая надобность так возвышать монарха? Пора прекратить вечную комедию первенства двора перед гражданским обществом.

Но этот конституционный монарх, по мысли Кривцова, — не только формальный носитель верховной власти: он мудрый патриарх, отец своего народа, подобие Марка Аврелия^{46*}. Под его благодетельным попечением процветает простота нравов. Земледелие и земледельческий класс всего ближе его сердцу, он заботится об умножении не городов, а сел, он учреждает не академии, в которых преподавалось бы фривольное знание, рас-

слабляющее людей, чему примером служит Европа, а покровительствует распространению тех знаний, которые имеют предметом права человека и принципы его благоденствия; он старается культивировать провинции, а не завоевывать, опустошая, новые; он стоит на страже законности и заставляет всех граждан без различия повиноваться только законам; он награждает почетом не слепое повиновение рабов, а гражданские добродетели, санкционируемые разумом. И так как законы будут изъявлением общей воли, то простая справедливость требует повиновения им: ни для кого не может быть унижительным подчиняться решениям целого, коего каждый — часть, тогда как законам, проистекающим из единоличного произвола, могут подчиняться только трусы, и такие законы развращают и унижают человечество.

О таком *патриархально-конституционном* строе мечтает Кривцов и для России. Он убежден, что Россия содержит в себе могучие зародыши благоденствия и величия: какая же страна сравнится с нею, если на ее престоле полвека просидит подобный Марк Аврелий? Мало того, в этом, думает он, провиденциальное назначение России. «Более, чем кто-нибудь, русский должен быть космополитом^{47*} в эту минуту, когда ему нечего бояться извне, и когда он всевластен над Европой. Он по праву гражданин вселенной, и если глава этой державы не трудится на благо мира, он — самый преступный из людей».

Кривцов, разумеется, патриот. После «добродетели» патриотизм — его любимая категория, главный предмет его пафоса и умозрения, но преимущественно пафоса. Решает ли он не ехать чрез С.-Готар^{48*}, это ему предлог для патетической страницы в честь русской храбрости, прославившей С.-Готар: «Итак, я не увижу вас, знаменитые свидетели бессмертной славы моих дорогих соотечественников и твоей, великий Суворов! Я не увижу этих гор, покрытых снегом, этих пропастей, на дне которых»... и так далее, на протяжении целой страницы без передышки, в самом высоком риторическом стиле. Встретил ли он в бернском госпитале двух раненых русских солдат, счастливых поговорить с ним по-русски, — не ждите, что он забудет воспеть по этому случаю сладость и неискоренимость любви к отечеству. Сам он, разумеется, принадлежит отечеству до последней капли крови; служить благу родины — вот единственная цель его помышлений, трудов и самой жизни.

В строгом согласии со своими отвлеченными морально-политическими взглядами он решает посвятить себя делу народного образования. Это соответствует его личным склонностям, и это настоятельно нужно для блага России; он не знает иного честолюбия, и нет большего удовлетворения, как распространять среди своих соотечественников просвещение, *les lumières*, которое есть единственный родник счастья в хижинах бедняков, *dans les chaumières des pauvres*.

Надо заметить, что Кривцов был издавна убежденным противником крепостного права. Еще в 1814 году, заговорив о неграх, он писал в дневнике: «К несчастию, рожденный и воспитанный в стране рабства, я слишком

хорошо знаю, каково оно, и могу только страдать от сознания, что никогда не увижу расторгнутыми эти позорные цепи, которыми связана целая половина мира. Даже сильнейший из монархов не властен их разбить, так как нет никакой возможности предупредить злоупотребления, имеющие возникнуть отсюда, пока народ, утратив первобытную нравственность естественного человека, еще не вступил на уровень цивилизованного человека, улучшенного действием божеских и человеческих законов». Это писано, когда Кривцов был еще консерватором; позднее, в Париже, увлекшись либеральными идеями, он и в этом вопросе отказался от постепенности и признал отмену крепостного права в России неотложной и безусловной необходимостью. Мы видели, как он рассуждал: свобода и просвещение взаимно обуславливают друг друга. Так строго-последовательно он в своем мышлении дошел до решения посвятить себя делу народного просвещения.

Впрочем, некоторую роль сыграл здесь и случай. В Париже как раз в это время начали интересоваться Ланкастеровой системой взаимного обучения^{49*}; в 1815 году вышел французский перевод книги Ланкастера, а незадолго перед тем в Париже основал первую такую школу молодой профессор Эме Мартэн^{50*}, «теофилантроп» по природным склонностям и направлению ума, автор знаменитых *Lettres à Sophie*, ученик и друг Бернардена Сен-Пьера^{51*}, женившийся на его вдове и усыновивший его дочь Виргинию. Кривцов стал посещать школу Мартэна и сблизился с ним лично. Мартэн ввел его в *Société d'éducation*, сначала как гостя, но скоро (18 октября 1815 года) Кривцов был единогласно избран членом этого общества по предложению председателя, Монтегри, упомянувшего в своей речи между прочим и о московском подвиге Кривцова. Это избрание сильно польстило Кривцову, и он еще ревностнее предался изучению Ланкастеровой методы. План его был — основать в России «Нормальную школу Ланкастеровой методы» для бедных. Он серьезно обдумывал этот план. После осмотра одной музыкальной школы он пишет, что у него возникла мысль изучить теорию музыки, с тем, чтобы ввести элементарный курс музыки в число предметов, которые будут преподаваться в «Нормальной школе», ибо музыка-де смягчает нравы. Он посещал курсы Мартэна и заседания *Société d'éducation* вплоть до своего отъезда из Парижа.

Он часто думает о своей будущности — и как возвышенны эти его мысли, как торжествен его слог в этих случаях! Он чувствует себя высоким, полным гражданской доблести, он тронут и вдохновлен зрелищем своего идеализма. Так! он отрешился от всего земного. Суетные блага, за которыми гонится толпа, приманки людского тщеславия — не для него; богатство, почести, власть, даже личное счастье — что в них? — он равнодушен к ним, он их не ищет. Единая страсть владеет им, одним стремлением пламенеет его дух — посвятить свою жизнь благу родины. И он исполнит свой долг до конца, долг человека и гражданина: сильный чистотою своих стремлений, он поднимет крест и пойдет, если надо, на Голгофу. Он хорошо знает, чем грозит ему его просветительный почин в России, особенно в

виду смелости его нынешних политических убеждений, — но он готов на все. Будут обвинения, ненависть, насмешки, интриги, но он выше этого. А если ему пригрозят ссылкой — «о! всякая угроза насилием придаст мне только больше страсти для жалоб и обвинений. Если меня бросят в тюрьму, — ну что ж! надеюсь, мне не откажут в книгах и бумаге, — без рассеяний мне будет только удобнее учиться, а если откажут, я буду совершенствовать свое мышление и прежде всего приучусь свободно говорить. И все это будет сопровождаться громким ропотом общества, — узником будут интересоваться, и это доставит мне славу. А если в конце концов меня осудят на смерть — это будет бесчеловечно, но разве не имела каждая истина своих мучеников? Лучше же сложить за нее голову на плахе, нежели пасть на поле битвы, часто без всякой пользы для человечества. А я так часто видел пред собою смерть, что не боюсь ее. С чистой и безупречной совестью, с любовью к добродетели — мне будет легко умереть, а убеждение, что моя смерть ускорит торжество истины, — это убеждение, наполнив радостью мою жизнь, сделает меня счастливым и в минуту казни».

Правда, он не всегда так мрачно смотрел на будущее. Иногда ему мерещилась другая картина, но в своем роде не менее героическая. Так, после осмотра одной парижской школы, он писал в своем дневнике: «Какие радости готовлю я себе в России, создавая сам подобные учреждения! Вот где ждет меня счастье. Быть может через 25 лет там не будет хижины, где бы бедные не благословляли моего имени. Если это — честолюбие, я готов признаться в нем».

И он дальше развивал свою мысль. Мирские блага его не манят; тихая жизнь в общении с природой, книги, небольшой круг друзей, любимая женщина — вот его вкус. Но он не в праве сейчас взять себе это счастье: суровый, но святой долг гонит его в шумный свет, служить благу отчизны. Только тогда, когда, истощив все усилия, он убедится, что его старания напрасны, что Россия еще не созрела для его просветительной деятельности, — он с спокойной совестью уйдет в безвестность, поселится где-нибудь в Швейцарии, устроит себе идиллический быт, в роде того, какой он видел в доме Лагарпа (у него уж была на примете и подруга на этот случай), и так безоблачно проведет остаток своих дней.

Но чистый как голубица, бесстрашный как лев, он считает своим долгом действовать мудро и осмотрительно. Уже в Париже он с беспокойством ловит себя на излишней резкости языка: я иду слишком далеко в выражении моей ненависти к тирании, а всякая крайность опасна. — Впрочем, он рассудительно успокаивает себя французской пословицей: *qui dit trop ne dit rien**; мои слова так резки, что их никто не примет всерьез. Но на будущее, для России, он дает себе слово быть крайне осторожным в проявлении своих либеральных воззрений. Он несколько раз по различным поводам возвращается к этому предмету. В конце концов он останавливается на следующем решении. Мы уже видели, как, став неверующим, он решил в Рос-

* Кто говорит слишком много, не говорит ничего (*франц.*).

сии симулировать набожность. Такой же системы он намерен держаться и в вопросах политики. «Самое лучшее — это по возвращении высказывать отвращение к либеральным идеям и представляться вначале только глубоко верующим, и лишь время от времени, при благоприятных условиях и с величайшей ловкостью бросать несколько зерен либерализма (*quelques brins de libéralité*). Притом — не сходиться со всяким встречным. Заслужив некоторое доверие, я тем открою себе дорогу, а вполне искренним надо быть только с теми, кого я найду достойными».

Он должен быть осторожен, потому что он нужен родине, он несет в себе полную чашу благ для нее. Он безотчетно проникнут чувством своей значительности, оттого и воображение рисует ему его будущее в таких высоко поэтических формах: либо мученичество за идею, либо слава благодетеля отчизны, либо идиллия, — все иные участи, обычные среди людей, ниже его. Он мыслит себя, как существо высоко стоящее над толпою, и — не для себя, избави Боже! но в интересах своей миссии — считает долгом лелеять и усовершенствовать себя. В июле 1815 года, когда после сражения при Ватерлоо союзные войска снова вступили в Париж, он представился здесь императору Александру. «На прошедшей неделе, — пишет он матери (я сохраняю его орфографию; по-французски он писал не многим грамотнее), — я имел у него аудиенцию в кабинете, и он более получаса со мною разговаривал наедине... Он предлагает мне занять место в гражданской службе по собственному моему соизволению; но я отблагодарил Е.В.^{*}, уверив что после всех оказанных им мне милостей и особливо по любви моей к отечеству, я долгом священнейшим поставлю себе, служить им до последней капли крови; но что теперь я прошу его меня уволить, потому что незначущее место может быть легко занято с равномерным успехом многими другими также как и мною; а занять важное место я сам чувствую себя еще не в состоянии, и потому прошу позволения отсрочить на несколько времени, дабы приобрести нужные сведения в моем отечестве»⁴. Этот разговор происходил еще до того, как Кривцов увлекся Ланкастеровыми школами. Но и потом, уже решив заняться просвещением России, он отнюдь не думал ограничиться заведением школ, а потому претендовал еще на дальнейшую подготовку. Я упоминал уже, что в Париже он сблизился с Лагарпом и видимо внушил ему большое уважение своими твердыми нравственными правилами, просвещенными взглядами и пр. В январе 1816 года Лагарп, разумеется посвященный Кривцовым в его Ланкастеровские замыслы, предложил ему составить записку по этому предмету, с тем, что он, Лагарп, передаст ее царю. Речь шла о наиболее рациональных способах к ведению Ланкастеровой системы в России; Кривцов считал удобным прежде всего устроить Нормальную школу взаимного обучения, поставить ее в связи с духовными семинариями и через то заинтересовать в ней духовенство, а также наиболее просвещенную часть поместного дворянства. Предложение Лагарпа натурально окрылило его. «Какое беспредельное поприще от-

* Его Величество.

крывается предо мною! какая обширная картина разворачивается пред моим взором! какая масса новых идей, замыслов, надежд! и может быть страданий и несчастий!» И вот он нежится привольными мечтаниями. Пять дней спустя он пишет в дневнике: «Ничто нейдет мне на ум, ничем не могу заняться — думаю весь вечер о моем будущем. Я вернусь в Россию к концу лета. До зимы я проживу с родными, потом — в Москву; а весной, если меня позовут, приеду в Петербург и там займусь школами. Года или 18 месяцев будет достаточно, чтобы пустить их в ход. В это же время я буду собирать другие сведения, касающиеся России. Потом, обеспечив себе 10 000 рублями, я хотел бы провести год в Германии, полтора в Англии, лето в Швейцарии, год или полтора в Италии, затем через Испанию вернуться в Париж и провести здесь зиму. После этого, в возрасте 32—33 лет, отечество сможет быть довольно таким слугою, каким я буду тогда». — План, нельзя не признаться, несколько подозрительный; если это — подготовка к патриотической деятельности, то, во всяком случае, подготовка весьма комфортабельная, странно не идущая к подвижнику сурового долга, будущему страстотерпцу. Несколько раньше Кривцов скромно определял свой желательный годовой доход в будущем изрядной суммой 25 000 франков: большим, писал он, он не считает себя в праве располагать, ибо все, что сверх этого, было бы потерей для бедных.

Теперь, изложив умозрение Кривцова, я должен предостеречь читателя: не верьте ничему, ни одной его мысли, ни одному обещанию, ни одному решению. Это все — «идеология», блестящие и пустые порождения ума, влюбленного и в процесс своего творчества, и в его продукты — оценки, формулы, принципы. Кривцов несомненно был искренно убежден, что именно этого хочет и именно так сделает, как указывает стрелка его ума; но он ничего этого не сделает, потому что в действительности он вовсе этого не хочет: стрелка двигалась сама по себе, повинаясь закону логической последовательности, а не воле. Он сделает почти во всем как раз обратное тому, на что он теперь сознательно обрек себя, и сделает это так естественно, без малейшей внутренней борьбы, как если бы он никогда иначе и не думал. Никаких школ он не будет учреждать в России, никакого креста, разумеется, на себя не возложит, не будет бежать ни света, ни его презренных благ, а с первого же дня будет делать карьеру, какая дастся, будет усердно добиваться и отличий, и прежде всего денег, и всяческих удобств, с тем только отличием от заурядных карьеристов, что высокое сознание своего достоинства сообщит его аппетитам героические размеры: где другой стал бы просить, как милости, он будет требовать, как должного, и где другой попросил бы малого, он потребует сразу солидный куш.

Даже нет надобности заглядывать вперед: в пределах самого дневника эта двойственность его мышления и натуры обнаруживается как нельзя более ярко. Он с презрением говорит о дворах и царедворцах, не прощает даже Гёте его принадлежности к скромному веймарскому двору, но сам отнюдь не прочь войти хоть в минутное общение с князьями земли, притом без всякой особенной нужды. Проездом через Зальцбург он считает нужным сделать ви-

зит баварскому наследному принцу и остается у него обедать. Через несколько дней по приезде в Париж он представляется королю, герцогине Ангулемской^{52*}, графу д'Артуа^{53*} и другим членам королевской фамилии (король благодарил его за спасение французских пленных в Москве), а по вступлении русских войск в Париж представляется Александру и ведет себя при этом так искусно, что царь уплачивает за него, по представленному им реестру своих долгов 25 000 рублей. Эта подачка, да милостивое согласие Александра отсрочить на некоторое время его возвращение в службу повергают его в умиление; ненависть к «тиранам» забыта: «Вот мое положение с государем, можно ли не любить его? Можно ли не посвятить ему до последней капли крови всю жизнь свою?» Он жадно слушает уверения Лагарпа о либеральных наклонностях Александра: «тем лучше: я твердо решил только при этом условии служить ему»; в другой раз он заявляет, что при Александре ему, по-видимому, нечего бояться за свой либерализм, если же на престол вступит Константин, — «я 24-х часов не останусь при нем в России». Не верьте ему: он усердно будет служить и при вовсе не либеральном режиме Александра в 20-х годах, а позже и при Николае, и еще отсюда же, из Парижа, он собирается на обратном пути в Россию заехать в Варшаву навестить великого князя Константина. Далее: он ненавидит протекцию. 17 октября 1815 г. он пишет в дневнике: «Был у Лагарпа. То, чего я опасался с его стороны, вчера случилось. Он сказал мне, что хочет рекомендовать меня государю, как человека, который может быть ему полезен. Не говоря уже о том, что я не желаю ничьей протекции, — я буду безутешен, если он хоть в малой мере заподозрит бескорыстие услужливости, которую я ему оказывал. Я сказал ему, что я ищу и ценю, как необходимое условие моего счастья, только уважение честных людей, а вовсе не милости дворов». Но когда три месяца спустя Лагарп предложил ему составить для царя записку о Ланкастеровых школах, он совсем не отказался от этого посредничества, а, напротив, возликовал: «Какое поприще открывается передо мною» и т.д. Та же история повторилась и с гр. Каподистрией^{54*}. Он счел нужным сделать последнему визит. Две недели спустя он пишет: «Г. Каподистрия уехал, не дав мне обещанной аудиенции. Тем хуже, но не для меня. Я очень забочусь о своем счастье, и полагаю его прежде всего в отсутствии потребностей; ясно, как мало я нуждаюсь в каком-либо министре Его Величества». А по приезде в Россию, опираясь именно на это мимолетное знакомство, он начнет осаждать Каподистрию просьбами и домогательствами чисто личного свойства и через него прекрасно устроит свои дела. «Ему ничего не нужно», — но так как он не любит отказывать себе, то ему всегда нужны деньги; он получает деньги от матери, выпрашивает у царя, и ему все-таки не хватает; тогда он занимает у знакомых — как занимает! Спрашивал у одного, у другого, наконец ему дают совет обратиться к Воронцову^{55*}; он отправляется к Воронцову, тот встречает его объятиями, но насчет денег рассыпается в извинениях; он обращается к другим, — один русский офицер дает ему 1800 р., но этого мало, он отправляется к банкиру Лафитту^{56*}, и т.д.; и все это он совершает с важностью, вполне сохраняя чувство своего достоинства. Или в другой раз: узнал он, что компания русских офице-

ров осадил богатого соотечественника, знакомого и ему, — все брали взаймы; Кривцов, рассказав об этом в дневнике, замечает: «Все берут, почему бы и мне не взять?» И взял, конечно. А на другой или третий день он отправляется благодарить благодетеля и, застав у него еще несколько человек, пришедших с той же целью, как он, выражает про себя благородное негодование: такие-де вещи должны бы делаться между порядочными людьми не иначе, как письменно!

Так странно он был расколот надвое. В нем мысль работала самочинно и вырабатывала или воспринимала извне стройные принципы без малейшего сознания о жизни, без малейшего чувства своей ответственности перед жизнью. Он грешит совершенно наивно, потому что принципы для него — только предмет созерцания или приятная и почетная собственность: сад с цветниками, как я сказал; в доме идет своя жизнь, часто неприглядная, а в саду приятно погулять и показать его другим. Но что всего удивительнее в нем, это полная безболезненность его раздвоения. Его болезнью, правда, в гораздо менее острой форме, страдала и страдает доныне вся русская интеллигенция, но именно страдала, то есть болела душевно и мучилась этим внежизненным цветением своей мысли. Он же, рекрут одного из первых призывов, ничуть не страдает, напротив, чувствует себя великолепно. Еще на первых порах, в Женеве и Париже, вследствие потрясения, вызванного в нем ампутацией ноги (как он сам пишет), бывали у него припадки нервной раздражительности, беспричинной тревоги, уныния. Но к концу 1815 года он вполне окреп телесно и духовно, чему вероятно много содействовала вывезенная им в сентябре этого года из Лондона превосходная пробковая нога. С тех пор он все время чувствует себя безотчетно счастливым. «Я ношу в своем сердце неиссякаемый источник счастья и наслаждения, я наслаждаюсь всем, каждый день доставляет мне новые радости независимо от событий и обстоятельств: то новая истина, то новое познание, то удачная фраза, то открытие, полезное для человечества. Я похож на дикаря, радующегося при виде всякой вещи, раньше ему неизвестной. Как влюбленный, открыв глаза, жадно схватывает первую свою мысль, напоминающую ему о предмете его обожания, так я, просыпаясь, знаю о чем думать, и день для меня всегда слишком короток». Он часто говорит об этом. Он и вообще думает, что человеку не много нужно, чтобы быть довольным своей участью, — надо только иметь каплю здравого смысла. Он часто говорит также о том, что ему все удастся; девизом для своего герба он избирает: *Semper felix**. Каков он есть, он совершенно доволен собою. М-г Монтегри показал ему рукопись Франклина⁵⁷ — рассуждение о ступенях морального совершенствования и о способах его достижения. Оно было писано Франклином в возрасте 24 лет. Кривцову в это время было столько же, и он пишет в дневнике: «Он составил эти правила в 24 года, — я их исполнил. Он любил философию, я обожаю ее; он был счастлив, я ношу в сердце неиссякаемый источник счастья: наконец, я хочу отре-

* Всегда счастлив (лат.).

шиться от всех потребностей и дать полный простор только одному желанию — желанию быть полезным людям!» Даже потеря ноги не мрачила его счастья; он писал по этому поводу: турист поражен видом Рейнского водопада, мимо которого туземец проходит равнодушно; так все в жизни — дело привычки, но от тонкости наших органов зависит, какое количество наслаждения мы извлекаем из каждой вещи.

В своем дневнике Кривцов последовательно излагает ход двух любовных увлечений, пережитых им за границей. Любовь к женщине — сильный реактив для мужчины. Кривцов весь раскрывается в этом рассказе. Что он чувствовал и делал, и как он повествует о своих чувствах и поступках, — эти два ряда фактов прекрасно дополняют друг друга.

Первая история разыгралась в Женеве в декабре 1814 года. Его сердце было еще не совсем свободно: он недавно любил какую-то княгиню или княжну Каролину, вероятно в Вене, откуда он ехал теперь; рана была еще свежа, когда в Женеве он встретил в обществе девушку из хорошего дома по имени Amélie. Она явилась как раз во время. Он совершенно не мог жить без любви; за две недели перед тем, как вспылать к ней, он начал было увлекаться одной хорошенькой дамой, которую однако принужден был оставить, убедившись в ее кокетливости и равнодушии к нему. В Амалии он нашел именно то, чего искал: томную женственность, дар беспредельной преданности, а главное — огромную склонность к задушевым излияниям, долгим взглядам, нежным рукопожатиям, в чем, кажется и состояло для него главное очарование любви. Она была не очень красива, но, по его словам, бесконечно привлекательна естественностью и грацией всего существа. Влюбиться в Амалию было для него делом нескольких дней, что он и не замедлил констатировать: «Должен признаться, что я серьезно влюблен в нее, и доверие, которое она мне оказывает, еще более воспламеняет меня». О женитьбе он, разумеется, не думал: до того ли было ему, без ноги, без средств, без определенного занятия! Увы, счастье не для него! «Это — иллюзия, рассеивающаяся, как утренний туман. Мне не вкусить блаженства на этой земле. Это горячее сердце, эта огненная душа, этот пылкий ум угасли навсегда — и до срока! В 23 года я должен, вероятно, от всего отказаться и жить только воспоминаниями. Это ужасно» (позднее, как мы знаем, он вменил это самоотречение в гражданский долг). Тем не менее он усердно развивает свой роман. Сколько приятных чувств! Любовь «наполняет, опьяняет, пожирает, уничтожает и одновременно воскрешает» его, какое наслаждение испытывать и делить эту жизнь, источники которой, он думал, уже иссякли в его сердце! А сама Амалия — как нежна, как скромна и робка! Как пылко отдается она влечению сердца вопреки всем страхам, обуревающим ее! Она начала писать его портрет, это окончательно сблизило их; она обещала ему вечную дружбу, а он клянется в своем дневнике не пощадить жизни для ее счастья: большего она не ищет. Съездив на два дня в Лозанну, он едва мог дожждаться свидания; зато как он был вознагражден! Она не ждала его, когда он пришел. Он взял ее за руку, она пожала его руку и приложила ее к своему сердцу: «Слышите, как оно бьется?» В глубоком

волнении он прижал ее руку к своим губам, — говорить он не мог; наконец, оправившись, — «Значит, вы мой друг?» сказал он, сжимая ее в объятиях; «да», — отвечала она тихим, но взволнованным голосом.

Шесть недель тянулась эта история, не двигаясь вперед: все те же сладкие романтические беседы наедине, с поцелуями и объятиями, те же условные вечерние встречи в обществе с тайным обменом влюбленных взглядов, — и наконец он уехал в Париж, условившись с нею о переписке. В Париже он еще долго вздыхал по ней и уверял себя, что он обожает ее, что эта рана в его сердце никогда не заживет, что он несчастен навеки; он писал ей и знал о ней из писем общих женеvских знакомых, а в мае 1815 года она прислала ему его портрет и еще одну картину, висевшую в ее комнате, вероятно нравившуюся ему, и под картиною было написано ее рукою: «Я буду следовать за тобою всюду и лучше погибну, нежели расстанусь с тобою». Он заперся тогда один в своей комнате, и долго, со слезами на глазах, писал в своем дневнике: «О, моя Амалия, о мой единственный друг! Малек^{58*} был достойнее счастья, чем я, и в самом деле был счастлив; он умер в объятиях своей возлюбленной. А я жалко растрочу свою жизнь вдали от тебя, вдали от тебя я закрою глаза, вдали от тебя перестанет биться это сердце, полное твоей добродетели и твоего очарования, и холодные души, бесчувственные сердца сложат в гроб мои холодные останки, не оросив ни единой слезою мой прах, а ты, прекрасный друг, ты еще долго не будешь знать, что тот, кто любил тебя более всего на свете, уже не существует!» По его образу жизни в это самое время, по его интересам, совсем не видно, чтобы он страдал или вообще был углублен в себя; напротив, он жил энергично и разнообразно, многое узнавал, каждый вечер проводил в княжеских салонах, внимательно следил за политическими событиями. Да и вообще сомнительно, любил ли он когда-нибудь Амалию. Он любил сентиментальные чувства, ту полноту, которую дает хотя бы надуманная влюбленность, любил интимные беседы с женщиной, словом, любил *свои* переживания в любви: это был тоже корректив к рассудочности.

Еще целый год он помнил Амалию. Под 7 декабря 1815 года в его дневнике записаны такие характерные строки: «Что до меня, то я люблю, я обожаю Амалию. Я беру первую попавшуюся женщину, когда нужда того требует, а на женщин вообще смотрю просто как на людей». Амалия неизменно фигурирует в его мечтах о швейцарской идиллии, которую он собирается устроить себе в случае неудачи своих патриотических замыслов: Амалия вместе с природой, книгами и кружком друзей, украсит его тихий закат.

Он еще продолжал мысленно клясться в вечной любви Амалии, когда подвернулся ему другой случай, иного рода. В Париже у знакомых он встретил хорошенькую и очень привлекательную молодую женщину, Генриетту Рабюссон. Узнав, что она сдает комнату, он решил поселиться у нее, в расчете без труда добиться ее расположения; это была интрижка самого незамысловатого свойства. Генриетта была пятый год замужем. В маленьком городке Ганн, департамент Алье, до сих пор есть улица Рабюссон, а в

кабинете местного мэра еще и теперь висит портрет барона Жана Рабюссон. Этот Жан Рабюссон и был муж Генриетты. Восемнадцать лет, в разгар войн революции, сын мясника из Ганна пошел на военную службу и быстро выдвинулся необыкновенной храбростью, ловкостью и умом; сначала в Рейнской армии под начальством Пишегрю^{59*}, потом в знаменитой «консультской гвардии» он проделал все походы революции и Наполеона, был десятки раз ранен, почти искрошен при Эйлау^{60*} (17 ран), дрался в 1808 году в Испании, в 1809 в Германии, в 1812 в России, в 1813 в Саксонии, и до последнего часа верою и правдой служил обожаемому императору, после реставрации ушел в отставку, а во время Ста Дней снова стал под знамя Наполеона. Однако, когда Кривцов познакомился с его семейством, Рабюссон уже служил Бурбонам: в октябре 1815 года он был назначен подполковником второго конно-гренадерского полка королевской гвардии. Он был женат с 1811 года; одна из сестер Генриетты была за знаменитым живописцем Орасом Верне^{61*}. Рабюссону по долгу службы приходилось жить постоянно в Версале, а Генриетта с мальчиком, лет трех, жила в Париже у двух незамужних или вдовых сестер. Генриетта была, по-видимому, значительно моложе мужа (Рабюссон родился в 1774 году).

В середине января 1816 г. Кривцов переехал в квартиру Генриетты и ее сестер. Я уже упоминал, какой план обходного движения он составил себе: сестры набожны, он разыграет комедию постепенного обращения на путь веры — это расположит их в его пользу, он же уверит Генриетту, что ей обязан своим обращением, и тогда она, конечно, не устоит. Немедленно по переезде на новую квартиру он приступил к делу: просидел у хозяйек целый вечер, читая им по их предложению какую-то скучнейшую книгу «о человеческом сердце». Ночью, за дневником, его взяло раздумье. Черт знает, как глупо! Мне нужно заниматься, а я зря трачу время: присутствие тех двух сестер раздражает меня и усиливает возбуждение; к тому же сегодня я, кажется, дал промах: взял слишком сентиментальный тон, — этим я стану смешон. Он дает себе слово — через две недели бросить затею, если к тому времени не успеет вполне. Пришла ему на мысль и Амалия, но он успокаивает ее тень: «О, Амалия, я люблю другую, но это любовь преходящая, человеческая, ты же по прежнему занимаешь первое место в моем сердце» — и снова клятвы о том, что, отслужив родине, он принесет свою свободу к ее ногам.

Назидательные чтения продолжались, — он предложил Генриетте объяснять ей сочинения аббата Готье^{62*}, в надежде, что это сблизит их. Генриетта с каждым днем нравится ему больше; она кротка, женственна, проста. Он проводит у хозяйек почти все вечера; они польщены тем, что он предпочитает их скромное общество великосветским салонам, и Генриетта однажды выразила ему эту мысль. Он считает комплимент заслуженным только наполовину, так как ведь им руководит корысть, впрочем, говорит он себе, бесспорно самый выбор делает мне честь: он свидетельствует о добром сердце. Да и она вполне заслуживает любви, так что, если я и не достигну цели, все-таки я буду в выигрыше, ибо приобрету дружбу прелест-

ной женщины, которую тогда смогу еще больше уважать. Каждый раз, уходя от них, он чувствует себя более чистым; он ощущает среди них аромат добродетели, *le parfum de la vertu*, и это тоже немалый выигрыш: «Я силюсь быть лучше, чтобы понравиться им, и постепенно привыкаю к этому. Так человек становится добродетельным, вращаясь среди людей, внушающих любовь к добродетели».

Однако дело подвигалось туго — они все время виделись при свидетелях, и он больше успевал в добродетели, чем в любви. Однажды вышла политическая размолвка: сестры были рьяные легитимистки^{63*}, а он дал волю своему либеральному пафосу; но в тот вечер он был утешен знаменательным восклицанием Генриетты; в пылу спора она сказала: «теперь я понимаю, что из-за политических взглядов можно даже развестись с мужем». Этот многообещающий намек распалил его; два дня спустя он уже пишет: «вот оно опять, это проклятое чувство, которое столько раз возмущало мой покой; да, я люблю!» Отныне он уже все время говорит о *любви*, не стесняясь призрака Амалии. Он становится нетерпелив, особенно после того, как она на денек съездила к мужу, — добивается свидания наедине, ищет объяснения. Через три недели после начала он уже не владеет собою; добродетель забыта, грешная страсть его мучит, и снова, как год назад с Амалией, он упивается полнотою и силою своих чувств, в чем не без самодовольства распространяется в своем дневнике. Он преследует Генриетту, настигает ее у знакомых и, пользуясь темнотою, берет ее за руку, она жмет его руку и говорит ему о своей симпатии к нему; в присутствии сестер он мимоходом бросает намеки, понятные ей одной, ищет ее взгляда, так что она со страхом переводит глаза на сестер — не заметили ли они. Наконец, потеряв терпение, не спавши накануне всю ночь, он решается идти напролом. Он сошел в сад, бывший при доме; его цель была — привлечь ее к окну, и его ожидание оправдалось; с первых же слов она сообщает ему, что откладывает свою поездку в Версаль (она опять собиралась навестить мужа). Это известие сильно ободрило его; он хочет проникнуть в ее комнату, она запрещает ему, он настаивает, и наконец, при содействии маленького Альфреда, добивается своего, входит к ней, изъясняется в любви, и — о, счастье! Убеждается, что и она его любит. Правда, вначале она была испугана, отняла у него свою руку, но он увлек ее своей пылкостью, и под конец уже он целовал ее руки, она жала его руку. Бедная женщина, по-видимому, серьезно страдала; она увлеклась и боялась своего чувства, и в то же время жалела Кривцова. Она умоляла его подумать, как опасна может быть для них эта страсть; даже и ему стало жаль ее: он пишет в дневнике, что решил не употребить во зло ее доверчивости: «я хочу быть всем обязан только жару ее собственной страсти». Этакий гурман!

А на следующий день, тут как тут — муж приехал из Версаля, с самого утра. В сердце Кривцова ад, его чувства напряжены как тетива; днем у него урок греческого языка — он почти не слушает, на лекции Андрие^{64*} по психологии он не может принудить себя ко вниманию. Наконец, муж уехал, стало легче. Теперь дело быстро пошло к развязке; но в ту самую минуту, когда оставался только шаг до победы, Кривцов вдруг, как Подко-

лесин, стремглав кинулся — только не в окно, а в пучину добродетели. Он попросил свиданья, она не только согласилась, но даже приблизила срок, он провел с нею наедине два часа, и тут-то, после свидания, озарила его эта мысль. «Как искренно она говорила со мною! И я обману ее доверие? Боже, мои глаза открываются, мое сердце опять стало доступно добродетели, оно слышит ее голос. Мне смутить покой, нарушить счастье этого небесного создания? Мне внести расстройство в эту семью, принявшую меня так гостеприимно? Нет, нет! Страсть моя велика, но что же и есть добродетель, как не жертва долгу? Она предлагала мне свою дружбу, уверяла меня в уважении мужа, она умоляла меня не губить ее. И я употреблю во зло ее доверчивость? О, небо! Это твой голос! Да, я добродетелен, сладость такого поступка вознаграждает меня... Я знаю всю цену моей жертвы, но меня поддерживает добродетель, ее дыхание меня живит — и я достоин дружбы Генриетты!»

Нет никакого сомнения (это видно будет и из дальнейшего), что Кривцов не любил Генриетту, а был только возбужден страстью к ней. Его добродетельное решение было вызвано прежде всего страхом: он увидел, что молодая женщина не на шутку влюблена, и это его обеспокоило; да и муж был слишком налицо: свяжешься, потом не выпутаешься, — или, как говорил Подколесин: «однако ж, что ни говори, а как-то даже делается страшно». Но характерно, чем он себя обуздывал: добродетелью; сознавать себя добродетельным было для него так сладко!

Разумеется, плотина не выдержала и трех дней. Три дня после решения он был грустен, ничего не мог делать, не находил себе места и каждый вечер проводил у сестер. Он не устоял, чтобы не похвастать: улучив минуту, он сказал Генриетте, что приобрел новое право на дружбу всех честных людей, — но не сказал, чем. Потом он сам нашел, что это было плоско. Через два дня он опять имел с нею двухчасовое свидание, и добродетель поколебалась; он размышляет о том, как хороша была бы жизнь, если бы можно было любить беспрепятственно. Генриетта, по-видимому, уже готова была сдаться. «Как она предается, прелестная! Какая доверчивость! Как я торжествую над всеми сомнениями в душе моей маленькой святоши!» Были и объятия, и она напомнила ему Амалию, когда спросила: не дурно ли это? Спустя несколько дней ей пришлось поехать к мужу на некоторое время. Кривцов крепился-крепился, и в одно прекрасное утро явился в Версаль. Муж скоро ушел, они остались одни; она была испугана и взволнованна; произошел решительный разговор: она говорила о том, как она несчастна, полюбив его, но что она не может изменять своему долгу и потому решила подавить в себе страсть. Он спросил, чего она требует от него, она в ответ: чтобы мы больше не видались, тогда он, «уверенный в результате», как он пишет в дневнике, «притворился» (это тоже его слово) омертвелым от горя, закрыл лицо руками, проговорил прерывающимся голосом: *Vouz seres obéie, Madame**, и тогда она взяла его руку и прижала к своему сердцу —

* Вам будут послушны, мадам (франц.).

оно сильно билось, — он отнял свою руку. Потрясенная его видом и раздражающим молчанием, она со слезами принялась успокаивать его, отказалась от своего требования и просила только, чтобы он ее пощадил, — а он продолжал сосредоточенно молчать, «изображая страдание». Потом он осматривал город, потом обедали, муж занимал их рассказами о своих походах и ранах; потом она на минутку спровадила мужа, и они обнялись, а вечером полил проливной дождь, муж приглашал его ночевать у них, но она не хотела этого, и он уехал.

Дальше пошло все так же. Два дня спустя он опять приехал в Версаль, отвел подозрения мужа какой-то выдумкой, и пробыл три часа. Потом Генриетта вернулась в Париж, он бросил в почтовый ящик письмо к ней, и радовался: «Как удобна такая домашняя почта! Это прелесть». Она отвечала ему холодно, тоже письмом; за это он решил наказать ее: сказался больным, лег, ничего не ел кроме бульона: «у меня план на три дня» — они будут думать, что он очень болен, и она узнает об этом. Она в самом деле узнала и была печальна, особенно когда он при встрече обошелся с нею холодно; он опять написал ей письмо, очень холодное — «мне жаль ее огорчать, но надо ее проучить, — это будет на пользу»: и точно, она отвечала ему с нежностью, извиняясь и приглашая зайти к ней. Роли давно переменились; теперь она горевала, ревновала его к памяти Амалии и Каролины, упрекала его, что он так весел, жаловалась, что он мало ее любит, и вместе запрещала себя любить. А он, видя ее страсть, становился все холоднее и находил, что она не вытеснила из его сердца Амалию. Свиданий он теперь имел сколько угодно, вообще дело дошло до того, что для окончательного успеха ему недоставало только случая, которого, конечно, недолго пришлось бы ждать. А он и хотел, и трусил; то он цинично заявляет, что не хочет толкнуть ее к последнему шагу ложными уверениями, потому что желает «ощущать, насколько возможно, прелесть добродетели даже в самом пороке», то опять, после того как она на коленях умоляла его о пощаде, сурово решает отказаться от нее, и тогда опять — «о, добродетель, сколь сладостно пожинать твои плоды», и прочее. Так тянулись недели; он пишет уже откровенно: «Теперь я без сомнения мог бы добиться всего, но стоит ли? За минутное удовольствие пришлось бы, может быть, заплатить бесчисленными неприятностями». Он тяготится ею, хотелось бы уже быть вне Парижа; «это мне надоело». Генриетта, тем временем переехавшая от сестер на другую квартиру с мужем, бедняжка, слегла от огорчения. Он навешает ее, убеждает быть благоразумной и дает обещания, «о которых сам знает, что не может их исполнить»: у него уже все приготовлено к отъезду. Она узнает об его отъезде, и не от него, только за 4—5 дней, и пишет ему письмо. Наконец он приходит к ней прощаться, находит ее все еще в постели; она сдерживает себя при муже, Кривцов с разрешения мужа обнимает ее — ее щеки влажны, и муж, провожая его, говорит ему, что она плакала. Зачем он мучил бедную женщину? Зачем разрушил ее покой, может быть надолго, может быть навсегда? Нечего говорить, что он не огорчен разлукой с

нею, напротив — рад, что развязался; но хоть бы одно слово сожаления о ее горе и ее судьбе! Она останется для него только воспоминанием о приятном эпизоде в его жизни, о женщине, «которая утешила меня в потере Амалии и бросила несколько цветков на мой жизненный путь».

*

Так странно сочетались в Кривцове рассудочность и чувствительность, не проникая одна другую, а чередуясь изо дня в день или механически сливаясь в одном моменте, как слои картона. Секрет в том, что обе были наносные — и рассудочность, и чувствительность: пышные оранжевые цветы со слабыми корнями.

А под холеными цветами была русская почва, было то, что мы отчасти уже видели и чего еще больше увидим: был врожденный большой эгоизм и барство, требующее себе широкого размаха, был сильный, властный, крутой нрав с замашками самодура и взрывами дикого бешенства.

Но культура ума все-таки не прошла бесследно для Кривцова. По возвращении в Россию он сразу и по праву займет здесь видное место в передовом ряду образованного общества. Пусть идеи, убеждения, усвоенные им на Западе, будут тотчас выброшены за борт, но западная выучка развила и обогатила знаниями его природный большой ум, дала ему широкий и просвещенный кругозор; она прочно привила ему умственный интерес и вкусы культурного человека, так что он уже до конца своей жизни не станет равнодушен к книге, к искусству, и никогда не погрязнет в пошлом и неряшливом быте тогдашнего русского дворянства; наконец, и это было, может быть, самым ценным вкладом в русскую жизнь, культура укрепила в нем его, тоже, кажется, врожденное чувство своей личности. Он говорит однажды, что его любимое время для прогулок — сумерки, потому что никогда так ясно не ощущаешь своего «я». Это очень важная черта, общая ему, впрочем, со всеми развитыми людьми его поколения: он любит жить внутри себя и чувствует себя внутренне богатым. Оттого он так любит и свою умозрительную работу, и свои эмоции, и оттого он так ребячески хвастает своими умственными принципами: они действительно непосредственно радуют его. Отсюда же и его высокое чувство своего достоинства и своей общественной ценности, выражавшееся, между прочим, в его неумеренной притязательности. Как ни лаком он позднее до власти, почестей, денег, — он способен унижаться ради них только до известного предела; он вымогает милости с гордо поднятою головою, а когда заметит, что его достоинству грозит серьезный урон, он найдет в себе силу порвать унизительные цепи и зажить независимо. Все это мы увидим дальше.

А теперь еще два слова о Генриетте. По воле случая, в то самое время, когда в Москве я писал эти страницы о ее романе с Кривцовым, где-то во Франции подполковник Дюваль работал над биографией ее мужа. Эта биография вышла в 1911 году; в ней говорится и о Генриетте. В февра-

ле 1912 года, случайно просматривая свежую книжку «La Nouvelle Revue», я с удивлением встретил здесь имя: Henriette Rabusson, née Pujol*: это был пересказ той биографии ее мужа. Отсюда и заимствованы приведенные выше сведения о Рабюссоне.

Здесь же сообщается, что Рабюссон дожил до 1848 года, что их сын был военным, что небезызвестный французский писатель Анри Рабюссон, чьи романы из года в год печатаются в «Revue des Deux Mondes», — внук Генриетты, и что ее правнук, лейтенант в 25-м драгунском полку, только что женился на внучке Корвизара, лейб-медика великого Наполеона⁵.

II

Петербург тем и отличается от всех городов европейских, что он на всех похож.

Герцен^{65*}

Кривцов выехал из Парижа 1/13 июня 1816 года и ехал не спеша, с остановками в Веймаре, Франкфурте и т.д. С русской границы он направился не к матери, а в Москву: там с 14 по 31 августа находился государь и при нем гр. Каподистрия; Кривцову для его дальнейших планов необходимо было «показаться», напомнить о себе. Осень и начало зимы он провел у матери в Тимофеевском. В феврале 1917 г. он уже в Москве: 1 марта Кристин^{66*} пишет, что часто видится с ним здесь⁶. В середине или в конце этого месяца Кривцов явился в Петербург. Он сразу был принят, как свой человек, в лучшем обществе обеих столиц и, разумеется, вошел в него уверенно, с полным сознанием своего права. Молодой герой Отечественной войны, в аристократических и ученых кругах Запада отшлифовавший свою врожденную светскость до совершенства и усвоивший всю блестящую образованность Запада, — притом человек ясного и широкого ума, приятного нрава, серьезный и внушительный, — он естественно стал желанным и почетным гостем в петербургских гостиных. Как видно из записей в его дневнике, ближайший круг его знакомства в Петербурге составляли: Н.М. Карамзин, А.И. Тургенев, Михаил и Алексей Федоровичи Орловы^{67*}, С.С. Уваров^{68*}, Жуковский, кн. Юсупов^{69*}, гр. Сологуб^{70*}, С.Л. Пушкин^{71*}. Вращался он, без сомнения, и среди высшей знати и чиновной бюрократии, где у него было много связей по прежней службе и по заграничным встречам, был ласково принят государем и допущен в круг лиц, близких к царской семье. 10 апреля он был пожалован в камергеры, и в тот же день, по увольнении от военной службы за ранами, причислен к коллегии иностранных дел в звании советника⁷; а месяц спустя ему пожаловано единовременно 1,500 рублей и жалованья по 1,500 руб. в год⁸.

* Генриетта Рабюссон, урожденная Пюжоль (*франц.*)

Кривцов приехал в Россию не просто либералом, как столь многие его сверстники и товарищи по заграничным походам: он вернулся отъявленным республиканцем, почти революционером. Кристин, познакомившийся с ним в Москве, пришел в ужас от его политического вольнодумства; уж на что либерален Фицтум^{72*}, — он рьяный монархист в сравнении с Кривцовым. «Я, пишет Кристин, предсказываю ему, что разум или опыт сметут долой эти принципы, или, что в противном случае, мы увидим новые революции, и он склоняется к последнему предположению; по-видимому, он убежден, что без подобных катастроф мир не может быть обновлен. Я смеюсь над ним, указываю ему на Францию, столь чудесно обновленную, столь счастливую, главное — столь достойную зависти, а он отвечает на это, что у нас, надо надеяться, дело будет сделано лучше, нежели во Франции⁹. Эти крайние убеждения нисколько не помешали Кривцову подружиться с Кристином, который называет его «mon cher jacobin»^{*} и находит очень симпатичным. Да и можно ли было принимать серьезно это умозрительное и добродушное якобинство, когда сам Кристин, сообщая Туркестановой^{73*} о своих политических спорах с Кривцовым, прибавляет: «Все это говорится, конечно, полушутя». Якобинец ехал в Петербург, чтобы при помощи своих связей в высших сферах и на основании личного расположения к нему царя добиться дипломатического поста (мечты о просветительской деятельности были, конечно, забыты). Он открыто говорил еще в Москве, что не желает состоять при каком-нибудь дворе: *une cour l'incommode*^{**}; он хочет состоять при одном из республиканских правительств — швейцарском или североамериканском; кроме того, он не желает быть под началом старшего, так как всякая зависимость его стесняет¹⁰.

Но и эти требования, как мы увидим, были не более серьезны, нежели его республиканские убеждения. В Петербурге Кривцов легко отдался течению светской и придворной жизни, и когда в конце апреля княжне Туркестановой пришлось обедать вместе с ним в каком-то знакомом доме, она нашла его, видимо, совершенно *comme-il-faut*; со своими очками и с особенной манерой носить фрак он даже показался ей похожим на Кристина. Она удивлялась мастерству, с каким была сделана его искусственная нога, и еще более — его жизнерадостной философии, позволявшей ему смотреть на потерю ноги, как на счастливейшее в мире событие¹¹.

Кроме устройства собственной судьбы, у Кривцова была в Петербурге еще другая цель. Его отец умер в 1813 году, мать, Вера Ивановна, рожденная Карпова, жила в Тимофеевском. Из восьми человек детей старшая дочь, Варвара, была уже замужем, три девушки — Анна, Елизавета и Софья — и второй после Николая Ивановича сын Владимир, жили при матери, и Владимир вел хозяйство в имении; наконец двое малолетних мальчиков воспитывались в Москве, в университетском Благородном пансионе^{74*}. Об этих-то двух младших братьях Николай Иванович взял заботу на себя.

* Мой дорогой якобинец (франц.).

** Двор его не устраивает (франц.).

Воспитание, которое они получали в университетском пансионе, видимо не удовлетворяло его. Случилось так, что как раз в это время, то есть весной 1817 года, в петербургских высших сферах решался вопрос о посылке нескольких мальчиков в институт знаменитого швейцарского педагога Фелленберга^{75*} в Гофвиле близ Берна. Кривцов знал этот институт: он посетил Гофвиль проездом через Швейцарию в 1814 году и вынес оттуда наилучшие впечатления. Сюда-то он задумал пристроить за казенный счет своих братьев.

Педагогический институт Фелленберга, основанный в 1806 году, уже в начале десятых годов пользовался громкой известностью в Европе. Даже в скудной тогда русской печати уже появились сведения о нем: в 1813 году в «Вестнике Европы» была напечатана статья В. Измайлова о «сельском заведении в Гофвиле» — перевод или выдержки из статьи в одном из французских журналов¹².

Александр узнал о Фелленберге, без сомнения, от Лагарпа в 1814 году. Известно, что Лагарп познакомил его с системой Песталоцци^{76*}, посылал его сочинения и советовал отдавать к нему в выучку русских молодых людей, готовящихся к педагогической деятельности; в этом же 1814 году Александр виделся с Песталоцци, беседовал с ним несколько часов, обещал прислать ему учеников и его самого приглашал в Россию¹³.

Вероятно, Лагарп был первым посредником в сношениях Александра и с Фелленбергом. В 1814 году русским уполномоченным при швейцарском правительстве был граф Каподистрия. Александр поручил ему составить доклад об институте Фелленберга. Получив доклад в октябре, император 4—16 ноября, из Вены, где за две недели перед тем открылись заседания Венского конгресса, послал Фелленбергу рескрипт^{77*}; в Вене находились тогда и Каподистрия, вызванный Александром для обсуждения швейцарских дел, и Лагарп, делегированный на конгресс тремя швейцарскими кантонами. Рескрипт гласил так:

«Господину Фелленбергу»

«Полезные роду человеческому труды, коими вы столь давно и с таким успехом занимаетесь, важны оных последствия, и те, коих человечество впредь еще ожидать может, должны были обратить на себя Мое внимание, и дали вам право на Мое уважение. Я с удовольствием увидел, что ваша система хлебопашества и воспитания соединяет в себе двойную пользу, приводя в то же время к совершенству земледелие и земледельца. Желая изъявить вам участие, Мною приемлемое в успехе и распространении трудов столь отличных, жалую вас Кавалером ордена Св. Равноапостольного Князя Владимира четвертой степени, коего знаки различия при сем препровождаются. Мне приятно уверить вас в Моем к вам уважении.

Александр»¹⁴.

В письме, которым Каподистрия сопровождал императорский рескрипт, он объяснял смысл отличия, жалуемого Фелленбергу государем; «публичным изъявлением своего уважения к вашим дарованиям и достоинствам»,

писал он, «Всемиловитейший Государь мой желал обратить на Вас и на знаменитый подвиг Ваш особенное внимание Вашего отечества и Европы. Столь лестное одобрение просвещенного Монарха будет конечно одним из сильнейших способов к распространению в других землях открытий Ваших и установления, которое очевидно ведет земледельцев к изобилию и счастью путем трудолюбия и добродетели»¹⁵.

Интерес к Фелленбергу, обнаруженный Александром в 1814 году, вовсе не был платоническим, и не случайно этот интерес возник как раз в данное время, накануне образования Священного Союза. Венский конгресс 1814 года должен почитаться тем моментом, когда начало формироваться личное и политическое мировоззрение Александра, определившее всю его дальнейшую деятельность. Две идеи родились в нем под влиянием грандиозных событий и к этому времени уже достаточно окрепли: одна — идея религиозная, твердая уверенность, что мир управляется Божественным Промыслом и что подчинение этому Промыслу должно быть первым законом человеческой деятельности; другая, нераздельно связанная с нею, — идея религиозно-политическая, именно уверенность, что только религия может удержать народы от безрассудных революционных увлечений, какими наполнены были последние десятилетия европейской истории, и обеспечить им мирное и правильное развитие. При таких убеждениях вопросы воспитания естественно должны были получить в глазах Александра особенную важность; не удивительно, что попытка Фелленберга организовать народное просвещение на началах религии и земледельческого труда возбудила его внимание. Без сомнения, он уже тогда имел свои планы насчет Фелленберга. Но прошло еще больше двух лет, прежде чем он вообще нашел досуг заняться народным образованием. Продолжительный конгресс, основание Священного Союза, возвращение Наполеона с о. Эльбы и пр. надолго отвлекли его от этого дела.

Но это дело было, можно сказать, первым, которым занялся Александр, как только получил возможность вернуться к нормальной деятельности внутри империи. Сперанский верно и во-время выразил мысль, одушевлявшую царя, когда писал ему в январе 1816 года: «Все благомыслящие люди давно признали состав так называемого у нас народного просвещения весьма недостаточным. При внутреннем свете, озаряющем душу Государя, Его Величество ныне яснее еще, чем прежде узрит сии недостатки. Если правила общественного порядка должны быть почерпаемы из учения Христова, то кольми паче правила воспитания». С началом 1816 года и открывается ряд мероприятий, направленных к преобразованию народного воспитания в религиозном духе. В этом году разрешено было приступить к переводу Св. Писания на русский язык, в августе кн. А.Н. Голицын^{78*} назначен исполняющим должность министра народного просвещения, в октябре следующего года это министерство соединено с министерством духовных дел, и в акте, сопровождавшем манифест о слиянии обоих министерств, установлена новая организация объединенного духовно-просветительного ведомства¹⁶.

И тут-то, в разгар педагогических реформ, Александр вспомнил о соответственных западноевропейских попытках, с которыми познакомился в те тревожные годы: в 1816 году, по высочайшему повелению, были командированы в Лондон четыре студента Главного педагогического института для изучения Ланкастер-Беллевой системы взаимного обучения¹⁷, а год спустя решено было послать в институт Фелленберга несколько русских юношей из аристократических семейств.

Эта последняя мера рассматривалась, впрочем, только как временная, потому что в правительственных кругах — без сомнения, по почину Каподистрия — обсуждался план основания в Гофвиле особого *русского* педагогического института под ближайшим руководством Фелленберга; туда и должны были перейти посылаемые теперь стипендиаты, как только русский институт и предположенная в нем православная церковь будут устроены. План сам по себе не представлял затруднений, но важно было найти подходящего человека из русских, который мог бы стать во главе института. И тут как раз подвернулся Н.И. Кривцов: ничего лучшего нельзя было и придумать. Гр. Каподистрия был в Москве, когда Кривцов остановился здесь проездом из-за границы в Тимофеевское. Они виделись, и Каподистрия изложил ему свой план; трудность, говорил он, заключается в том, что сам он не может заняться этим делом (он в это время уже только номинально числился русским послом в Швейцарии), а его помощник там, барон Крюднер^{79*}, — не такой человек, чтобы мог организовать и затем вести институт; итак, не согласится ли он, Кривцов, занять этот пост? — Кривцов тотчас не дал определенного ответа, обещав сообщить свое решение из деревни.

Об этом московском разговоре мы и узнали из письма, которое Кривцов послал Каподистрии 13 декабря 1816 г. из Тимофеевского¹⁸. Он пишет, что горячо приветствует мысль графа об основании русского института в Гофвиле и что чрезвычайно польщен сделанным ему предложением; содействовать столь важному делу и работать вместе с человеком, пред которым он преклоняется (то есть Фелленбергом), составило бы счастье его жизни. Но, тщательно взвесив все обстоятельства, он остается при том мнении, которое уже имел честь изложить графу в Москве: он полагает, что функции заведующего русским институтом необходимо должны быть связаны с функциями русского резидента в Швейцарии, так как авторитет и содействие последнего существенно важны в особенности на первых порах для успешности дела. Если бы граф имел возможность оставаться на своем посту в Швейцарии, он был бы счастлив стать под его начальство и помогать ему в устройстве института; но барон Крюднер, по словам самого графа, не обладает теми качествами, которые необходимы для этого дела. Поэтому он, Кривцов, может принять предложение графа только под тем условием, чтобы его одновременно назначили, по крайней мере, дипломатическим агентом при швейцарском сейме, с сохранением военного чина и с назначением жалованья, соответствующего тому посту, который он имеет занять.

Если граф найдет возможным принять его условие, он просит представить дело на усмотрение государя.

Это было смело до наглости, и между тем письмо дышало такой самоуверенностью, таким сознанием своего достоинства и права! Его можно было купить, но только за дорогую цену. В конце письма он еще напоминал графу его обещание похлопотать перед государем о помещении его двух братьев в институт Фелленберга на казенный счет.

Каподистрия отвечал ему 9 февраля 1817 г. очень вежливо, но сухо¹⁹: барону Крюднеру уже поручено подыскать помещение под русскую часовню и договориться с г. Фелленбергом об условиях содержания как причта, так и самих пансионеров; поэтому было бы трудно осуществить проект, предлагаемый им, Кривцовым, не нанося обиды барону. Что же касается братьев, он выражает полную готовность поддержать его просьбу, и уверенность, что она будет уважена государем.

О назначении Кривцова в Швейцарию, по-видимому, больше не было разговоров. 27 марта Кривцов в Петербурге вручил графу Каподистрии для доклада государю прошение о помещении его двух братьев на счет государя в институт Фелленберга²⁰; а 26 мая последовал высочайший указ на имя министра финансов Гурьева⁸⁰: для воспитания в Гофвильском Институте малолетних Кривцовых производить им со дня их отъезда из России до возвращения по окончании наук ежегодно по 500 рублей каждому, считая рубль в 50 штиверов голландских⁸¹, из общих государственных доходов, каковую сумму выдавать их брату, ведомства Государственной Коллегии Иностранных дел коллежскому советнику Кривцову, то есть Николаю Ивановичу; на путевые же издержки доставить ему по 700 руб. ассигнациями для каждого, из тех же доходов²¹.

И вот, 27 мая 1817 года, в 5 часов дня, два мальчика с крепостным слугою выехали в возке из помещичьей усадьбы села Тимофеевского, Болховского уезда, в далекий Петербург. Это были Сергей и Павел Кривцовы — будущий декабрист и будущий попечитель над русскими художниками в Риме времен Гоголя. Сергею было 15 лет, Павлу 12. Последние полтора года они учились в Москве; теперь, после побывки дома, они надолго расставались с матерью и сестрами. Их вызвал в Петербург старший и важный брат, воля которого, разумеется, была для матери законом.

Мальчики прибыли в Петербург 9 июня, в тот самый день, когда окончилась лицейская жизнь Пушкина, и когда он на выпускном акте публично читал свое «Безверие»⁸². Четыре дня спустя старший, Сергей, писал матери: *«Милостивая Государыня Матушка Вера Ивановна. Извините меня, что я первое письмо так мало писал потому что я еще не успел образуметься от дороги хотя я и не очень устал но меня так закачало что не только руки даже и голова и в голове все тряслось»*. Он пишет, что к месту назначения их отправят недели через три, а может быть и позднее, потому что священник, который поедет с ними, еще не женат и ждет Мясоеда⁸³, чтобы жениться. «Насчет нашего ученья я теперь вам скажу, что там государь еще хочет заводить, но теперь там партикулярный пансион г. Фелленберга» (он

пишет: Филамберга, но здесь и в дальнейшем я более не буду соблюдать орфографию подлинников) — «и государь дает нам на проезд по 700 рублей и каждому 500 для нашего содержания и заплатить г. Фелленбергу».

В Петербурге мальчики поселились в том же доме, где жил старший брат Николай, но в другой квартире, — вероятно, это были разные этажи гостиницы; обедали также отдельно, и Сергей, заведовавший кассою, жалуется, что обед обходится им на двоих восемь рублей, да бутылка пива 25 коп., так что меньше десяти рублей в день им никак нельзя тратить; из-за дороговизны они даже отказались от ужина и купили себе чайник и чашки, чтобы пить вечерний чай дома. Они кое-как развлекаются, осматривая достопримечательности Петербурга. Старшему брату, очевидно, не до них: он сам недавно в Петербурге, для него еще новы и увлекательны впечатления двора и света. Мальчики ходят одни в театр; младший пишет, что был вчера в Казанском соборе и видел славные колонны и множество знамен всех наций и серебряную решетку, — «а нынче, я думаю, пойдем в кунсткамеру⁸⁴». Извините, милая маменька, что так мало пишу, право не знаю, что писать. У милостивой государыни бабушки цалую ручки».

Смотрят они въезд прусской принцессы Шарлотты⁸⁵ и видят государынь, выходявших на балкон к народу, и тут же, на балконе, позади государынь, в толпе придворных, — своего брата Николая: он тут в первый раз носил свой шитый золотом камергерский мундир и первый раз исполнял свою должность. Нашлись у них в Петербурге и знакомые — бывшие товарищи по московскому пансиону, Родзянко, Мансуров⁸⁶ и др. А насчет отъезда все еще не было определенных сведений: «брат Николай Иванович сам того не знает». Сергей сам соображает: надо еще попу и всему причту жениться, потом будет пострижение, потом будут их учить служению, — очевидно, раньше половины июля не выбраться. Должно быть по совету старшего брата, чтобы мальчики не слишком много шатались без дела, они начали ходить в недавно открытую Публичную библиотеку, три раза в неделю, а четвертый — в отделение рукописей; «и уж я был там раз, — пишет младший, Павел, — и читал переведенную с французского трагедию *Эсфирь* Катениным⁸⁷ и списал всего *Певца*⁸⁸ Жуковского, а завтра пойду опять в нее и буду рассматривать все рукописи и все залы, где содержатся книги, и к послезавтрему подписался на книгу *«Письма русского офицера»* (Федора Глинки)⁸⁹. Но прошел и июль, а день отъезда все еще не был назначен. 13 августа Николай писал матери, что каждый день ждет отправки братьев и не может дожидаться: все уже готово, но отсутствие гр. Каподистрия тормозит все дела. Наконец, 4 сентября Сергей извещает, что выезжают сегодня: последняя задержка вышла из-за того, что поп только вчера женил своего брата, будущего дьякона при нем же.

Ехали большой компанией: будущие ученики Фелленберга и причт, везли ризницу для будущей церкви, брали по 30 лошадей. Ехали медленно, останавливаясь в каждом городе, и до границы — Радзивиллова — добрались только через пять недель, 13 октября. Оттуда направились на Прагу, и в Гофвиль прибыли, по-видимому, уже в первых числах декабря. 14-16 де-

кабря Сергей писал матери: «Вот уже неделя, что я определился сюда... Определился я сюда 6 декабря нашего стиля. Г. Фелленберг принял меня чрезвычайно ласково, так же как и все учителя, дали нам с братом одну комнату, преимущественно пред всеми, которые живут по 10 и более. Теперь я учусь только по-немецки, потому что здесь все науки преподаются на немецком языке; еще начал я с одним французом геометрию. Стол здесь довольно умеренный, но сытный и вкусный; пьем мы старое красное вино. С детьми обращаются очень ласково, не так, как в Пансионе, а большие имеют довольно воли. Здесь очень много учителей, и в классе не более 5 или 6 человек... будьте уверены, что здесь мне ничего недостает; все любят, все пеняют, для чего к нему не придешь, другой — для чего не ходишь работать. За столом же меня г. Фелленберг возле себя посадил и особливые кушанья, т.е. те, которые подаются учителям, также и особливая бутылка вина, хотя и очень много есть больших учеников. Часто играем в снежки и другие игры. Платье здесь делают из довольно тонкого сукна».

III

Скачет груздочек по ельничку,
Еще ищет груздочек беляночки:
Не груздочек то скачет, — дворянский сын,
Не беляночки ищет, — боярышни.

Нар. песня.

Николай Иванович оставался еще в Петербурге, ожидая назначения. 22 мая 1817 года он торжественно возобновил свой дневник, прерванный на пути из Франции в Россию: «После 10-месячного молчания берусь за перо, чтобы продолжать протокол моей жизни. Я вступаю в решительную эпоху. Мне 26 1/2 лет, я на хорошей дороге, и в первый раз в моем сердце по-видимому зарождается устойчивое чувство». — Дело в том, что он затеял два предприятия, которые должны были сразу и прочно устроить его судьбу: он ждал назначения на дипломатический пост, и искал руки Екатерины Федоровны Вадковской.

Недавние увлечения и обеты, все эти мечты об отречении от земных благ, о служении родине, о Ланкастеровых школах, не то чтобы увяли, — они как бы механически выпали из его ума, вместе с любовью к Генриетте, ненавистью к царям, отвращением к протекции и пр. Он хотел устроиться, и устроиться хорошо, — других целей у него не было; и этой цели он добивается энергично, разумеется через протекцию, потому что других средств не было.

Можно удивляться ослеплению, в каком он строил свои расчеты, и можно было заранее предсказать, что его постигнет фиаско. В своем величественном самомнении он не мог и не желал учитывать шансы успеха: что ему, по его внутреннему чувству, подобает, того он и требует без отговорок, как должного. Мы видели, какой тон он взял с первого же шага — в переговорах с гр. Каподистрией о назначении в Гофвиль. Лаконический отказ

Каподистрия нисколько не образумил его; он вероятно опять подумал: «тем хуже для них». Теперь, в Петербурге, предъявив требование, он даже не допускает мысли, что ему могут отказать. Он пожелал занять пост при русском посольстве в Америке. 23 мая, за обедом у гр. Литты^{90*}, он узнает, что послом туда назначен барон Тюиль; вечером, занеся это известие в дневник, он уверенно прибавляет: «Завтра я вероятно узнаю и о моем назначении». На другой день он отправляется к гр. Каподистрии узнать о своем назначении, — и узнает нечто такое, что приводит его в удивление: он не ждал встретить препятствия. «Я решил написать ему сегодня же, с тем, чтобы уполномочить его передать государю мою формальную просьбу»; он не сомневается, что как только государь узнает о его желании, дело тотчас устроится. На следующий день он делает визит новоназначенному послу, барону Тюиллю, излагает ему свои «планы» и просит его согласия, — барон принимает его вежливо, но на его предложения отвечает «с голландскою флегмой»; а два дня спустя Каподистрия сообщает ему, что государь предпочитает назначить его в Англию. Кривцов принимает эту неудачу с резиньяцией. «Итак, я должен отложить мои планы до более благоприятного времени. Правда, я желал сразу слишком многого. Заботливость его величества трогает меня и в этом случае, как во всех других; постоянные проявления его доброты ко мне обеспечивают ему мою признательность навсегда. Мне нельзя колебаться ни минуты: служить ему есть единственное, что я могу сделать в эту минуту. Я покорюсь; но как дорого будет мне стоить эта жертва, которую я приношу ему! Настанет, может быть, более счастливое время, когда мои желания будут услышаны, но сколько событий совершится до тех пор!» Итак, он огорчен, но да замрет в его сердце всякий ропот против государя! его лойяльность непоколебима.

Он также забыл свое отвращение к дворцам и охотно является во дворец, даже по собственному почину. Решив навестить царскую семью в Павловске, он пренебрег обычным порядком и, не спрашивая позволения, просто поехал туда и велел доложить о себе. Это было грубым нарушением этикета, «но счастье», — пишет он в дневнике, — сопутствует мне всюду, как бы почитая во мне прямоту моих намерений»: — императрица, удивленная в первую минуту, искусно повернула дело, приписав его визит правам давнишнего знакомства, так как он когда-то служил в полку, который стоял гарнизоном в ее летней резиденции. После другого такого же ненужного визита в Царское Село он пишет в своем дневнике: «Сергей Строганов^{91*}, вернувшись из Царского Села, подшучивал над моей субботней поездкой туда. Не понимаю, что тут дурного! Император так добр ко мне, — вполне естественно, что я желаю его видеть».

В эти месяцы двор поглощен важным событием: бракосочетанием вел. кн. Николая Павловича. 20 июня 1817 г. совершился въезд невесты в Петербург (это была дочь прусского короля Шарлотта, нареченная в крещении Александрой Федоровной; ее сопровождал ее брат Вильгельм^{92*}, будущий германский император); 24-го состоялось ее миропомазание, 25-го обручение и 1 июля бракосочетание. Кривцов, в качестве камергера,

участвовал во всех этих церемониях, а по вечерам, за дневником, давал волю своему просвещенному свободомыслию. «Комедия, которую разыг-
рали при дворе, была в достаточной степени скучна», писал он 20-го. «У
девицы немецкая наружность, но весьма непрезентабельная. — Курбетты,
более или менее глупые улыбки, бессмысленные фразы — вот что такое
двор; прибавьте к этому, что все держат себя подло, низко и смешно, и кар-
тина будет закончена». Два дня спустя он представлялся принцу Вильгель-
му, без всякой другой надобности, кроме желания *presenter ses hommages*^{*}.
24-го, во время церемонии миропомазания, граф Сен-При^{93*} в разговоре с
ним заметил, что принцесса переживает теперь страшную минуту: отрече-
ние от своей родины, трон в перспективе... — Кривцов перебил его: «И
все-таки, все-таки трон! Пусть бы мне предложили трон ценою обрезания,
я не колебался бы ни минуты». «Так я сказал, — пишет он в дневнике, — но
я вовсе этого не думал; блеск трона меня не ослепляет, мой бог — свобо-
да!». И опять на другой день он служит при дворе, с 11 утра до ночи на но-
гах, одноногий, и в полной форме: утром обручение, потом парадный обед,
вечером бал. В этот день он состоял при вел. кн. Константине; последний
был с ним вежлив, но холоден, а он ждал большего, потому что, говорит он,
«государь меня избаловал». Он с улыбкой вспомнил в этот день предска-
зание своей няни-старухи, которая не раз говорила ему в детстве, что он бу-
дет при дворе. В день бракосочетания, 1 июля, он также с утра на своем по-
сту. В этот день вел. кн. Константин ни разу не заговорил с ним — «но я
слышал, — говорил он, — его разговоры с другими, и понял, что ему нече-
го было мне сказать». Зато государь оказал ему необыкновенную любез-
ность. После венчания Александр вдруг вошел в залу, где были в сборе все
придворные чины, и, направившись прямо к Кривцову, сказал ему несколь-
ко любезных слов по поводу утомительности всей этой церемонии для
него, Кривцова. Кривцов отвечал, что он старается оправдать назначение
его величества и постарается всюду, как до сих пор, с полным усердием ис-
полнять свои обязанности. Государь пожал ему руку и удалился, «изумив
всех своим появлением, которое по-видимому имело единственной це-
лью — сказать мне эти слова». Кривцов был крайне польщен; и тут же он
опять насмехается над жалкой толпою придворных, над обманутыми ожи-
даниями и завистью одних, над бездарностью и тупостью всех вообще, и пр.

А вдали от дворца, в интимной беседе, он по-прежнему не прочь пово-
льнодумствовать, однако не слишком громко, потому что и у стен есть
уши. Например, — «сегодня за обедом (у г-жи Соловой) я немного пояко-
бинствовал со Скарятиним^{94*}, потом немного посмеялся с дамами»; а вот
М.Ф. Орлов неосторожен: «вечером мы собрались у него — Вяземский^{95*},
Жуковский, Тургенев и я, — и он развивал ту мысль, что только слабость
характера может помешать человеку усвоить либеральные идеи; крайне
опасное заявление, будь тут горячие головы!»

Он посещает только лучшее общество; в его дневнике то и дело мелька-

* Выразить свое уважение (*франц.*).

ют записи: обедал у гр. Литта, у гр. Лаваль, у гр. Стройновского, у гр. Завадовского^{96*}, у Апухтиных, у Соловых, провел вечер у Строгановых, у кн. Вяземской, у Скарятинных, у Ланских, у Орловых (А. и М.Ф.). Днем он делает визиты. Раз упомянуто, что навещил Вендрамини — тех самых, которые были обязаны ему спасением в горящей Москве; раз — только раз — побывал на годичном заседании Библейского общества^{97*}, где было много духовных лиц — «зрелище необычное в России», — и где А.И. Тургенев читал хороший доклад, который, впрочем, «вероятно кто-нибудь помог ему составить»; Тургенев представил его председателю — кн. А.Н. Голицыну (тогда уже министру народного просвещения), который припомнил, что знал его раньше: они встречались когда-то у Нарышкиных. Парижские приятели Кривцова — аббат Грегуар, Жан-Батист Сэ и другие — вероятно удивились бы, читая эти его записи о его придворных и светских успехах в Петербурге; а пожалуй, что и нет.

Но при всем внимании, с каким Кривцов налаживал свои дворцовые и светские отношения, — не они, и даже не хлопоты о месте, столь важные для него, главным образом занимали в это время его внимание. Он опять любил — по меньшей мере уже в четвертый раз — и опять, по его словам, «всеми силами своей души».

Дело началось, как он сам рассказывает в дневнике, следующим образом. Лет 8 или 10 назад, когда Е.Ф. Вадковская был еще ребенком, он видел ее портрет, и она ему понравилась; ее дядя и тетка рассказывали ему о ней, и он с интересом слушал их рассказы; у него уже тогда зародилась мысль о женитьбе на ней, главным образом с целью породниться с ними, то есть с Чернышевыми. Теперь, по приезде в Петербург, он начал с жадностью собирать сведения о ней, но когда он в первый раз увидел ее, в ней оказалось мало сходства с тем портретом, и наружность ее так разочаровала его, что он не на шутку расстроился. Приходилось оставить мысль о женитьбе на ней, и ему было жаль этого. Он уже обратил было взоры — очевидно, с тою же целью — на другую, на некую А.Б., но дальнейшие встречи с Вадковской отняли у него свободу выбора; он не успел опомниться, как сделался ее рабом.

Итак, повторилась уже знакомая нам история его влюблений: он начал, как и с Генриеттой, рассудочно, и тотчас вспыхнул; стоило ему только с какою бы то ни было целью близко подойти к молодой женщине, его быстро охватывала страсть, бурная, мучительная, нетерпеливая до умопомрачения. Действительно, через 6 или 7 недель по приезде в Петербург он пылал уже ярким пламенем. Вначале он еще взвешивает шансы этого союза, но проходит неделя, и он уже ни о чем другом не думает, как только о свиданиях с нею, об ее отношении к нему и пр. В его чувстве есть что-то бешеное и дикое, он почти не владеет собою; как тогда, в любви к Генриетте, он признает: *mon imagination est montée*^{*}. Таковы большею частью были чувственные любви Пушкина.

* Мое воображение выросло (*франц.*).

Вадковская была не старого рода, но знатного происхождения. Ее отец, знаменитый красавец, Федор Федорович Вадковский⁹⁸, товарищ детства и потом любимец Павла, шеф Павловского полка, умер в звании сенатора еще в 1806 году; мать, Екатерина Ивановна, была дочерью сподвижника Екатерины II, фельдмаршала графа И.Г. Чернышева⁹⁹, и девушкой, в качестве фрейлины императрицы, сопровождала ее во время знаменитого путешествия в Крым. Кроме двух дочерей, у Екатерины Ивановны были еще четыре сына, все в военной службе, в том числе будущий декабрист, Федор Федорович. Вадковские¹⁰⁰, тоже как и Кривцовы, были орловские помещики, хотя и другого, Елецкого, уезда; притом они состояли в близком родстве с соседями и давнишними друзьями Кривцовых, Плещеевыми, так как сестра Екатерины Ивановны, Анна, была замужем за А.А. Плещеевым¹⁰¹ (другом Жуковского). Теперь Екатерина Ивановна жила с двумя дочерьми — старшею, Екатериной Федоровной, вероятно 19—20 лет, и Софьей, 17-ти. Как раз в это лето, когда Кривцов влюбился в Екатерину, за Софьей ухаживал полковник Семеновского полка П.М. Безобразов, вскоре и женившийся на ней. Позднее внук Екатерины Ивановны (сын этой самой Софьи) характеризовал свою бабушку, Екатерину Ивановну, такими чертами: она была женщина необыкновенно умная и энергичная, и, как дочь и жена военных людей, терпеть не могла «статских рябчиков»; так она называла людей, носящих партикулярное платье²². А Кривцов на свою беду был штатский.

По тогдашним законам приличия Кривцов не мог и думать о том, чтобы когда-нибудь видеться с Екатериной Федоровной наедине; дом был светский и строгого тона. В двадцатых числах мая Вадковские переехали на дачу — в Строгановский сад за Выборгской заставой. На даче было больше удобств для сближения, а мосты на Неве тогда разводились рано, притом не в определенное время: когда в полночь, когда и раньше. За лето он досыта вкусил эту муку Обломова; то он прерывает свидание, чтобы еще застать мост, то, приехав в 12, находит мост уже разведенным, и принужден до зари, до половины 5-го часа, дрогнуть под открытым небом, пока наведут мост. Искренние вопли вырываются из его сердца: что стоит раз навсегда установить час разводки, или ежедневно вывешивать объявление о часе, или разводить попеременно один из двух мостов! никакой заботы об удобствах публики, а департамент полиции стоит бешеных денег!

Девушка была очень сдержана. Еще на первых порах она оказывала ему некоторое внимание — по крайней мере так ему казалось; он как-то заметил, что ей следовало бы иначе причесываться, и несколько дней спустя застал ее причесанной так, как он советовал; он просился на службу в Америку, и она однажды заговорила о том, что хотела бы путешествовать и особенно — видеть Америку. Он жадно собирает эти крохи. Она называет ему, как свои любимые романсы, — «Il est parti...» и «Conçois tu...»*, а когда его

* «Он уехал...»; «Понимаешь ли ты» (*франц.*).

самого просят написать какие-нибудь стихи для музыки, он спрашивает ее, какую тему она желает, или, по крайней мере, предпочитает ли она дружбу, или любовь; она отвечает, что знает только первую, и тогда он пишет «Тоi qui d'amour j'aimeraï...»^{*} Но он с грустью видит, что дело не движается вперед; напротив, она даже как будто стала холоднее. На прогулке она дала ему нести свою шляпу, но разговора никакого не вышло, хотя они несколько раз шли рядом; потом, перед ужином, он застал ее одну на балконе — и она тотчас ушла оттуда. А он все больше разгорается, считает часы до свидания, живет только в те дни, когда видел или надеется увидеть ее. Она кажется ему совершенством, именно такая жена нужна ему. У нее нет ни богатства, ни ослепительной красоты, ни выдающихся дарований, но все в ней очаровательно: лицо, улыбка, звук голоса, даже движения, подчас невольные; она так естественна и покладлива.

Вот, в переводе, его записи за несколько дней.

Воскресенье, 3 июня. — Не то, чтобы я был недоволен моим днем, но и радоваться мне особенно нечему. Утром я гулял в Строгановском саду, потом сделал визит г-же Апухтиной; в 3 часа пришел к ней. Я сел рядом с нею, сердце сильно билось, и мы мирно беседовали. В ней нет ничего, что бы мне не нравилось; я был бы в отчаянии, если бы она хоть на йоту была иною. Но ее сдержанность меня истинно сокрушает. Вначале она иногда давала мне поводы быть довольным, но последние 2—3 дня ни одна отрада не утишает бури в моем сердце.

За обедом Софья (сестра Е.Ф.) была испугана ударом грома; она сказала мне: «вот так всегда: ей нужно взять мою руку, тогда она успокаивается.» — О, да! чего можно бояться близ тебя? получи я твою руку, прижми я ее к моему сердцу, — я пойду навстречу любой опасности и не буду бояться ничего на свете. — Я был тронут тем, как она сказала мне эти слова. О, как проникает мне в сердце всякое ее слово!

В 6 1/2 г-жа Вадковская ушла прилечь, и я счел долгом удалиться. Я пошел к г-же Соловой, был задумчив и рассеян; говорили о воспитании, я сказал, что отдаю преимущество общественному воспитанию, мне возражали глупости, я замолчал и ушел. Не смея вернуться к ней, я пошел к Тургеневым, где застал Жуковского. Разговор был интересен, как всегда, но я уже не тот!

Понедельник, 4 июня. — Бедная голова! бедное сердце!.. Нет сил продолжать. Куда же деваются и разум, и способность мыслить? увы! они — слишком слабые плотины против страстей.

Первая мысль, предстоящая моему уму в минуту пробуждения, это — надежда ее видеть; вечером я возвращаюсь грустный и недовольный; такова моя жизнь последние 3 или 4 дня! Я чувствую себя глупым, неловким, смешным... Дорого обойдется мне это! Но постараюсь собрать остаток своих сил.

^{*} «Ты, кого я буду любить глубокой любовью» (франц.)

Завтра я опять увижу ее. Сегодня вечером она по-видимому сердилась за письмо; я хочу показать, что не обиделся, но пробуду только минуту, и затем может быть дней 5—6 совсем не буду приходить. Господи, если бы я мог уехать!

Вторник, 5 июня. — Всю ночь и все утро — какая буря в моей душе! Мое сердце было разбито, меня терзала невыразимая тоска, я ничего не мог делать, все мои мысли были поглощены самыми мрачными предположениями. Еще один такой день, и я слягу. Голова у меня горела, пульс был ускорен, словом — я страдал мучительно, и все это — результат вчерашнего вечера: когда сердце полно любви, оно полно и страхов.

Сегодня вечером я опять пошел туда и пробыл как обыкновенно; и Бог знает, не пойду ли и завтра. Мы гуляли. Был Александр Нарышкин¹⁰². Я убежден, что в самом непродолжительном времени начнут говорить о моих частых посещениях. После ужина мы долго говорили о Плещееве. Она дала мне два-три определенных приказания. Если бы только я мог быть уверен, что это не насмешка; иначе мне было бы очень неприятно. Если она хочет испытать меня, пусть бы выбрала для этого случай поважнее. Софья прелестна своей добротою.

Обедал у Завадовского, который сам пришел меня звать. Мы много говорили с его старшим братом о чувствах, политике и морали. Он образован, но в мышлении слаб.

Среда, 16 июня. — Я серьезно думаю, что вчера утром у меня был кризис душевного недомогания, которое я испытывал последние дни. С тех пор я чувствую себя несравненно лучше. Вчерашний вечер был очень приятен, нынешний также, наконец я гораздо спокойнее. Между тем счастье еще далеко от меня. Ей опять пришла охота испробовать свой деспотизм надо мною: прощаясь, она подарила меня взглядом, полным ласки, может быть в награду за мое послушание. О, мой друг, разве ты не знаешь: «Повиноваться тому, кого любишь, отраднее, чем повелевать».

Софья была сегодня не так весела, как вчера. Я замечаю, что в присутствии этих господ²³ она всегда скучнее. Может быть, это — тщеславие, думать что со мною она лучше настроена, но действительно, когда их нет, она держит себя непринужденнее... Вообще, когда мы одни, они все гораздо больше болтают и смеются.

Мне очень хотелось бы знать историю ромansa «Ручей два дерева разделяет». Он уже давно интересуется меня, по разным причинам²⁴.

Четверг, 7 июня. — Утро я провел в бездельи, как и все эти дни: работа на ум нейдет, как говорит пословица. Обедал на даче у Козодавлева¹⁰³*, который по-прежнему необыкновенно любезен со мною. Вечером был у Тургеневых. Северин²⁵ сказал мне, что по моему делу еще ничего нет; тем лучше, очень рад; подожду возвращения графа. А ведь еще месяц назад я был бы в отчаянии от этой проволоочки. Как противоречивы желания человека! Я должен увидеть графа перед его отъездом; что-то он мне скажет? А пока — потерянный день: я не видел ее; но конечно я думал о ней и даже имел удовольствие говорить о ней с г-жей Козодавлевой; да и отсрочка

моего назначения, не ради нее ли доволен этим замедлением? Да, я люблю ее всей силою моей души, я поклоняюсь ей, как моему единственному бо-жеству. Все мои желания, словом — все мое существо принадлежит ей навеки!

Пятница, 8 июня. — Был у нее дважды: утром в 2 часа под предлогом доставки книг матери и визита на Каменный остров, и вечером по обыкновению. Много гуляли. Она была любезна, особенно утром. Мы говорили по-русски, вернее — я говорил с ней по-русски. Мне было немного совестно придти вечером вторично, как и перед тем было совестно придти утром. Когда я вдали от нее, я умираю от желания идти к ней, когда подхожу к дому, у меня сильно бьется сердце, когда я у нее, мне не хочется уходить, а из-за проклятых мостов приходится уходить раньше 12-ти, — это ужасно!

Сегодня вечером г-жа Вадковская более чем когда-нибудь подала мне надежду, сказав мне, что она хотела бы иметь повод побывать за границей. Я думаю, что со стороны матери не встречу затруднений, но дочь? Ах, она все еще холодна, как лед!

Прощаясь, я сказал, что завтра не приду. Если смогу, не пойду и в воскресенье.

Граф Каподистрия завтра уезжает, и ничего не дал мне знать. В другое время это бы меня расстроило, а теперь — хотя бы они все уехали на край света, мне все равно».

Он действительно не пошел ни в субботу, ни в воскресенье; в субботу приехали его братья, Сергей и Павел, с крепостным человеком Фокой; они привезли ему письмо от друга Плещеева, соседа по Тимофеевскому, который был также дружен с семьею Вадковских. В понедельник Кривцов повез это письмо к Вадковским. Этого вечера он особенно ждал, потому что по понедельникам братья и кузен отсутствовали.

Понедельник, 11 июня. — Хотя был понедельник, но вечер оказался менее удовлетворительным, чем я мог желать. Она может привести в отчаяние своей леденящей холодностью. Не приложу ума, чем это кончится; но если дело будет так продолжаться, очевидно, что я уеду ни с чем. Я был до известной степени обласкан только в первые моменты кампании, — и до какого состояния я тогда дошел! Но это продолжалось не долго: есть как бы черта, за которую невозможно перейти. Мучительное положение!

Вторник, 12 июня. — Эти два вечера были восхитительны, особенно нынешний; зато теперь надо ждать 5 долгих дней, пока повторится такой вечер. А в этот промежуток, так сказать, теряешь ее из виду, «раззнакомливаешься». Как бы мне хотелось, чтобы гвардия уже ушла в Москву! Но до этого еще 6 недель. — Она была милее, чем когда-либо; легкие замечания, упреки, намеки на то, что я увлечен Варварой (Нарышкиной), Еленой (Строгановой) и пр... Это меня восхищает. Мы хохотали до упаду, г-жа Вадковская просто выбилась из сил... Я гораздо свободнее с Софьей, потому что мое чувство к ней не так исключительно; с нею я робок, но иногда очень счастлив.

Обедал у г-жи Соловой, где нет возможности оживить разговор. Под конец я решился подшутить над их религиозными взглядами; это немного разбудило их, но затем всеми опять овладела обычная летаргия.

Я сделал также визит г-ну Убри^{104*}, у которого застал Петерсона и др., и двух молодых людей из Лицея, только что зачисленных в наш департамент: Горчакова и Корсакова^{105*}. Я с любопытством разглядывал их. Они были так довольны, — они вступают в свет! Какая беспредельная будущность, какая перспектива, какие надежды и как мало страхов у них в эти минуты! Это счастливейший момент их жизни. Пусть они досыта наслаждаются им.

Вчера и сегодня я оставался у нее дольше обыкновенного. Я решил переправиться в лодке, если мост будет разведен; но на этот раз судьба мне благоприятствовала, как бы не желая умалять счастье, которым я наслаждаюсь в понедельник и вторник.

Среда, 13 июня. — Я становлюсь все более нелюдимым вдали от нее. Обедал сегодня у гр. Лаваль; там были все Гурьевы, Нессельроде, два или три иностранных посланника и пр. За столом я сидел рядом с Дм. Ланским^{106*}, которому нельзя отказать в уме. Обед был прекрасный, беседа довольно оживленная: а я был бесчувствен ко всему этому, во-первых потому, что не надеялся ее видеть, во-вторых потому, что не видел ее сегодня. День был для меня потерян, или, по крайней мере, очень неполон. Вечером у Тургеневых, с Жуковским, я был не лучше. Как все изменилось для меня в мире! — Завтра я может быть увижу ее, но в таком многолюдном обществе! Ах, я живу только в понедельник и вторник! Все остальные дни я хотел бы быть мертв; я живу только подле нее, вдали от нее я хотел бы быть мертв. Я мог бы сегодня многое написать, но мое сердце печально, мой дух стеснен... Ах, если бы ты знала всю силу моей любви! Но разве ты можешь ее не знать?... Боже мой, может ли твое сердце оставаться холодным, когда мое пожирает неистовая страсть?...

Четверг, 14 июня. — Нет, сегодня в мое сердце проник луч надежды! Но как слабо это утешение, сколько страхов и тревог терзает меня! Ничто не дает мне уверенности. И удивительно ли при моем теперешнем состоянии, если я принимаю иллюзии за действительность? В чем проходит мой день? Ряд бессмысленных, медленно влачащихся часов, пока я вдали от нее, — таковы все мои дни вот уже месяц. Наступает вечер, и начинается моя жизнь, — да, жизнь; наслаждение, радость, блаженство, или, напротив, досада, грусть, горе попеременно терзают меня, смотря по обстоятельствам. Сегодня мне показалось, что я видел нечто большее, но могу ли я при подобных условиях доверять своим впечатлениям? Один раз она сама заговорила со мною по-русски; по моей просьбе она своими пальцами взяла у меня цепь; она произнесла вполголоса несколько слов, которые я истолковал на свой лад. В общем я был доволен вечером, несмотря на присутствие семьи и пр.

Пятница, 15 июня. — До 4 час. я был дома. Я возобновил уроки английского языка с г. Поллаком. Обедал у Козловского^{107*}, был грустен; по возвращении нашел у себя письмо от Плещеева. По этому поводу был у Тургенева, чтобы поговорить об его отставке и пр. В 9 1/4 ч. приехал к ней. Она

все так же холодна и сдержана; я сидел возле нее, мать на минуту вышла, — она тотчас встала и села за фортепиано. После ужина г-жа Скоробова гадала нам по картам, братья в это время пускали ракеты; она поспешно ушла на балкон смотреть фейерверк; я остался с г-жой В., но признаюсь, ее отсутствие причинило мне боль, во-первых потому, что оно лишило меня удовольствия видеть ее, во-вторых потому, что до некоторой степени доказывает ее равнодушие ко мне. Все же я доволен уже тем, что видел ее. Что делать! Раз я влюблен, нечего думать о том, смешон я или нет: заварил кашу, так надо расхлебывать. По картам мне вышли на завтра разные приключения. Завтра я еду в Царское Село; увидим... Предсказание г-жи Скоробовой или вернее внушение сердца заставили меня все время думать о треной даме. На возвратном пути я нашел мост уже разведенным, бросился в лодку и в 1 1/2 ч. пешком вернулся домой, не встретив никого.

Воскресенье, 17 июня, утром. — Вчера был в Царском Селе, обедал у Карамзиных и провел там вечер. Я был там изрядно глуп; последнее время я не в состоянии две минуты следить за каким бы то ни было рассуждением. Гуляя по саду, я встретил только княгиню Фольмар с многочисленной свитой. Потом зашел на минутку к гр. Ожаровскому, где застал А. Щербатова и В. Апраксина^{108*}. Еще сделал визит графине Комаровской, осыпавшей меня любезностями. Она предлагает мне партию с 100 000 р. годового дохода; это уже третье подобное предложение, которое я отвергаю. Если бы только я был вознагражден за это рукою Е., у которой нет, может быть, и десятой части этого!

Я не видел ее весь вчерашний день. К нравственным страданиям присоединились физические: все время у меня болит нога. — Я вернулся домой в 2 ч.

Вечером. — Весь день сильно болела нога, а за обедом у нее многолюдство мешало моему наслаждению. Я предполагал, кажется, что ее короткость с братьями и др. причиною того, что при них я не испытываю такого очарования в ее обществе. Но это неверно; сегодня я убедился, что при посторонних она еще более сдержана. Я хорошо понимаю, что не могу ревновать ее к ним; притом, я их всех очень люблю; настоящая причина — конечно в этой сдержанности. Сегодня она была холодна как лед. После обеда она поехала верхом кататься. Мать была вне себя. Я уехал, не дождавшись ее; хотелось бы знать, благополучно ли она вернулась. — Завтра они едут в Знаменское, я навещу мать. Я сделал неловкость, показав, что не решаюсь навестить ее (то есть мать) завтра одну. Е. успокоила меня, пожурив немного с некоторой резкостью, ей свойственной. В 7 ч. я вернулся домой и больше не выходил. У меня все еще сильные боли. Фока два часа рассказывал мне о домашних делах; они не очень утешительны.»

Дальше продолжалось так же. Петербургский дневник Кривцова обнимает всего 40 дней (с 22 мая по 2 июня 1817 г.); под конец этого небольшого срока его сердечные дела находились в таком же положении, как и в начале. Вадковская была сдержана и замкнута и не обнаруживала ни малейших признаков влюбленности. Кривцов продолжал бывать ежедневно, млел и мучился, но в общем был рад своему чувству. «Быть может со временем

мои желания увенчаются успехом, но и теперь мое положение не лишено приятности»: этими словами кончается его дневник.

Между тем обещанное ему назначение в Англию все не выходило. Сначала отсутствовал граф Каподистрия, потом, в августе, надолго уехал из Петербурга государь. Его назначение состоялось только 1 января 1818 года²⁶.

Место ему вышло скромное: его назначили не самостоятельным агентом, а всего лишь сверхштатным чиновником при посольстве с жалованьем в 2000 руб. Он покорился необходимости, но не упустил выпросить на путевые издержки и на покрытие долгов, сделанных в ожидании места, годовой оклад жалованья²⁷. В марте он выехал из Петербурга к месту своей новой службы²⁸. Русским послом в Лондоне был тогда Ливен^{109*}, которого он знал по своей английской поездке 1815 года: тогда, проездом через Брайтон, он счел своим долгом явиться к нему и был им любезно принят. Сослуживцем Кривцова по Лондонскому посольству был Д.Н. Блудов^{110*}.

В последние месяцы своей петербургской жизни Кривцов сблизился с Пушкиным, только что, как уже сказано, окончившим лицей. Под 28 июня Кривцов записал в своем дневнике, что накануне провел вечер у Тургеневых, где видел молодого Пушкина «rempli d'esprit et promettant encore plus qu'il ne fait tenir en ce moment»^{29*}. В этой характеристике отразилось, вероятно, не только непосредственное впечатление, которое производила на очевидцев кипучая жизненность Пушкина, но и оценка, уже установившаяся о гениальном юноше в кружке его старших друзей — приятелей Кривцова: Карамзиных, Тургенева, Жуковского. Несмотря на большую разность возраста, образованности и жизненного опыта, только что кончивший курс воспитанник Лицея и камергер-дипломат сошлись коротко, на ты. В течение осени и зимы они часто встречались в знакомых домах. 24 декабря Карамзин писал П.А. Вяземскому: «Добрый Тургенев бывает у нас часто, раза 3—4 в неделю... Второй наш собеседник есть Кривцов, добрый esprit fort**, а третий — поэт Пушкин»³⁰.

Как видно по позднейшим намекам, Кривцов «развращал» своего молодого друга, особенно своим безверием, вернее — поверхностным материализмом. На это указывают и два стихотворения, посвященные ему Пушкиным в эту зиму. Первое датировано декабрем 1817 года и озаглавлено именем греческого философа-атеиста: «К Анаксагору»^{111*}:

Не пугай нас, милый друг,
Гроба близким новосельем, и т.д.

Второе, под заглавием «Другу от друга»^{112*}, помечено 2 марта 1818 года: это — напутствие отъезжающему Кривцову; Пушкин, тогда бо-

* «Полного ума и обещавшего гораздо больше, нежели он мог дать в настоящий момент» (франц.).

** Вольнодумец (франц.).

льной, подарил ему в дорогу изящное карманное издание *La Pucelle** Вольтера³¹, и в приложенном послании писал:

Когда сожмешь ты снова руку,
Которая тебе дарит
На скучный путь и на разлуку
Святую библию Харит?^{113*}
Амур нашел ее в Цитере
В архиве шалости молодой.
По ней молись своей Венере
Благочестивою душой.
Прости, эпикуреец мой!
Останься век, каков ты ныне! и пр.

Кривцов и из Англии поддерживал сношения со своими петербургскими друзьями, в том числе с Пушкиным. В августе 1818 года А.И. Тургенев писал Вяземскому: «Кривцов не перестает развращать Пушкина и из Лондона и прислал ему безбожные стихи из благочестивой Англии»³². И Пушкин, как видно, с удовольствием вспоминал о нем. До нас дошел черновик письма Пушкина к Кривцову от июля или августа 1819 г., где Пушкин, извиняясь за долгое молчание, называл себя — «ленивец, которого ты верно помнишь (и любишь), который о тебе каждый день грустит»³³.

Вадковская, по-видимому, до конца оставалась неприступною. Но через два года она делается женою Кривцова.

IV

И все, что способно образовать из человека
твердого мужа, тут было употреблено в действие.

Гоголь об учителе Тентетникова^{114*}

Первое благоприятное впечатление, произведенное Гофвилем на Сергея Кривцова, не было ошибочным. Институт Фелленберга представлял собою почти идеальную школу, достойную памяти на все времена. Идеальна она была не по замыслу — напротив, ее замысел был ложен, — и не по организации, обусловленной этим неверным замыслом, а по духу, которым сумели одушевить свое дело Фелленберг и его замечательные помощники.

Двадцати трех лет Фелленберг попал в Париж — в самый разгар революции, тотчас после смерти Робеспьера. Ужасы террора, которых он был свидетелем, произвели на него потрясающее впечатление. Когда, после трехлетнего путешествия по Франции и Германии, он вернулся на родину, он представлял собою законченный тип космополита-филантропа во вкусе того времени. Это был прекрасный тип: «друг человечества», «гражданин вселенной», говорили тогда. Фелленберг был к тому же очень умен, серьезно образован и

* «Девственница», в русском переводе «Орлеанская дева». «Орлеанская девственница»

энергичен. Он оказался одним из немногих людей, сумевших в то время сделать самостоятельный вывод из урока, который дала человечеству французская революция. Внимательное, глубоко-сочувственное наблюдение привело его к мысли, что корень общественного зла — не в учреждениях, а в нравственном состоянии общества, — в пагубном влиянии деспотизма на нравы, в эгоизме богатых и невежестве бедных. Отсюда он совершенно последовательно вывел, что ключ к лучшему будущему лежит в воспитании, так как только через воспитание может быть достигнуто нравственное обновление общества. Этому делу он решил посвятить свою жизнь. Он остался республиканцем, но отказался от мысли о материальном уравнивании людей. Цель его была не та, чтобы слить высший и низший классы; нет: он хотел взять их порознь и воспитывать так, чтобы сделать из простолюдинов — культурных работников, из аристократов — мудрых, просвещенных законодателей и гуманных руководителей культуры; он хотел богатых сделать друзьями бедных, а бедных — достойными этой дружбы.

Этот ложный замысел был со строгой последовательностью проведен в организации института, основанного Фелленбергом. Институт состоял из двух основных учебных заведений: школы для бедных, и пансиона для богатых. И там, и здесь главной целью обучения было *воспитание*, то есть все усилия направлялись к тому, чтобы усвоение определенных знаний и навыков содействовало умственному и нравственному формированию личности. Для достижения этой воспитательной цели Фелленберг придумал в высшей степени оригинальный способ: бедных он решил формировать путем соответственного выбора *предмета* обучения, богатых — путем соответственной постановки *методов* обучения предметам, искони преподаваемым в школах. Именно, в школе для бедных все обучение должно было сосредоточиваться вокруг земледельческого труда, как ядра, в пансионе для богатых все традиционные предметы (впрочем, с сильным преобладанием естественных наук) должны были преподаваться не догматически и словесно, а так, чтобы способствовать выработке наблюдательности, самостоятельного мышления и выдержки. Обе эти школы функционировали раздельно и учащиеся той и другой не встречались. Но они могли сближаться по окончании курса — в «Институте теоретического и практического земледелия», куда переходили окончившие с успехом школу для бедных, и куда могли также вступать богатые по окончании пансиона. Земледелию Фелленберг придавал исключительное значение, не только как главному занятию народных масс, но и как наилучшему воспитательному средству, и земледелие он положил в основание своей педагогической системы. Кроме перечисленных трех школ, его институт включил в себя: образцовую ферму, опытную ферму, мастерскую для постройки земледельческих орудий, мастерскую для усовершенствования механических способов земледелия, и ремесленную школу, где все воспитанники школы для бедных, а также желающие из благородного пансиона обучались слесарному, столярному, плотничьему, кузнечному, сапожному, токарному и другим ремеслам.

Я не буду рассказывать, как велось дело в школе для бедных, под руководством гениального педагога — Верли. Более совершенной сельской школы вероятно никогда не существовало; эта босоногая Vehrli-Schule могла бы служить идеальным образцом, если бы можно было рассчитывать, что когда-нибудь найдутся в нужном количестве люди, так подвижно преданные делу и так необыкновенно одаренные умом, добротой и педагогическим талантом, как Верли. Но я должен подробнее рассказать о пансионе для богатых, куда вступили наши Кривцовы.

Пансион помещался в особом здании, по соседству с домом Фелленберга. Хозяйством заведовала экономка; в пансионе неотлучно жил молодой профессор, надзиравший за пансионерами день и ночь, участвовавший и во всех их играх, как ровесник. Во времена Кривцовых, мальчиков — от 8 до 16 лет — было около сорока, учителей от 25 до 30; на каждый класс приходилось не больше 10—15 учеников. Обучение было поставлено преимущественно по системе Песталоцци. Обучали языкам греческому, латинскому, французскому и немецкому (последний был, разумеется, и обиходным языком и языком преподавания), далее истории, и особенно основательно — физике, химии, механике и математике до высших ее частей включительно. Очень большое внимание обращалось на искусства и физические упражнения; мальчиков обучали рисованию с гипса и с натуры, пению и инструментальной музыке, гимнастике, фехтованию, стрельбе, верховой езде, для чего существовал манеж с достаточным количеством лошадей. Обедали воспитанники в доме Фелленберга, ужинали у себя, но в его присутствии; два его сына были в числе учеников. Все внешние средства поощрения и обуздания были изгнаны из педагогической практики: все было основано на нравственном влиянии профессоров и самоуважении воспитанников.

Внутренняя организация пансиона представляла нечто единственное в своем роде по своеобразности и смелости замысла.

В одно время с Кривцовыми учились в Фелленберговом пансионе для богатых два сына знаменитого Роберта Оуэна¹¹⁵, Роберт Дейль Оуэн и его младший брат; они вступили в пансион осенью 1818 года, шестнадцати и пятнадцати лет. Много лет спустя Р.Д. Оуэн написал свои мемуары (*Threading my way*, London, 1874), и в них подробно, с самой нежной любовью, с трогательной благодарностью, рассказал о своей пансионской жизни и о внутреннем быте пансиона. Я постараюсь вкратце передать существенную часть его рассказа.

Воспитанники пансиона составляли Verein, общину, самоуправляющуюся на основании «конституции», которая была выработана лет за пять или шесть до вступления Оуэнов выборной комиссией из среды учащихся, принята общим собранием и утверждена Фелленбергом. Эта конституция подлежала изменениям, при чем Фелленберг имел право veto. Она охватывала все управление и всю дисциплину пансиона; ни Фелленберг, ни учащий персонал не издавали никаких правил или распоряжений и вообще не осуществляли никакой авторитарной власти за пределами своих классов. Как

внутренний распорядок жизни, должностные обязанности выборных, ответственность за проступки и пр., так и домашний быт, например час отхода ко сну, запрещение курить, запрещение уходить из института после известного часа и т.п., и нравственные обязанности в отношении порядка и приличного поведения, — регулировались конституцией. Нарушение этих строгих, но добровольно принятых законов являлось проступком против Verein'a. Без сомнения, Фелленберг неприметно следил за всем, что делалось в пансионе, но он никогда не вмешивался открыто и властно в самоуправление школьной общины. Как уже сказано, ни поощрений, ни внешних наказаний со стороны учащего персонала не существовало. Соревнование никогда не подстрекалось искусственно; не было ни наград, ни обычных школьных отличий, в роде звания первого ученика, ни публичных экзаменов, ни торжественных актов. Наградой или наказанием служили только — ласка или мягкий выговор старших, и в особенности суд общего мнения товарищей. В этом отношении важную роль играли ежегодные выборы должностных лиц Verein'a. Результаты выборов являлись как бы моральным термометром, на котором наглядно изображалась скала общественной оценки, здесь недвусмысленно устанавливалось, кто повысился и кто понизился во мнении товарищей, потому что никто не сомневался, что общественное мнение действует с безусловной справедливостью. Община делилась на шесть округов, Kreise, и каждый округ выбирал из своей среды «окружного начальника», Kreisrath: это была важнейшая из должностей, так как Kreisrath'-ам была подведомственна вся общественная жизнь общины и все поведение каждого члена округа. Kreis собирался еженедельно, летом обыкновенно в ближайшем лесу. Начальники округов составляли нечто в роде верховного совета; у них бывали свои собрания, на которых они, между прочим, постановляли о предании суду правонарушителей.

Судебный трибунал, состоявший из трех судей, разумеется также выборных, заседал в главном зале института со всеми необходимыми формальностями. Его решения были окончательными. Он имел право налагать следующие наказания: выговор, штраф, поступавший в кассу для бедных (на помощь недостаточным крестьянам окрестных деревень), лишение избирательного голоса, лишение права быть избранным в общественную должность, наконец смещение с должности. Последняя кара при Оуэне, за три года, ни разу не была применена; да и вообще, говорит он, суд функционировал редко, и за все время при нем — ни разу по сколько-нибудь серьезному делу.

Эта свободная конституция воспитывала в учениках дух общественности и свободы. Они чувствовали себя не подвластными, а гражданами своего института; каждый охотно подчинялся закону, который являлся волею целого, и считал себя в праве не подчиняться ничему другому. Так детям из аристократических фамилий прививался республиканский дух и пробуждалась в них ревность к общему благу.

Нет сомнения, это был смелый и рискованный опыт. Дело в том, что состав учащихся был крайне разнороден. К 1817—18 годам институт Фел-

ленберга приобрел уже европейскую славу, — ученики стекались отовсюду. Здесь были юноши из десяти или более стран — швейцарцы, немцы, французы, голландцы, итальянцы, греки, англичане, русские, — всевозможных общественных положений, начиная от принцев, множество графов и князей, но и дети более скромных семейств, — одни изнеженные в роскоши, другие, присланные потому, что родители не могли с ними справиться дома, и все это — уже мальчики на возрасте, частью долго просидевшие в школе и научившиеся там смотреть на учителей, как на своих естественных врагов, привыкшие к наказаниям и наградам. И все же, по единогласному свидетельству современников, опыт увенчался блестящим успехом. Фелленберг строго придерживался оригинального правила — не принимать в пансион нового ученика, пока ученик, вступивший последним, не слился с общей массой, не освоился с бытом, чтобы можно было более не опасаться его влияния на товарищей. Среди мальчиков царило полное равенство. Оуэн рассказывает, что он долго не знал, кто из его товарищей — князь или граф; он знал их больше по кличкам. Надо заметить, что обучение в пансионе обходилось дорого; расход каждого мальчика простирался до двух и более тысяч рублей в год на нынешние деньги. Мы видели, что двоим Кривцовым имп. Александр положил по 5000 франков в год.

Огромным преимуществом Гофвильского пансионата было его географическое положение — на лоне природы, среди Швейцарских гор, и, разумеется, близость к природе была широко использована в педагогических целях. Все, или, может быть, только желающие из учеников, имели свои небольшие огороды; а главное, много времени отдавалось свободным прогулкам. По воскресеньям, после богослужения утром и, очевидно, раннего обеда, мальчики по два, по три, с толстыми палками в руках, отправлялись в далекие экскурсии вглубь страны, лазали по горам и пр. Старшие обыкновенно раз в неделю предпринимали верхом далекие прогулки вместе с самим Фелленбергом, и Оуэн вспоминает дружеские наставления, какие ему случалось получать от Фелленберга во время этих веселых поездок, как например, — по возможности скупое употребление превосходную степень в разговоре и в письме. Но наиболее светлым воспоминанием Оуэна из времени его пансионской жизни остались летние вакационные путешествия. Ежегодно, около 1 августа, те ученики старших классов, которые по дальности расстояния не могли уезжать на каникулы домой, — а таких было большинство, — отправлялись в далекое путешествие, длившееся 6 недель. Обыкновенно набиралось 30—35 мальчиков; их сопровождал кто-нибудь их учащего персонала, большею частью — их любимец, профессор Липпе. Маршрут объявлялся заранее: Herr Lippe чертил его мелом на доске, — и когда оказывалось, что он простирается за пределы Альп, на озера Северной Италии, восторг учеников разражался бурными рукоплесканиями. В назначенный день путешественники, в обычном пансионском платье, с мешками за спиной, с длинными альпийскими палками, счастливой толпой выступали в поход. Шли миль 18—20, даже 25 в день. Рано

вставали, и после первого завтрака шли до полудня; тут, отыскав тенистый уголок, завтракали вторично — хлебом и вином, и если удавалось раздобыть — козьим сыром и виноградом. Несколько быстрее ходяков отправлялись вперед заказать ужин и ночлег. Весело рассаживалась молодая банда за ужином, обсуждались события дня, все, что встретилось и что случилось. В небольшой деревенской таверне редко можно было найти нужное число кроватей, и 3/4 компании располагались на ночь обыкновенно в сарае, на сене или соломе. Как крепок был сон, как счастливо пробуждение! — Среди них было много отличных голосов; часто после полдника в тени, или в торжественную минуту, например, перевалив через горный хребет, когда с высоты открывался волшебный вид вдаль, на долины, по воле певцов или по требованию товарищей затягивалась песня — национальная песня той или другой страны, иногда дуэты и трио по взятым с собою нотам. Так шли все время, уставали до изнеможения, натирали ноги до пузырей, но никто не заикался о найме лошадей, потому что никто не хотел выказать себя перед товарищами бабой.

Таков был этот замечательный институт — сочетание неверного политического принципа, глубоко-гуманной мысли и удивительного педагогического такта. Каковы были социальные результаты такого воспитания, этого разумеется нельзя учесть, но педагогические несомненно были блестящи. Оуэн говорит, что Vehrli-Schule сделалась рассадником учителей для ремесленных и земледельческих школ не только в Швейцарии, но и других стран; на них был спрос по всей Европе. Одного из них он встретил много лет спустя заведующим, по приглашению правительства, промышленной школой в Голландии. До нас дошло немало отзывов о Гофвильском заведении, оставленных людьми, лично побывавшими там; в 20-х и 30-х годах ни один образованный путешественник не проезжал Швейцарии без того, чтобы не посетить прославленную школу. Все эти отзывы сливаются в хор восторженных похвал и удивления. Таков подробный отчет о посещении Гофвиля (1827 года), который дал А.И. Тургенев в письме к брату Николаю^{34 116*}; таков и отзыв одного просвещенного русского помещика Ф.П.Л.^{117*}, издавшего в 1845 году анонимно книгу под заглавием «Заметки за границу». Он пишет: «О тамошнем земледелии и всех подробностях процесса этой химии довольно сказать, что богатые хлебопашцы, посевшие в наблюдениях и испытаниях, приходят туда с тем, нет ли чему и им поучиться», — и кто заглянет, например, в «Историческое обозрение действий и трудов Имп. Московского общества сельских хозяев» С. Маслова, найдет там сведения о многих поездках русских помещиков и агрономов в Гофвиль. Тот же Ф.П.Л. пишет далее: «Две крайности, между которыми утвердилась пропасть велика — богатство и бедность, — в Гофвиле сближаются и сводят одна с другою короткое знакомство, дружбу на всю жизнь: должны здесь первая увидеть и восчувствовать все нужды, весь труд, все скорби последней, а вместе узнать и всю сладость практического участия в работе и горе; последняя — убедиться в необходимости пособия, облегчения, вразумления, руководства от первой, и обе, выходя из Гофвиля

с такими чувствами, распространять на земле царство мира, любви и благоденствия. Прекрасная, высокая и человеколюбивая мысль»³⁵. Приведу еще один отзыв очевидца, более близкий к тому времени, когда в Гофвиле учились Кривцовы: это неизданное письмо Григория Александровича Римского-Корсакова^{118*} к матери от 23 августа (4 сентября) 1824 года. «Имеv из Парижа письмо к Фелленбергу и взяв с собой Молостова^{119*}, мы отправились в Гофвиль, где его заведение; это почти за 3 часа ходьбы (то есть от Берна). Пришед, вручили письмо, и явился какой-то мусье, чтоб все выказать. Начали с хлебопашных орудий, в коих я мало толку знаю, только скажите Раллю^{120*}, что тут находится мельница, которая в одно и то же время сеет пшеницу и люцерну. Я было хотел купить подробное описание всей фермы, но как мне сказали, что пять томов, то я и отказался. Потом (пошли) по полям, кои большею частью обрабатываются 60 бедными мальчиками, кои учатся, содержатся даром и даже иные из них, в коих замечают дарования, переходят в пансион, в коем воспитываются за деньги. Бедная школа чрезмерно похвальное и добродетельное дело; каждый имеет небольшой садик, коего производ покупается Фелленбергом, и из этих денег составляется сумма. Ни под каким видом ни один не может отлучиться, и они не знают, что делается в соседственных деревнях; к взрослым ближних селений³⁶ ходят учиться мальчики рисовать, читать, писать и часть математике, нужной для землемерия, священное писание и библия их частое чтение; наказаний никакого рода нет, все стараются уверить мальчика в пользе того, чему его учат, стараются с малолетства им внушить совесть, по которой они бы могли себя вести в свете. Emulation* или поощрение совершенно уничтожено, как не ведущее к счастью, а к разорению людей, ибо делает желание перешеголять другого: оно приращение самолюбия, а оное не нужно поджигать — оно все-таки останется. Корм очень хорош, но без мяса, и во время обеда пьют молоко; они должны жить тысячу лет. Гимнастические занятия, коими узнают, не трудной ли они заняты работой, — и правда, как слишком тяжело, то не захочется после лазить, прыгать, бороться, перетягиваться. Пансион был в походе по Альпийским горам, ибо время вакаций. Во всем доме чистота удивительная. В одной комнате две церкви; когда католики молятся, то открывается шкаф, в коем находится престол^{121*}, — как являются прочие, то шкаф запирается. В комнатах, в коих спят ученики, также находится за ширмами постель Фелленберга. Виды из дому хороши, но немного лесисты. Пришел нас человек звать к Mr. Villevielle, — приятель и помощник Фелленберга, старый и любезный француз, который нам, русским, стал говорить обо всех тех, кои у него воспитывались; обстоятельно рассказывал сокрушение молодого Шувалова об смерти Софьи Нарышкиной^{122*}; эти все молодые люди с ним в переписке. Извинялся от Фелленберга, что он теперь занят, но что он сам придет нас просить к себе. Явился и он; вообразите самое почтеннейшее, которое только могла произвести природа (лицо), свежая наружность, совсем не

* Соревнование (франц.).

показывающая его лета, хотя ему нет 50, умный, проницательный и к тому добрый взгляд. Какая непринужденная откровенность и простодушие, тихий, но привлекательный голос, немного увесистый, но страх занимателен. Мне так понравилось его лицо, что я его учил наизусть, чтобы припоминать при каждой об нем мысли. Рассказывал свои правила насчет воспитания; я бы желал вам их сообщить так, как он их выводил разными доказательствами, и он вас так же бы уверил, как и меня... В двух словах прежде сказал, что — совесть и уничтожение поощрения; с тех пор как существует заведение, он только лишился одного ученика, которого никак нельзя было исправить: он дрался, несколько раз давал слово, что в последний раз, но ни одного раза не сдержал. Мне рассказывали в Берне, что все те, кои у него воспитывались, — нравственные и препорядочные люди. Мы его оставили после нескольких часов... К обеду мы явились в Берн, и я завел об нем разговор, и хотя многие не согласны с его правилами, но все отдают справедливость его чистым и добродетельным намерениям»³⁷.

Письма, писанные молодыми Кривцовыми к матери за время их пребывания в Гофвиле, дышат таким ясным, жизнерадостным чувством, такой рабочей бодростью, которым могли бы позавидовать нынешние гимназисты и их родители. Мальчики, по-видимому, с первых же дней почувствовали себя здесь, как рыба в воде, и это несмотря на то, что им с самого же начала пришлось разлучиться. Уже чрез два месяца по приезде они пишут, что живут в разных деревнях: 16-тилетний Сергей был помещен в агрономический институт, находившийся, по-видимому, в Buchsee; «я теперь, — пишет он в июле 1818 года, — теоретический хлебопашец», и просит прислать ему статистику нынешнего урожая, то есть умоления разных хлебов и пр., для сравнения с местными данными. Младший, Павел, вступил в пансион для богатых. Правда, они были здесь не совсем одиноки; они уже застали в Гофвиле несколько русских мальчиков — Фонтонна, двоих князей Суворовых, внуков полководца¹²³, и других; год спустя графиня Шувалова¹²⁴, уезжая в Париж, чтобы принять католичество, оставила в Гофвиле трех своих сыновей. Вместе с Кривцовыми, как мы видели, приехал причт и была привезена ризница для православной церкви; церковь была освящена 25 января 1818 г., «где была, — пишет Павел Кривцов, — «Ея Высочество и княгиня Воронцова, и я был также и все русские, которые здесь есть, и г. Фелленберг, и очень удивлялся, что наши певчие так хорошо без органа поют». Священник должен был также обучать русских воспитанников русскому языку, но из этого ничего не вышло; три года спустя Павел Кривцов пишет, что, хотя русские уроки и значатся в программе, «но священник, который их нам давать должен, так ленив, что никогда не ходит, хотя только два раза в неделю и всего только полчаса ходьбы, и ему здесь их так хорошо сделали, как нельзя лучше, и он этим не доволен. Вот скоро год, подумайте, что он у нас не был, и одно упражнение, которое я имею в русском, это к вам писать; но кроме того я занимаюсь довольно часто сам для себя и с другими русскими. Мы священнику напоминали, но он ничего не хочет слышать и все говорит — это мое дело, или — мы об этом в другой раз поговорим». И, действительно, мальчики сами помогали

себе, — и это тоже свидетельствует о прекрасном рабочем настроении, которое царило в пансионе: Павел Кривцов вместе со старшим Суворовым, Александром, читает русские книги и Библию, а на пансионском празднике оба декламируют русские стихи; тот же Кривцов дает уроки русского языка маленьким русским, между прочим, младшему Суворову, Константину, «ибо, право, жалко смотреть на ребенка 11 лет, который своего языка совсем не знает». Самому учителю было в это время 15.

Какие курсы проходил Сергей Кривцов, этого нельзя установить, за полным отсутствием таких сведений в его письмах. Зато Павел, учившийся, как сказано, в пансионе, часто писал матери о своих занятиях, так что мы можем составить себе довольно полное представление о пансионском курсе. На второй год обучения 13-летний П. Кривцов учился латинскому, греческому, французскому и немецкому языкам, математике, натуральной истории, греческой и римской истории, фехтованию, рисованию, игре на фортепиано и верховой езде. Сюда надо присоединить еще ручные работы; уже чрез два месяца по вступлении, весною 1818 года, он пишет, что у него с старшим Суворовым и с одним маленьким итальянцем есть «сад», который они должны обрабатывать, и кроме того, он учится столярному ремеслу и делает себе книжный шкаф, который уже почти готов. С каждым годом курс расширялся и в старших классах требовал от учеников такого напряжения сил, которое следует признать даже чрезмерным. Осенью 1820-го и в мае 1821 г. П. Кривцов сообщал матери распределение своих уроков. Вставать приходилось в 4—4 1/2 ч. утра; до 6 1/2 ученики занимались сами, после чего завтракали; в 7 начинались уроки, продолжавшиеся, обыкновенно с часовым перерывом, до 12 час. В 12 садились за стол младшие, в 1 час обедали старшие. После обеда полчаса бегали, играли; в 2 опять начинались уроки — до 5; тут закусывали, и в 6 снова шли в классы, до 9 час., кроме среды и субботы, когда уроки кончались рано. В 7 ужин, и кто свободен, тот играет или занимается до 10; в 10 обязательно все должны лежать в постелях. Таким образом, обычный пансионский день заключал в себе восемь «классов», в число которых входили, впрочем, и такие, как танцы, фехтование, гимнастика и пение (танцы не менее четырех раз в неделю). С осени 1820 года П. Кривцов слушает курс земледелия, читаемый в пансионе самим Фелленбергом, с осени 1821-го — курс химии. При всех этих занятиях она находил еще время читать русские книги, обучать русскому языку маленьких русских и учиться, по собственному желанию, играть на валторне — для чего предварительно был осмотрен тремя докторами в отношении крепости груди. «У нас каждый месяц концерты, и я буду уже там скоро играть». И удивительно, — этот чрезмерный труд не только не тяготил мальчика, но еще развивал в нем самостоятельную охоту к труду. Он хочет учиться русскому языку и сетует на ленивого попа; отвечая на упрек сестры за дурную французскую орфографию, он пишет, что его самого огорчает, но что по зрелом размышлении он решил теперь заниматься более необходимым, то есть математикой, историей и пр., поэтому на все не хватает времени, а во французском он может усовершенствоваться и по выходе из школы.

Я говорил уже, что Кривцовы застали в Гофвиле несколько русских, в том числе двоих Суворовых, сыновей князя А.А. Суворова-Рымнического^{126*}, утонувшего в 1811 году в той самой речке Рымнике, на которой его отец, знаменитый фельдмаршал, одержал свою знаменитую победу. Княгиня Елена Александровна Суворова, славившаяся красотой и умом, тогда молодая вдова, часто и подолгу жила в Берне, чтобы быть ближе к двум своим мальчикам, учившимся у Фелленберга: вероятно, при ней находились и обе ее дочери, тогда еще совсем молоденькие, — Мария Аркадьевна, вышедшая потом замуж за кн. М.М. Голицына^{127*}, друга Козлова^{128*} и Пушкина, и Варвара, позднее в замужестве Башмакова, тоже по Одессе знакомая Пушкина. Кривцовы, разумеется, быстро сдружились с маленькими Суворовыми, из которых старший учился вместе с Павлом Кривцовым в пансионе, младший — в подготовительной школе Фелленберга, в Димерсвиле; туда и ходил к нему каждое воскресенье П. Кривцов. Летом 1818 г. княгиня Суворова некоторое время прожила в Берне; 22 июля этого года Сергей Кривцов пишет матери: «С тех пор, как я к вам последний раз писал, была здесь кн. Суворова, которая приезжала сюда навестить сыновей своих в Гофвиле. Брат Николай меня к ней представил; она приняла меня очень ласково и звала к себе в Берн; я у нее в течение двух недель, которые она здесь провела, был раз пять; я был ее *cavalier servant**, показывал ей город и гулянья, хотя и сам не слишком хорошо знаю оный». С тех пор кн. Суворова приезжала в Берн каждое лето, и в каждый ее приезд Кривцовы проводили у нее обыкновенно все воскресенья, часто с субботы до понедельника. Нет сомнения, что Н.И. Кривцов, ее хороший знакомый, просил ее приютить на чужбине его братьев. В июле 1819 г. Павел пишет: «Вы меня спрашиваете, милая маменька, как я мое рождение и именины провел, то скажу, что очень весело. На мои именины звала меня к себе обежать княгиня Суворова, и я к ней приехал с ее сыном Александром. Приехавши, мы играли в *jeu de patience***», только не картами, а вы уже, я думаю, знаете, есть во всех формах разрезанные фигуры, и эти (фигуры) должно было складывать. Это нас занимало до 5 часов; тут мы обедали. Княгиня Суворова подарила мне для моих именин очень хороший *portefeuille*. После обеда поехали мы все на дачу Метле, которая принадлежит одному немецкому богачу, графу Магнису. Вид был чудесный, и мы смотрели прекрасное захождение солнца, а после видели и комету. Мы пили чай, а после поехали опять в Берн, где я и ночевал».

Навещала своих сыновей в Гофвиле и графиня Шувалова, но она не нравилась Кривцовым.

* Паж (франц.).

** В игру «пасьянс» (франц.)

Вскоре после Кривцовых прибыли в Швейцарию те четыре студента Главного педагогического института, которые, как упомянуто выше, были командированы в 1816 году в Англию для изучения Ланкастеровой методы взаимного обучения. Осмотрев английские школы, они в 1818 году чрез Париж приехали в Швейцарию, чтобы ознакомиться с учебными заведениями Песталоцци и Феленберга. Это были известные позднее в Петербурге педагоги Буссе^{129*}, Ободовский^{130*}, Свенске^{131*} и Тимаев^{132*}. Институт Песталоцци находился в Ивердоне, неподалеку от Гофвиля. Возможно, что они некоторое время жили в самом Гофвиле; как бы то ни было, они тесно сдружились с гофвильскими русскими, особенно со старшими, как Сергей Кривцов. Между гофвильскими бумагами Кривцовых сохранились и письма из Ивердона в Гофвиль; они так хорошо рисуют физиономию этого юношеского кружка, так непосредственно знакомят с его настроениями и интересами, что стоит привести хоть одно из них.

Пишет Тимаев Сергею Кривцову из Ивердона 23 октября 1818 года. «Мы здоровы все, приятель, и все тебя любим. Песталоцци сделали новый фрак, штаны, башмаки, шляпу и т.д. Он теперь молодец³⁸. Сегодня мы получили речь, говоренную Уваровым по случаю введения в Педагогический институт восточной литературы. Я читал в газетах, что Наполеона хотят запрягать в Казань! Мы ожидаем чего-нибудь нового со дня на день от правительства. Приметь, что мы имеем пять учителей: 1-й арифметики, 2-й пения, 3-й черчения, 4-й гитары и 5-й фортепиано. Скажи, пожалуй, что Губер мне не пишет ответа? Когда будешь в Бренгардене, поклонись священнику и спроси, есть ли на нотах: *Царю небесный*, и не знает ли он еще другой подобной молитвы? Мы хотим в своей школе, чтобы дети пели молитву при начале и конце класса.

« Третьего дня был здесь Пинкертон, один петербургский англичанин, и сказывал, что Библию переводят на русский язык и скоро будет выпечатана. Также: Ланкастеровы школы основаны, и дом для школ — отменный; может быть ты знаешь, Дом иезуитов. 120 библейских обществ в России, Библия выпечатана на 19 языках. Перемены сделаны в министерстве просвещения — Голицын министром светского и духовного просвещения. Свенского отец пишет, что Петербург украшен неимоверно, и что мы возвратясь удивимся красоте. Гамель, говорят, едет в Ахен — мы думаем, не получит ли начальство над нами³⁹.

Я тебе доскажу историю на острове Св. Петра. Там есть одна девочка Розетти, очень милая. Я с нею познакомился, притворился пылающим ею, и в жару объяснений расцеловал. Последний поцелуй прощанья был действительно трогательный. Она разнежилась, и я уже не был холоден... Но это уже давно прошло, и я опять спокоен. Есть, правда, здесь в Ивердоне одна красоточка на примете, да трудно достать. Однажды я встретил ее, бросил значительный взор и остановился, зная женское любопытство. Она, сделав несколько шагов, оглянулась, и я махнул ей платком. Сие случилось за четыре недели, с тех пор я ее не видал и *почти* забыл.

«Вот несколько строк твоему брату и Суворову. Кривцов и Суворов! Юные друзья, — ваше доброе расположение, ваша привязанность к нам, поверьте, чрезвычайно радостна. Твой брат, Кривцов, и твой друг Суворов выиграли уже нашу любовь. Мы с радостью готовы признаться вам, что с удовольствием вспоминаем добрых молодых русских. Друзья мои! Ваш возраст, ваше сердце, ваше положение обещает нам иметь добрых граждан, добрых чиновников, добрых друзей. Я говорю, что сие тогда может только случиться, когда вы останетесь теми же, какими были и какими знал — ваш любящий *Тимаев*.

«Сергей! Еще несколько слов тебе, — ты видишь у меня охоту писать. Признаюсь, — как примусь мараить, так уже с трудом перестаяю. Взгляни на меня прежде, нежели кончу писать письмо: с гитарой, — с одной стороны пылающий огонь в камине, с другой — палаткой устроенная занавесь постели — передо мною ноты — кучи разбросанных книг — со всех сторон крысы сбегаятся составить танцы под мою музыку. Сцена переменялась, когда я положил гитару и взял трубку, перо, бумагу. Сии обстоятельства сопровождали сие письмо.

«Третьего дня сцена в замке: двор — немецкий тоненький принц — старик Песталоцкий в новом костюме — на всех языках говорящий немец — англичанин с ножницами бродит и ищет случая отрезать Песталоццию длинные волосы — четыре русских пилигрима играют в разных группах с детьми. — Смотри еще: является в пыли гофвильский дипломатик (Липс), чтобы наблюдать, замечать, подслушивать: кто может подумать, что он... глух? Болтливость моя меня завела далеко — извини, Сергей, — и браня, прошу тебя, люби тебе преданного

Тимаева».

Это хмель молодости, но молодости не наших лет, а того времени, когда еще жив был Наполеон, — хмель юного Пушкина и его лицейских друзей, далекий от всякой нравственной тревоги, какая-то странная смесь русской патриархальной лени, международно-филантропического патриотизма и зарождающегося романтизма. Такова была лучшая русская молодежь на заре своего самосознания, в короткий промежуток между грозой Наполеоновских войн и началом подпольного брожения, приведшего к 14 декабря. Сергей Кривцов, будущий декабрист, пишет сестрам в мае 1819 года: «На прошедшей неделе я дал rendez-vous одному русскому, про которых я уже вам часто писал (то есть Тимаеву или другому кому-нибудь из Ивердонских приятелей), на острове Св. Петра... Я там провел два дня. Давно, давно я не был так счастлив. Тут я, как второй Руссо⁴⁰, отдохнул от мирского путешествия, тут, углубясь в самого себя, я думал о вас и вспоминал прошедшее, или с моим другом говорил о России, или читали вместе разные отрывки из Руссо. Вот как мы провели сии два дня, которые к несчастью показались нам за одну секунду. Наконец, при отходе мы вздумали дать прощальную пирушку добрым обитателям сего острова. Я обещался вам говорить все; итак, в числе которых была Роза, прекрасная девочка 17 лет, которой я строил куры. Итак, мы велели подать несколько бутылок вина, и

после некоторых прелюдий, и как уже Бахус стал управлять моими гостями, тут наши старички разговорились о политике. Я завел разговор о русских; они стали хвалить нашу храбрость, говоря, что мы одни устояли против французов; и как, наконец, к общему удивлению мы сказали, что мы русские, все к нам приступили и просили, чтоб мы рассказали им как все было во время французов, как жители жгли свою собственность для блага общего, что мы не пожалели столицы для спасения России, как храбро дрались мужчины, и с каким рачением женщины запасали разные вещи для раненых, и тому подобное. Все пили за здоровье России, пели разные сельские песни. Вот чем кончился наш бал. Судите, как мне это было приятно». — В этих строках живым стоит пред нами типичный русский юноша тех лет, мечтавший над Руссо и полный патриотической гордости.

Эти четыре студента Педагогического института пробыли в командировке до лета 1819 года⁴¹. 24 июня (6 июля) этого года младший Кривцов писал матери: «Это письмо я посылаю вам с четырьмя русскими, которые уже три года из России выехали, а теперь возвращаются в наше любезное отечество. Преученные молодые люди». Из них вышли хорошие люди и делные педагоги. Ободовский, Буссе и Тимаев были потом — в 30-х и 40-х годах — инспекторами классов в женских институтах Петербурга; о Тимееве, инспекторе Смольного института, умершем в 1858 году шестидесяти одного года, Никитенко^{133*} говорит: «мой старый друг, благороднейший из людей, каких я знал»⁴². А Буссе, швейцарский друг Сергея Кривцова, в начале 30-х годов был в Петербурге старшим другом моего Печерина и его друзей.

Конечно, весело было гостить в Берне у княгини Суворовой, еще веселее — ходить по воскресеньям и праздникам к землякам-товарищам в Ивердон, Димерсвиль, Бухзей, но ничто не могло сравниться с счастливейшими днями институтской жизни — с ежегодным летним путешествием в горы и на озера. Дома оставались только самые маленькие; все остальные, кто только не уезжал к родителям, разбивались на группы по возрасту и уходили под начальством воспитателя одни ближе, другие дальше. Уже в первое лето (1818 г.) двенадцатилетний Павел Кривцов с младшей группой совершил путешествие до Трогена, в кантоне Аппенцель. За две недели до выступления он пишет матери в Тимофеевское, что их путешествие займет две или три недели, что они пройдут чрез Гримзель, Фурку и Сен-Готар, оттуда на озеро Четырех кантонов^{134*} чрез Альторф, «который замечателен рождением Вильгельма Телля», оттуда через кантон Швиц — на Констанцское озеро, а оттуда на Рейнский столь знаменитый водопад. В пути он пишет дневник, который потом посылает сестре. 6 августа по новому стилю, в пять часов утра, они выступили из Гофвиля, младшая и старшая группа вместе; на них был их обычный костюм, а обычный костюм гофвильцев зимою и летом состоял из широких суконных панталон, коротенького сюртука с шнурками и без галстука и маленькой фуражки; у каждого за спиною был Habersack, и в руке длинная палка с железным наконечником. Погода была прекрасная, солнце начинало подыматься над горизонтом.

Маленькие провожали их с версту и в лесу простились с ними. Первый переход составил 18 верст — до Мюнзингена, здесь обедали и пили хорошее вино; отдохнув два часа, пошли дальше цветущими полями, мимо живописных деревень и гончарных фабрик; в Туне накупили яблок, груш и вишен, наняли лодку и переехали Тунское озеро, чтобы ночевать в Нейгаузе на другом берегу. В Нейгаузской гостинице ласковая хозяйка встретила их с радостью: она, видно, уже не первый раз дает приют гофвильцам, — она «нас всех ужасно любит». Здесь Павел Кривцов, сидя на галерее, пишет этот дневник в своей записной книжке, между тем как его товарищи катаются на озере. Он тут не один из русских, — тут и Суворов и Сомов. Но вот бьет 8 часов, зовут к ужину, а после ужина тотчас в постель. Отсюда старшая группа уйдет по другому пути. — На другой день пред ними открылись снежные Альпы; ходили к водопаду, любовались им, и тут видели народного учителя, «который здесь один живет, на рожке играет и невинно свою жизнь ведет». Потом переехали на лодке Бриенцское озеро, выслали вперед скороходов занять комнаты в Мейрингенской гостинице, и в 7 часов, под дождем, добрались усталые до Мейрингена. И так каждый день, вставая в 5, ложась на новом месте в 9 часов, заходя по дороге ко всем водопадам, шагая по снегу в августе. На вершине Гримзеля, в гостинице к радостному изумлению обеих сторон, застали старшую группу: они сидели и пели, смотря на прекрасный закат солнца.

И так каждое лето; в следующем году Павел Кривцов посетил со своей группой Lago Maggiore, Борромейские острова, в 1820 году дошел до Комского озера; в 1821-м целью путешествия был Граубюнден. Сохранились его дневные записки и о путешествии 1820 года; шли тем же путем, на Тун и Мейринген, и в Нейгаузе та же заботливая хозяйка приняла их с радостью, как старых знакомых, и так же они на привалах завтракают, *à la fourchette* или вернее *à la main*¹³⁵, ибо не имеют вилок к холодному жаркому, и, ужиная у добрых капуцинов¹³⁵, пьют прекрасное итальянское вино, «так что каждый имел немножко в голове», и на Сен-Готаре ночуют в том доме, где ночевал когда-то Суворов со своими генералами и вел. кн. Константином, причем гофвильский пансионер Суворов спит в той самой постели, в которой его дедушка спал, «и мы целый вечер ни о чем больше не говорили, как о Суворове, о русских и их походах», и встретив на полпути трех своих учителей, уже возвращающихся из путешествия и идущих в Гофвиль, они дают им некоторые «препоручения» к своим маленьким товарищам, оставшимся дома: таки вспомнили о маленьких — обиженных и скучающих.

Счастливая юность и счастливая школа, умевшая давать ей столько радостей, столько здоровых и светлых впечатлений! Кривцовы скучали по родному дому, по матери и сестрам, — особенно младший, Павел, еще почти ребенок по летам. За все время своего обучения в Гофвиле они ни разу не ездили домой, а письма приходили всего раз в месяц и шли пять недель, да и не все доходили (они посылались чрез банкиров — Ценкера или друго-

* Руками (франц.).

го). В мае 1819 года, в годовщину их отъезда из дому, С. Кривцов пишет сестрам, вспоминая расставание: «Ах, как памятны еще мне сии минуты, как еще через два года сердце бьется и слезы текут из глаз моих при первом воспоминании о вас, мои любезные! Скоро ль настанет час соединения? Скоро ль прижму я к сердцу тех, о которых постоянно мечтаю? Зачем рок разлучает тех, которые рождены друг для друга? Если мы пробежим время нашего младенчества, если мы вспомним наши уроки, наши ссоры, мое расставание, как я был должен ехать в Москву, — Боже, предчувствовал ли я тогда, когда скучал и хотел быть дома, что придет время и не в таком расстоянии и не на такое время я с вами расстанусь?» — Он и теперь не предчувствовал, что его, будущего декабриста, ждет впереди еще и третья разлука с милыми, и не на таком расстоянии, как Москва и Гофвиль, и не на год и три года, а на 15 лет Сибири и Кавказа...

Особенно грустно стало младшему Павлу, после отъезда Сергея из Гофвиля. Он сам пишет, что в первые дни его веселила мысль о том, что теперь он сам будет запечатывать и надписывать письма домой, и письма будут приходить на его имя; ему было ведь только 14 лет. Но полтора года спустя он чувствовал уже иначе. «Теперь-то я чувствую всю потерю, которую я сделал, лишившись брата Сергея. С ним я мог вспоминать о прошедшем, думать о будущем и быть счастливым, но теперь я на самого себя оставлен; какая радость или печаль, мне не с кем ее разделить так живо, то есть как было с братом: все попадаются незнакомые лица моему сердцу»; и как ни радостно предстоящее летнее путешествие, он со слезами смотрит на счастливцев, уезжающих на каникулы к родным, и вспоминает счастливые минуты детства, как они с братом, возвращаясь из Москвы, подъезжали к Тимофеевскому, как завидели сначала колокольню, а потом и дом, как прыгали от радости в коляске, и как, приехавши, ходили всюду, и все им казалось новым. «Какая тогда была радость, какая сердцу сладость, как говорит Княжнин!»^{136*}

Но чрез все его Гофвильские письма, за пять с лишним лет, проходит красной нитью чувство любви и благодарности к Гофвильской школе и особенно к самому Фелленбергу. В минуту острой тоски по родным он пишет: «Хотя мне здесь так хорошо, как бы я и дома, но я бы лучше хотел быть в Московском пансионе, *только для того*, что ближе к вам, — а то ни за что Гофвиль не оставляю». Фелленберг с самого начала завоевал его симпатию: «человек предобрый и ласковый, жена его также предобрая женщина», и это впечатление с годами еще окрепло: три года спустя, в 1821 году, он пишет: «Всякий день более и более вижу я попечение г. Фелленберга о нас. С каким неусыпительным старанием он о нас печется, и не только на то время, что мы здесь бываем, но и нашей будущей жизни! С какою любовью и дружбой он с нами обходится, точно как отец с любезными ему детьми». Когда, в 1820 г., мать сообщила ему, что старший брат, Николай, получил от государя большую аренду и пособие, он отвечал, что это его очень радует, что он вообще желает Николаю всякого счастья, *как своему благодетелю*, — «потому что я могу сказать, что он сделал мое счастье, поместив меня в Гофвильский институт».

В наш век томительного знания,
 Корыстных дел,
 Шли три души на испытанья
 В земной предел.
 И им рекла Господня воля:
 «В чужбине той
 Иная каждой будет доля
 И суд иной».

Кар. Павлова^{137*}

Сергей Кривцов пробыл в Гофвиле — вернее в Бухзей, в земледельческом институте, — ровно два года. В январе 1820 года он навсегда оставил Гофвил и, списавшись с братом Николаем, отправился в Париж; Николай из Лондона выпросился в курьеры, чтобы повидаться с ним. Еще в августе предыдущего года Николай Иванович написал графу Каподистрии, что хотел бы поместить Сергея, для завершения образования, в *Ecole Polytechnique*, так как по его личному убеждению, подтверждаемому и наблюдениями г-на Фелленберга, Сергей обладает несомненными способностями к математике и обнаруживает интерес к военным наукам. Каподистрия в октябре отвечал ему из Варшавы, где тогда находился двор, что государь не изъявил своего согласия, но предложил поместить Сергея в соответствующее учебное заведение либо в Англии, либо в России. Делать было нечего; бывши царским стипендиатом в Гофвиле, Сергей должен был теперь подчиняться воле царя. Он выбрал Россию, может быть потому, что Николай, не ладивший с Лондонским послом, сам уже решил оставить Англию. По новому ходатайству Николая Ивановича царь, 2 марта 1820 года, определил принять Сергея в Пажеский корпус и выдал ему на проезд в Россию годовой оклад его содержания⁴³.

В Париже Сергей слушал лекции в университете, посещал театры, осматривал достопримечательности; Николай был с ним неразлучен, ввел его в лучшие дома и всячески развлекал. Наконец, в половине нашего марта Сергей собрался в путь. Он ехал вместе с П.П. Новосильцевым, у которого была своя коляска. Ехал он в Петербург с тем, чтобы определив там свое положение, отправиться в Тимофеевское; Николай Иванович снабдил его рекомендательными письмами к гр. Каподистрии, к Карамзиным и пр. Сам Николай Иванович, проводив брата из Парижа, поехал в Швейцарию навестить Павла. Лето Сергей прожил у матери, а осенью приехал в Петербург и, по-видимому, не вступив в Пажеский корпус, с марта 1821 г. был зачислен юнкером в лейб-гвардии конную артиллерию.

В середине 1820 года приехал в Петербург и Николай Иванович, с тем, чтобы уже не возвращаться в Англию. Он говорил правду Крестину: подчиняться, ладить с начальством было не в его натуре. Он не поладил со своим лондонским начальником Ливеном⁴⁴, и решил уйти. Двухлетнее пребывание в Англии наложило печать на всю его дальнейшую жизнь. Он вер-

нулся убежденным и ревностным англоманом. По словам Чичерина, он, живя в Англии, усердно изучал английские учреждения, в особенности административные, «но особенно он пленился английским бытом, жизнью в замках, которая представлялась ему идеалом частного существования»⁴⁵. Мы увидим дальше, как настойчиво он пытался пересадить английские нравы на русскую почву.

Тотчас по приезде в Петербург он обручился с Екатериной Федоровной Вадковской.

Первым делом Кривцова после обручения было съездить в Варшаву, где находился тогда государь, и подставить руку для принятия монарших щедрот. Он сумел, по-видимому, искусно встряхнуть рог изобилия: милости посыпались на него дождем. 27 августа он подает гр. Каподистрии записку, в которой — очевидно, на основании предшествующего разговора, — изложены его пожелания. Он пишет: в Лондоне я получал 2000 руб., да по званию камергера получаю 1500 р. асс.; обе эти суммы, составляющие в круглой цифре около 12 000 руб. асс., я прошу каким-нибудь способом превратить в постоянный оклад мне, независимо от жалованья, какое будет причитаться мне впредь по фактической службе. Сверх того, имея около 65 000 руб. долгов и нуждаясь в средствах для устройства моих домашних дел, я желал бы получить беспроцентную ссуду в 100 000 руб. с рассрочкою на 10 лет. — Эта записка удивительна по тону: он говорит с уверенностью и независимостью гранда. Он тут же просит и фрейлинского шифра для невесты, и разрешения самому отвезти соответствующий рескрипт в Петербург к государыням. Ему дали все: два дня спустя последовал высочайший указ о назначении ему аренды на 12 лет по 3000 руб. сер., и ссуды в 100 000 руб., правда, с уплатою процентов⁴⁶. Получил он и шифр для невесты, успел выпросить себе кроме того: 1) чин статского советника, 2) дом для житья в Царском Селе, и 3) первое вакантное место губернатора⁴⁷. В начале сентября он вернулся в Петербург, сияя. Карамзин, сообщая Малиновскому^{138*} об этих успехах Кривцова, с добродушной усмешкой замечает: «Кривцов уже вышел из полку либералистов»⁴⁸. Молодой С.И. Тургенев отнесся к делу менее снисходительно: «Рад за Кривцова, — писал он, — только не понимаю, как он может просить милостей полдюжинами»⁴⁹. Свадьба состоялась 12 ноября 1820 года, и Карамзин с женою были посаженными отцом и матерью.

Ближайшие полтора года молодые жили в Петербурге. Здесь, в августе 1821 г., родилась у них дочь, и здесь же, в ноябре этого года, Жуковский написал свою прелестную «песню» «минувших дней очарованье»^{140*}, посвященную Екатерине Федоровне: она напомнила ему ее тетку, давно умершую Анну Ивановну Плещееву, которою когда-то увлекался Жуковский⁵⁰.

По весне 1822 года Кривцовы переехали в Москву, где Николай Иванович нанял подмосковную кн. Юсупова Васильевское, а вторую половину лета и осени провели, кажется, в Орле и Тимофеевском⁵¹.

Кривцов все ждал обещанного губернаторства, не торопясь и выбирая. Ему предлагали не то Крым, не то Олонец⁵² — это ему не подходило. На-

конец, уже в апреле 1823 года, по настоятельному ходатайству Карамзина пред государем, он был назначен губернатором в Тулу.

Павел Кривцов пробыл в Гофвиле, после отъезда Сергея, еще три года. Весною 1822 года он кончил курс пансиона. Земледельческий институт, в котором всегда было мало учеников, с отъездом Сергея Кривцова закрылся; теперь Фелленберг решил опять открыть его: он ждал четырех курляндцев, да и несколько кончивших пансионеров изъявили желание вступить в институт. В числе последних был и Павел Кривцов.

Едва институт открылся, как неожиданное несчастье погрузило весь Гофвиль в траур. 29 мая (10 июня) 1822 года во время стрельбы в цель курляндец Дортензен, только месяц назад приехавший в Гофвиль, по неосторожности попал под пулю, пущенную Павлом Кривцовым и остался мертвым на месте⁵³. В своих письмах к родным Кривцов ни словом не упомянул об этом происшествии. Впоследствии он искупил свой невольный грех: в 1833 году, в Риме, он спас какого-то юношу из хорошей римской семьи, тонувшего в Тибре, и поплатился за свой подвиг горячкою.

Уже пора было подумать о будущем. 11—23 августа 1822 года Павел написал матери пространное письмо, где излагал свои планы, обсужденные им, как он говорит, совместно с Фелленбергом и отчасти последним внушенные. Он пишет, что хотел бы по выходе из Гофвиля, то есть будущим летом, приехать в Тимофеевское, чтобы после шестилетней разлуки пожить месяца три со своими; к ноябрю, то есть к началу семестра, он хотел бы уже быть в Берлине. План его тот, чтобы два или три года слушать лекции в берлинском университете и одновременно заниматься в агрономическом заведении знаменитого Тэра^{141*}, находящемся близи Берлина, а после того вернуться в Россию и посвятить себя усовершенствованию отечественного земледелия. «Я теперь решился с одобрения г-на Фелленберга, и не думаю, чтобы переменял мой план, ибо мое образование с теперешнего получило то направление, которому я себя положил: я не хочу ни в военную, ни в статскую службу, но хочу, обучившись здесь землепашеству, привести у нас в деревне оное в лучшее состояние и тем доказать России, что ежели бы помещики более им занимались, оно бы у нас в гораздо лучшем состоянии было. Но я надеюсь, что со временем оно и поправится, когда господа увидят, что это их же польза; а что меня очень радует, что уже многие сей недостаток заметили и стараются в оном пособить. Здесь было теперь довольно русских, особливо нынешний год, из окрестностей Москвы, которые вояжируют, чтобы осмотреть землепашество в чужих землях и *можное и хорошее* потом завести в России. Я здесь на этих днях познакомился с одним князем Гагариным^{142*}, который был сенатором, но теперь вояжирует, чтобы осмотреть землепашеские заведения и орудия⁵⁴; очень любезный человек, довольно еще молод, очень учен и видит, в чем недостает отечеству. И он уже начал в своих деревнях около Москвы поправлять, сколько может. Итак, милая маменька, я решился сделаться удобрителем российского земледелия; конечно, не самая блистательная карьера, но для отечества самая нужнейшая, и как всякий по своим силам и способ-

ностям должен помогать к его славе, блаженству и просвещению, то уже не смеем спрашивать о наших прихотях или о том, какой род службы нам более нравится, но о том, в каком роде службы мы более всего можем быть полезны. Мы все сыны России, мы все должны ее любить, как мать, и должны все для нее отдать и даже жизнь, когда нужно, тем более должны мы ей жертвовать нашими прихотями». По совету Фелленберга, он хочет заранее подготовить себе нужный персонал; одна из целей его предстоящей поездки в Тимофеевское, пишет он, — отдать несколько мальчиков на выучку слесарному, кузнечному и каретному делу, а также прислать из деревни в Гофвильскую «школу для бедных» двух мальчиков, которые бы обучились там землепашеству и обхождению с машинами, и которые потом сами, может быть, сумели бы вести такую школу в Тимофеевском. В этом же письме он предлагает брату Владимиру, который при матери занимался хозяйством, купить в складчину у Фелленберга несколько усовершенствованных сельскохозяйственных машин. Только одна частность письма странным образом не гармонировала с самоотречением молодого патриота. Объясняя матери, почему он из немецких университетов выбирает берлинский, он приводит два аргумента: во-первых тот, что там лучшие профессора, во-вторых — «что там можно и посещать хорошие общества, что не во всяком университете, но чаще в столице найдешь». Казалось бы, на что нужны хорошие общества будущему «удобрителю российского земледелия»?

И точно, чрез полгода планы Павла Кривцова несколько меняются. 1 января 1823 года он пишет брату Николаю, что по выходе из института в мае он хочет съездить на несколько месяцев домой, затем с осени вступить в берлинский университет на два или на три года, — до сих пор все по-старому, а потом, пишет он, «так как каждый дворянин служить должен, чтобы не быть недорослем», он хотел бы быть причислен к какому-нибудь посольству, потому что этот род службы оставлял бы ему всего более времени для усовершенствования и обдумывания его настоящей цели; а цель его — после нескольких лет службы завести в России институт, подобный Гофвильскому, чтобы распространять просвещение в России. Эти несколько лет ненужной службы были еще более подозрительны, нежели забота о хорошем обществе. Да и патриотические тирады об уплате долга отечеству звучали теперь уже не так решительно.

И Александр Суворов-Рымникский, в это же время кончавший институт, хотел из Гофвиля идти на два года в берлинский университет, с тем, чтобы после того вступить в военную службу.

*

Сергей и Павел Кривцовы были во всем непохожи друг на друга, начиная с наружности. Младший, Павел, уже мальчиком был упитанный, полный, благодущный; почерк у него красивый, закругленный, не по летам правильный. У длинноногого Сергея почерк несуразный, длинные, худые буквы

врозь ползут. Оба были умны, но по-разному. Павел созревал необычайно быстро. Его Гофвильские письма, писанные в возрасте 12—16 лет, поражают зрелостью суждений и отчетливостью слога; четырнадцать лет он цитирует Княжнина и вспоминает швейцарские страницы в «Письмах русского путешественника»; у него ясный взгляд на вещи, он думает о своем будущем, он во всем рассудителен и сдержан. Это раннее развитие было в его время общим явлением: то же самое мы видим в отрочестве Пушкина, Чаадаева и даже таких заурядных людей, как Д.Н. Свербеев^{143*}. Среди поколения, в котором уже были многочисленные задатки будущего распада, эти отроки явились полным и законченным воплощением прошлого — той патриархальной дворянской культуры, которая накоплялась во вторую половину XVIII века и ко времени Александра достигла зенита. Такие моменты чрезвычайно благоприятствуют быстрому созреванию детей. Едва в ребенке пробудилось сознание, он находит вокруг себя все готовым, богатым и прочным: уверенный склад мысли, сочный и покойный быт, удобные, апробированные опытом привычки. Эта насыщенная культура мягко, но властно чрез все поры проникает в существо ребенка и формирует его быстро, без всяких усилий с его стороны. В другие эпохи так не бывает. Тут все делают — однородность состава культуры (то есть отсутствие в ней противоборствующих элементов) и безотчетная уверенность окружающих ребенка людей. Павел Кривцов был именно таким скороспелым плодом уравновешенной культуры. Но он быстро развивался только до тех пор, пока созрел до среднего культурного уровня своей эпохи. Насколько его письма 13-ти, 14-ти лет поражают читателя, настолько в дальнейшем они становятся заурядными и скучными. В восемнадцать лет он вполне сложившийся человек, ни на йоту не выше образованной дворянской толпы того времени; даже Гофвиль оказался бессильным преодолеть косную мощь домашней традиции — этих патриархальных привычек, просвещенно-комфортабельного мировоззрения, обломовской лени. Восемнадцати лет он предстанет перед нами солидным начинающим дипломатом, внимательным в службе, знающим цену и связям с влиятельными лицами, и чинам; он искусно женится, устроит себе приятное, спокойное положение в свете и проживет жизнь вполне прилично, не гоняясь жадно за местами и чинами, русским барином хорошего типа, притом — хорошо образованным благодаря Гофвильской выучке, и знатоком и любителем искусства по врожденной способности. Он с детства любимец матери, и во все дальнейшие годы он непрерывно радуется ее сердцу как своею личностью, так и своим положением.

Совсем не таков был Сергей. По-видимому, в самой его фигуре было что-то нескладное, и во всяком случае — никакой солидности. Врожденные барственные привычки у Сергея совершенно отсутствовали; он был распушеннее, добрее, склонен к беспорядочности, немножко — цыган, немножко — рубаха, и во всяком случае — простой, искренний, нерасчетливый человек, безобидный остряк и верный товарищ. Ему точно на роду было написано быть неудачником; и мать часто бывала им недовольна — он не импонировал ей, да и успехами не мог похвастать. Попав в гвардию и

в хорошее петербургское общество благодаря связям брата Николая, он чувствовал себя здесь не в своей тарелке; так и ждешь увидеть его через несколько лет армейским артиллеристом где-нибудь в глуши, давно опереженным по службе более ловкими товарищами. Но его захватило большое движение, и все вышло по-другому.

Неудачею было уже само его вступление в военную службу. Мы видели, что после Гофвиля приказ Александра I закрыл ему дорогу к высшему образованию. Год спустя, говоря в письме к матери о Павле, он пишет: «...прошу вас напомнить ему, что мой карьер с начала был совершенно испорчен, и что по разным ему известным политическим причинам я не мог окончить курс наук своих в немецком университете, итак от нечего делать я принужден был возвратиться в Россию и сделаться по обыкновению *кап-ралом гвардии*». В этих строках, в подчеркнутых им словах звучит горечь. Служба была ему не по сердцу, но он все-таки мирился с нею. Сначала все шло как будто хорошо. Брат Николай Иванович первое время после женитьбы жил в Петербурге. Очевидно, по его стараниям, Сергея не усадили в полк, а оставили в Петербурге, и служба его была, конечно, очень легка. Он скоро выдержал экзамен и думал, что будет тотчас произведен в офицеры, но тут и начались неудачи. Производство не выходило; он просит отпуска, чтобы навестить родных, — ему делают всякие затруднения; наконец, в декабре 1821 г. ему разрешают отпуск, но вдруг приезжает великий князь и отдает приказ — до производства послать юнкеров в батареи для изучения службы. Так отпуск Кривцова и пропал. Он должен был ехать в свою батарею, стоявшую в Белом, Смоленской губ. Там он провел полгода; в конце мая был объявлен обратный поход в Петербург. Выступили из Белого 1 июня, 6-го были в Ржеве, 13-го в Осташкове, 23-го в Старой Руссе, 2 июля в Новгороде, и 13 июля прибыли в Петербург. С дороги он писал матери, что после путешествий по швейцарским горам этот поход кажется ему игрушкою. Он восхищался красотой видов в Смоленской и Тверской губ., но бедность крестьян тяжело поразила его. «Поверите ли, милая маменька, что здесь мужики целую зиму не видали чистого хлеба, а едят какое-то тесто из овса с мякиною, во многих местах и того уже нет, и несчастные мрут с голоду. Прибавьте к сему, что и новый хлеб весьма плох, а по большей части совсем пропал». В Петербурге опять началось ожидание производства. Главное, мать из деревни все спрашивала — когда же ты наконец будешь офицером? и он, точно виноватый, оправдывается. Она вообще часто упрекает его, подозревает в распутстве и мотовстве, — зачем целый месяц не был у Николая? и т.п. — и он оправдывается с горечью. Он уже год как представлен, и вакансия есть; правда, о себе самом он пишет, что с совершенным хладнокровием ожидает «так называемого счастья быть офицером гвардии». Он вечно сидит без денег, вечно ждет «секурсу» от брата Владимира, заведовавшего финансами семьи; и правда, ему туго присылают деньги, не то, что баловню-Павлу. Вернувшись из Белого в Петербург, живя в казармах, он опять побывал в нескольких бонтонных домах, — но у него нет вкуса к такой жизни: «в прекрасно убранных залах, — пишет он

(август 1822 г.), — я как дикий вздыхал о времени, когда я знал себя за несколько сот верст от Петербурга». Наконец, в ноябре долгожданное производство в прапорщики состоялось; вместе с тем он был переведен во 2-ую легкую батарею, стоявшую за 30 верст от Петербурга, в Пелле. Незадолго перед этим, как увидим ниже, он был принят Вадковским в Тайное общество.

Павел, выйдя из Гофвиля в мае 1823 года, лето провел у матери в Тимофеевском. Уже все было устроено по его желанию. Он хотел слушать лекции в Берлине и вместе с тем служить по дипломатическому ведомству; об этом, как мы видели, он в январе, из Гофвиля, написал брату Николаю Ивановичу; и стараниями Николая Ивановича он уже в марте был определен актуариусом¹⁴⁴ Коллегии иностранных дел с причислением к нашей миссии в Берлине сверх штата и с сохранением прежнего (Гофвильского) содержания⁵⁵. Неудивительно, что ему не сиделось в Тимофеевском; да и семейные его чувства были, как видно, не особенно горячи; он с нетерпением ждал, когда кончится приличный срок сыновней повинности, и не входил душою в семейные дела. В сентябре он пишет брату Николаю, что уже совсем собрался ехать, да за малым дело стало — за деньгами; посылали, посылали, и нигде не нашли, а Владимира, который мог бы достать, дома нет. «Здесь с ним (с Владимиром) большая неладница, и право, не всегда разберешь, кто прав и кто виноват. Ты можешь посудить, как это приятно здесь жить и почти беспрестанно что-нибудь такого рода слышать». «Меня — продолжает он, — слава Богу не удерживают, ибо я сказал, что ты получил из Петербурга письмо, в котором требуют, для чего я не являюсь. Хотя это и ложь, но в сем случае самая простительная, а то бы стали упрашивать, плакать и, Бог знает, еще что делать, как ты сам уже испытал, а тут концы в воду. Только прошу тебя сие подтвердить, чтобы меня поскорее снарядили». От Сергея получено письмо, что он подал прошение об отпуске и надеется скоро приехать; «его видеть я очень бы желал, однако ежели мне только можно будет, то я его не буду дожидаться».

Сергей в начале октября получил 4-месячный отпуск и вероятно поспел в Тимофеевское до отъезда Павла. В ноябре Павел, вырвавшись наконец из семейных объятий и опять на годы расставшись с матерью, явился в Петербург, чтобы представиться начальству и отсюда ехать в Берлин.

Николая Ивановича не было в Петербурге — он уже губернаторствовал в Туле. По совету Северина и других Павел решает остаться в Петербурге на два месяца, чтобы познакомиться с делами Иностранной коллегии, и с благоразумием, редким в его 18 лет, объясняет брату, что эта задержка не причинит ему материального ущерба, так как он и здесь сохраняет свое жалованье, — напротив, будет ему полезна, как в отношении службы, так и потому, что он успеет приобрести знакомства, которые впоследствии могут быть ему полезны. Благодаря письмам брата он был радушно принят в свете — у Карамзиных, Салтыковых и пр., и проводил у них все свободное время; он просит брата о присылке еще других рекомендательных писем. 4 февраля 1824 г. молодой дипломат, снабженный вескими рекомендатель-

ными письмами от петербургских сановников к русскому послу в Берлине, двинулся к месту назначения.

По письму Нессельроде берлинский посол, граф Алопеус^{145*}, разрешил Кривцову посещать лекции в университете, и с началом летнего семестра, то есть после Пасхи, он стал слушать правоведение и политическую экономию, а на дому брал private уроки французского и английского языков. Гофвилльские планы об усовершенствовании земледелия в России как-то сразу вышли из его головы, да и гофвилльский демократизм испарился без остатка. Тотчас по приезде в Берлин, в мае, он обращается к брату Николаю с просьбою об услуге, которая «должна увенчать то, что ты сделал для меня»; именно, пусть Николай попросит государя назначить его, Павла, камергером! «Ибо тогда, — пишет он⁵⁶, — получив доступ ко двору, уже от меня самого будет зависеть сделать мою карьеру. Единственное мое желание — быть когда-нибудь полезным отечеству, но для этого нужно занимать сколько-нибудь видный пост, а последнего можно достигнуть, только будучи известным государю. Находясь я на военной службе, было бы другое дело: там я мог бы почти на глазах монарха выказать мое усердие и мою преданность; но живя вдали, находясь при миссии, я не имею этой возможности», — и так далее на протяжении целой страницы. Не менее характерно другое место этого письма. Графиня Алопеус очень хороша собой, — «но не думай, что я желаю быть вторым Вертером. Так как я принял за правило позволять себе влюбляться только в тех случаях, когда рассудок это одобряет, то мое сердце довольно неуязвимо для чар женской красоты, хотя в то же время меня нельзя упрекнуть и в несправедливости, так как я всегда готов воздать ей должное». — Так аккуратно и рассудительно располагал свою жизнь солидный молодой человек. Он исправен по службе, прилежно занимается дома, два или три вечера в неделю проводит у графини. Он вполне доволен отношением к себе своих начальников; «надеюсь, что граф Алопеус доволен мною; по крайней мере, я ничего не сделал, что могло бы возбудить его неудовольствие». Кривцову не было в это время и девятнадцати лет.

Так мирно, немножко скучно, но корректно, шла его жизнь в Берлине. Летом, когда чрез Берлин проезжает много русских, он не упустил случая сделать несколько знакомств, которые могут позднее пригодиться ему в Петербурге, — о чем не замедлил именно в этих выражениях сообщить матери. Так, он познакомился здесь весною 1826 г. с братьями А.И. и С.И. Тургеневыми, и позаботился услужливостью закрепить эту связь⁵⁷. В одном письме к брату Николаю у него прорывается признание, что Алопеус третирует их, причисленных к миссии, как *писарей*, а глядя на него, стали грубы с ними и другие члены посольства; но он тотчас спохватывается: «только, пожалуйста, не говори об этом никому, потому что я все-таки рассчитываю остаться здесь еще несколько времени». Дело в том, что он ждал повышения — во вторые секретари какого-нибудь посольства. И вот наконец Алопеус посылает представление о нем; он ухитряется добыть копию с этой депеши, и посылает ее брату. Он вне себя от радости; грубость Алопеуса забыта в минуту. «Вот мой аттестат, — пишет он (по-французски) — ...

Он далеко превзошел мои ожидания и укрепил узы почтения и преданности, которые я питал к моему начальнику». Прошло еще несколько месяцев, он со дня на день ждал назначения — «между тем, — пишет он матери, — стараюсь заслужить любовь моих начальников и надеюсь, что они мною довольны, по крайней мере я уверен, что ничего не упущаю и не делаю, что бы могло им быть неприятно». Прослужив уже три года, он все еще числился сверх штата и получал всего 500 руб. Представление Алопеуса (в феврале 1826 г.) о назначении Кривцова во вторые секретари не увенчалось успехом: ему дали только звание переводчика. Наконец, 31 августа 1826 года вожеленное повышение состоялось: он был назначен вторым секретарем в Рим, с жалованьем в 800 руб. сер. Ему назначены были и подъемные, в размере 300 дукатов^{146*}, и по его ходатайству дан отпуск в Россию для свидания с родными⁵⁸.

Что сказал бы Фелленберг, если бы ему довелось читать эти письма? Благотельные влияния Гофвиля рассеялись, как дым; русские нравы восторжествовали над ними, и так легко, так скоро!

VII

Кто слышал о двадцать пятом годе
В крешеном народе?

.....
Не сумели в те поры мы смело
Отстоять их дело,
И сложили Пестель^{147*} да Кондратий^{148*}
Головы за братьев...

Между тем Сергей Иванович тянул свою артиллерийскую лямку и в мае 1824 года, наконец, с Божьею помощью получил подпоручика. С этих пор, надо думать, он жил и служил в Петербурге. В марте приехал в Петербург для переговоров с главарями Северного общества Пестель; здесь, на квартире Свистунова^{149*}, им был принят в члены Южного общества, в числе других, Сергей Кривцов⁵⁹.

Мы ничего не знаем о политических взглядах Кривцова, и Следственная комиссия не уличила его ни в каких революционных замыслах или речах; окончательный приговор ставил ему в вину только принадлежность к Тайному обществу и знание об умысле (Вадковского) на цареубийство. По всей вероятности, этим действительно ограничивалось его участие в деле 14-го декабря. Он был вовлечен в это дело, как столь многие, личными связями. Его ближайшим другом в Петербурге был его земляк, тоже орловец, граф Захар Григорьевич Чернышев^{150*}; другой декабрист, Вадковский, был брат его свояченицы, жены Николая Ивановича; наконец, чрез Чернышева он должен был быть близок с Никитой Муравьевым^{151*}, женатым с 1823 года на сестре Чернышева, а чрез Чернышева и Вадковского^{152*}, которые и между собою были очень дружны⁶⁰, — с их однополчанами-кавалергарда-

ми, как Анненков, Свистунов и др. При таких отношениях он не мог не быть осведомлен о Тайном обществе, а его зачисление в члены доказывает, что, по крайней мере платонически, он сочувствовал целям общества. На допросе Пестель показал, что Кривцов, Анненков^{153*} и др. были представлены ему Матвеем Муравьевым^{154*} «и находились в полном революционном и республиканском духе»⁶¹. По показанию М. Муравьева, принят был Кривцов вместе с другими — в братья^{155*}, «то есть они знали, что нужно переменить настоящий порядок вещей посредством вооружения, и некоторое понятие он (Пестель) им дал о его плане конституции и все, что клонилось к склонению их к республиканским мыслям»⁶².

Взят был Кривцов поздно, очевидно, не по прямым уликам, которых и не было, а на основании показаний ранее арестованных заговорщиков⁶³. 25 октября 1825 года он уехал в трехмесячный отпуск — сначала к матери в Тимофеевское, потом в Воронеж. Там он узнал о мятеже 14 декабря, там присягнул на верность Николаю, и там же, вероятно, был арестован. Напомню, что и Никита Муравьев, и Чернышев были в это время в отпуску, и оба, — в Орловской губ., в имении Чернышевых⁶⁴. Судя по письму матери Кривцова, которое будет дальше приведено, Кривцов выехал из Орловской губ. вместе с Чернышевым; но почему оба не одновременно попали в крепость, этого я не умею объяснить^{156*}. Чернышев был посажен в крепость 27 декабря 1825 года, Кривцов — почти месяц спустя, 21 января 1826 г., одновременно с Ентальцевым^{157*} и др. Содержать его Николай приказал «стро-го, но хорошо»⁶⁵.

Вот что писал Кривцов в собственноручном письменном показании, которое, по принятому в следственной комиссии порядку, было истребовано от него после первого допроса: «В 1823 или, может быть, в конце 1822-го (года) я был принят в тайное общество Вадковским. Я тогда был столь молод, что на сие решился, не полагая в оном важности. Вскоре почувствовал свою вину и в оной душевно раскаялся. Я не имел духа об оном открыть, но всячески старался от общества удалиться. Вот почему желал без очереди быть в Пелле, и во все время с обществом в сношении был столь мало, что даже думал оное прекращенным. По приеме моем я знал членами Свистунова и Депрерадовича^{158*}, а более навверное не упомяну. В артиллерии не знал совершенно никого. Намерение, которое мне было открыто, не заключало в себе ничего противозаконного, а планов к будущему никаких мне не было известно»⁶⁶.

Правды в этом показании немного: мы уже знаем, что Кривцов именно по возвращении из Пеллы, в марте 1824 года, был принят Пестелем в члены Южного общества; это засвидетельствовали на следствии независимо друг от друга сам Пестель и М.И. Муравьев-Апостол. Неверно также, без сомнения, будто Кривцов не имел никаких отношений с членами общества, ничего не узнал о его планах и членами его знал только Депрерадовича и Свистунова. В дальнейших допросах он и сам был принужден кое-что признать, но общий характер его показаний остался тот же. Он упорно повторял, что причину его вступления в тайное общество были молодость и легкомыс-

лие, а может быть также его заграничное воспитание и незнание настоящего положения России; что вступая в общество, имел целью только быть полезным отечеству, тайных же намерений общества не знал; что, принадлежа к Южному обществу, не знал, почему оно так называется, и не знал, существуют ли другие общества; что вскоре раскаялся и стал уклоняться от общества, почему и не был ни в каких совещаниях его. Но он должен был признать, что желал представительного правления: впоследствии, говорил он, узнав Россию, он увидел безрассудность этого желания; признал он также, что знал членами М.И. Муравьева и Пестеля и с последним виделся раз или два, что подозревал о принадлежности к обществу Алек. Муравьева^{159*}, З. Чернышева, Горожанского^{160*}, Арцыбашева^{161*}, одного из двух Вяземских^{162*} и конногвардейца Плещеева^{163*}. Это был явный оговор, по крайней мере в отношении Вяземского и Арцыбашева (потому что об остальных Кривцов в это время уже мог знать, что они тоже привлечены к суду и находятся в крепости). В общем Кривцову удалось довольно правдоподобно разъяснить как улики, выставленные против него в показаниях других подсудимых, так и явные противоречия, которые заключались в его собственных показаниях и на которые Следственная комиссия не преминула указать ему. Но одно обвинение, тягчайшее из всех, ему было нелегко ответить. На первых допросах, спрошенный о том, знал ли он о преступных умыслах некоторых членов тайного общества против жизни государя, он клялся всем, что есть святого, что, будучи особенно благодетельствован покойным императором, он, если бы узнал что-нибудь о намерениях Якушкина^{164*} или Якубовича^{165*}, в ту же минуту все бы открыл. Между тем Свистунов показал, что в марте или апреле 1824 г. Вадковский при Кривцове и других высказал мысль, что можно было бы воспользоваться большим балом во дворце для истребления царской фамилии, и присутствующие на его вопрос об их согласии отвечали, что они готовы. Кривцов, когда ему предъявили показание Свистунова, не решился отрицать факт; но он постарался насколько возможно ослабить значение факта, а главное — опять, в особенно-торжественной форме, изъяснить раскаяние. «Правда, — писал он весною 1824 года, приезжая из Пеллы, я останавливался у Вадковского, куда всякое утро собиралось весьма много молодых людей, большею частью офицеров и юнкеров Кавалергардского полка. Может в шуме разговора Вадковский и сказал что подобное показанию поручика Свистунова^{166*} о намерении покуситься на жизнь императорской фамилии во время бала в белой зале, но по нелепости и несодеянности такого предприятия может я не обратил должного на сие внимания, так как и другое, что могли говорить господина Вадковский и Свистунов, я пропускал сквозь уши. Мне даже смешно казалось, что три или четыре прапорщика без имени, весу и дарования мыслят поколебать столетием основанную империю. Я надеялся (не имея никакого известия об обществе и об отсутствующих членах), что они также одумались, как и я, и что все планы наши ко благу человечества кончились так, как начались, то есть словами. Но видно Всевышнему угодно было обратить в преступление неосторожность моей молодости. Я знаю,

что все мною писанное не может оправдать меня и что я виноват, и может 23-х лет погибну невозвратно, но Бог видит мое сердце. Мне теперь остается переносить с должным всякому христианину терпением святую его волю и с покорностью ожидать решения Всемиловейшего Государя Императора»⁶⁷.

Кривцов несомненно уклонялся от истины, стараясь умалить свою виновность; но, как это часто бывает, фактическая неправда соответствовала психологической правде. Если он теперь, под влиянием страха, так охотно отрекался от солидарности с обществом, то ему можно верить, что и тогда, в разгаре революционных прений, он оставался трезвым между опьяненными. Он не был ни лжецом, ни трусом; но ему легко было отречься, потому что он и раньше никогда не был глубоко захвачен революционным движением. У него был характер мирный, склонный к интимности, ум трезвый и будничный, беззлобно-насмешливый; его влекло к уюту семейственной жизни, к приятному препровождению времени и чтению книг, а вовсе не на трибуну или баррикады; полная противоположность тем идеологически-страстным умам и демагогическим натурам, какими были главари декабрьского движения. Попад в среду революционной молодежи, он как умный и чувствующий человек, не мог не проникнуться сочувствием к их общественным пожеланиям, и оттого дал записать себя в члены общества, но активное боевое настроение конечно было ему чуждо, и потому он оставался трезвым, когда вокруг него строились и обсуждались планы один фантастичнее другого. Таких пассивных декабристов, как он, было тогда много в России, и в среде привлеченных к следствию по делу 14 декабря, и далеко за их кругом.

*

Я ничего не знаю о Вере Ивановне Кривцовой, урожденной Карповой, матери моих героев, кроме того, что она была мать, много любившая своих детей и ими горячо любимая. У нее их было много: четыре сына и четыре дочери, не считая рано умерших. Сохранился ее портрет, лет в 35—40, небольшой, писанный масляными красками: тонкие, очень правильные черты, нежный румянец на щеках; она могла быть очень хороша в молодости. У женщин-матерей в этом возрасте, у некоторых, бывают чудные глаза, еще не плакавшие, но по которым тотчас видно, что им суждено много плакать; такие глаза у нее на портрете. Когда на нее обрушилось несчастье Сергея, ей было около 55 лет; она давно овдовела и жила безвыездно в своем Тимофеевском; две дочери были замужем и сами матерями; Владимир тоже был женат; она жила с двумя остальными дочерьми — Анною, которой шел уже 27-й год и которая не хотела выходить замуж, и самой младшей, Софьей, на выданьи. Родившись около 1770 года, прожив всю жизнь в глуши, Вера Ивановна, разумеется, не блистала образованностью; но не обидела ее природа умом и, главное, щедро, на горе, наделила глубиною чувства, хотя и ограниченного материнством, но в самой этой узости

тем более полного. Откуда бралась у тех людей эта детская доверчивость к Богу, к жизни и людям, эта благодать душевная, не изменявшая им с годами? Кто теперь в 50 лет ясен душою? Опыт ожесточает, учит злой подозрительности, делает рассудок на диво искусным в угадывании чужой корысти и злобы; душа становится мутна, и жизнь, может быть более обширная, отражается в ней неверно и смутно. У Веры Ивановны, как у гоголевской Пульхерии Ивановны, душа и в старости была ясна, и маленький уголок Божьего мира, глядевший в эту душу, смотрел оттуда невозмутимо-прекрасным. Или эта благодать проистекала из их твердой веры в благодать Божию? Но нет, — самая их вера могла быть такою только потому, что так гармоничен был их душевный строй. В наше время, когда человек верит, его вера и глубже, но не такова. Вере Ивановне на старости лет было послано тяжкое горе, а острая скорбь, как и большая радость, — пробный камень для человека: только очень хорошие люди там и здесь сохраняют благообразие облика; надо иметь большой закал, чтобы выдержать напор крайних чувств. Вера Ивановна осталась светла и в самом страдании. До несчастья не Сергей, а Павел был ее пестуном, хотя она и любила смеяться шуткам Сергея; но с той минуты, как его постигла невзгода, она жила единой мыслью о нем. В ее письмах к Сергею — великая скорбь, неудержимые, безутешные слезы, но все та же ясная вера, теперь еще более горячая, и ни одного мятежного или судорожного движения души. Эти письма бесконечно трогательны. Самая прекрасная роза увянет через день, краски картины потускнеют с годами, а эти письма и чрез сотни лет не утратят чудной прелести, которою напоили их любовь и боль материнского сердца.

Сев в крепость 21 января^{167*}, Сергей Иванович в первый раз написал оттуда матери 5 февраля. Как видно, письма легко передавались на волю; он писал затем еще 4, 16, 25 марта и так далее, и все его письма исправно доходили по назначению. Писал он коротко: здоров и очень беспокоюсь, не получаю писем от вас. Два с половиной месяца он не получал никаких известий из дому. Ему не писали, так как не знали, куда писать. Наконец, 27 февраля мать решилась написать ему, адресуя в канцелярию лейб-гвардии Конной артиллерии; письмо дошло до Сергея, но только полтора месяца спустя, 13 апреля, так что мать до июня или июля не знала, получил ли он ее первое письмо. Она продолжала и далее писать по тому же адресу, на авось, а тем временем обратилась к новому царю с просьбою о дозволении ей переписываться с сыном. 2 ноября она получила ответ из Москвы, где тогда находился двор по случаю коронации: начальник царского штаба, Дибич^{168*}, извещал ее от 29 сентября, что государь разрешает ей переписываться с сыном чрез военного министра, незапечатанными письмами. Отныне переписка установилась довольно правильная, хотя и предыдущие письма дошли, кажется, все, правда — с большими опозданиями.

«Два письма от тебя, мой милый друг Сережинька, получила», писала Вера Ивановна в конце марта: «1-ое от 5 февраля, и 2-ое от 4 марта. Увидавши твою милую мне руку, принесла благодарение Господу и несколько облегчила мою горестью убитую душу и сердце. Бог один видит, что я чувст-

вую эти два месяца. Я никак не могу думать, чтобы ты мог попасть в такое преступление, но, может быть, по молодости и по неопытности ты и замешан где-нибудь, то надеюсь на Бога и на милосердного нашего Государя. Он избран милосердным нашим отцом, блаженной памяти императором, и уверена, что он будет такой же нам отец милосердный и защитник невинных и несчастных». Она пишет ему потом, что хотела бы ехать к нему в Петербург, потому что неизвестность ее измучила. Она просит его говеть на предстоящей Страстной неделе и принести чистое покаяние Всемогущему, а если возможно, то в тот же день отслужить молебен Ахтырской Божьей Матери: «этим образом покойный твой отец тебя, моего друга, благословил, так она тебе будет покровительница; а после отслужи панихиду по отцу. Как он теперь счастлив, что его нет на свете! Но да будет воля Его святая, и прости мой ропот. Молю Бога дать душе моей утешение для спасительного Его воскресения — получить мне приятное от тебя, моего друга, письмо».

В половине апреля она едет в Киев, а оттуда в Ахтырку, молиться о нем, ее сокровище, и как он поехал вместе с Захаром Григорьевичем (Чернышевым), то она их обоих всегда неразлучно на молитве поминает.

А Сергей Иванович, сидя в крепости, неожиданно открыл в себе новый талант — стихотворства, и от скуки с радостью придался этому невинному занятию. Развлекались стихами, по-видимому, и некоторые из его товарищей; по крайней мере в груде листков, пересланных им из крепости родным, есть стихотворения, писанные чужими почерками и разными чернилами, но несомненно возникшие в крепости. Эти стихи, как стихи, разумеется, очень плохи, и сами авторы несколько не заблуждались на этот счет. Кривцов однажды в шутку поясняет:

Мне все равно — лишь бы писать:
Не мне стихи читать;

а свое послание к Чернышеву он кончал такими словами:

Сии стихи тебе я посвящаю.
Советую почаще их читать:
От них ты верно будешь спать, —
Другого счастья здесь не знаю.

Но чем неискуснее эти стихи, тем наивнее и проще выразилась в них психика таких людей. Они писаны не исключительными, а средними людьми Александровского века, и писаны в таких условиях, когда человек невольно углубляется в себя. Если нам важно восстановить пред собою живую действительность эпохи, то ничего не может быть ценнее этих искренних личных признаний, отмеченных полной заурядностью типа и вместе особенной углубленностью содержания. Эти вирши чистосердечно рассказывают о том, как чувствовал и о чем думал в минуты своей наибольшей ду-

ховности средний образованный русский человек Александровского времени, сверстник Пестеля, Пушкина и Чацкого.

«День заключенья», — длинное, в 30 строф, стихотворение Кривцова, написанное, видимо, весной 1826 г. Вся природа оживилась, все проснулось к наслажденью, только мы, друзья, на муку дождались новых дней. Боль в костях от жесткого ложа пробуждает нас от сна; встаешь с тоскою в сердце; в коридоре уже слышно движение; вот фейерверкер¹⁶⁹ пробежал с ключами, оставляя у каждой двери ключ каморки; раздался унылый звук — отпирают двери. Либералы встают, умываются и ждут чая; сторожа бегут в кухню, приносят чайники; напился чаю, закурили трубки и снова ложатся, сторожа подметают каморки. В это время адъютант обходит номера; напрасно он силится являть благородный вид, — взгляд его подл. Наступает час обеда: суп и щи, жаркое с кашей, вместо вина — Невская водица. Счастлив, кто может после обеда заснуть: червь тоски того не гложет; но кто не спит, тот среди мертвого молчанья яснее слышит стон своего сердца. Ах, зачем в радостях ты так быстро летишь, время, а в горе недвижно гнетешь грудь несчастного? Но вот из соседней клетки слышен свист: «это значит, что проснулся — в горе найденный мой друг». Завязывается разговор; все это время все в клетках свободно свищут и поют. В 6 часов разносят вечерний чай, снова водворяется молчанье; идет плац-майор, важно отворяет каждую дверь, медленно вползает и говорит несколько утешительных слов. Наконец, приносят ужин, состоящий из одних шей; его никто не ест. Запирают двери, кончен день, но не кончилось страданье.

Другое стихотворение — шуточное.

За мнимое непокорство
Здесь страдаем день и ночь,
Мы зеваем без притворства
И вздыхаем во всю ночь:
Какая тоска!
Как постелюшка жестка!
Кто не знает нашу участь,
Не поверит тот никак,
Чтобы за минутну глупость
Могли мучиться мы так.
Какая тоска, и т.д.

Дальше юмористически изображается крепостное житье заключенных: живем на птичий лад; сторожа нам моют клетки, кормят нас кашей, как скворцов, и поят простой водой, на ночь нам ставят баночки, посыпают песочком, обставят силками и чиннехонько запрут, — чем не птичий двор?⁶⁸ В этой шутке есть насмешка над самим собою, очень характерная для декабристов. Эти куплеты сочинялись для товарищей, значит Кривцов, определяя дело 14 декабря, как «мнимое непокорство» и «минутную глупость», был уверен, что так же думают и его товарищи, или что они, по крайней мере, не далеки от такого взгляда.

Затем следует ряд сентиментальных стихотворений, все Кривцова. Я вижу ваш унылый взор, родные сердца моего, слышу ваш милый мне голос, зовущий меня; но я не могу на ваш призыв броситься в ваши объятия, не могу смягчить ваше горе надеждой. Ах, зачем я обречен судьбою терзать тех, кому желал бы всечасно услаждать жизнь! Может быть, я уже невозвратно погиб для вас, но я не знаю за собою преступленья; я мог заблуждаться, но душа моя чиста. Душа моя и теперь пылает святой любовью к отчизне, я не знал тщеславья, всегда ставил себе целью добродетель; но я избрал неверный путь, увлекся мечтою; впредь я всегда буду удалять от себя пустые мечтанья и подчинять рассудку бурные желания сердца. — Друзья мои, если мне суждено умереть, наполните вином прощальный бокал и скажите: мир с тобою, спящий друг; этим вы утешите мою тень, в этот печальный час я буду с вами. Вы опять, как прежде, будете собираться вечером, петь, смеяться и курить, — тогда кто-нибудь из вас запоем эту мою песню и скажет вздохнув: жаль, нет Кривцова между нами! — «На измену дружбы»: все друзья — лишь до черного дня. В весельи все тебя любят, но лишь только разъяренная Фортуна обратит на тебя свой суровый взгляд, все тотчас покинут тебя, и всякий будет думать только о том, как бы поскорее спасти самого себя. Вечно верен один Бог; на него надейся, человек, ему молись чистосердечно, он один будет тебе защитником. Даруй же мне, Создатель, смиренность в горе; только надеждою на тебя могу я обрести блаженство. — «Похвала трубке» (написанная, как сказано в подзаголовке, по просьбе Ахтырского Гусарского полка ротмистра Франка^{170*}), скорее грустная, чем шутивая. — «Послание гр. Чернышеву»: скажи мне, друг, для чего создан человек? Почему жизнь зовут бесценным даром? Мы рождаемся с мученьем, муки полна наша жизнь, и страданье открывает нам двери гробницы: где же сладость жизни? От века все стремятся к счастью, но кто достиг его? — Затем идет пересмотр всех земных благ, к коим стремятся люди: богатство, слава и пр. — они призрачны, в них нет счастья. Отсюда вывод: итак, друг, не ищи счастья в мире, терпи страдания и мужайся: не век терпеть; наш дух стремится к Творцу, там, в небе, мы вкусим сладкий сон и узнаем счастье.

В этой наивной, простодушной поэзии действительно есть что-то похожее на чириканье птички в клетке: для нас почти уже непонятная безмятежность и ясность духа, простые, мирные чувства, несложные мысли. Таковы и другие стихи, писанные не Кривцовым, а выписки, которых немало в этой пачке бумаг.

Прости в последний раз, любимая дубрава,
Златая колыбель невинности моей.
Где дружба, где любовь, где милая забава
Мне улыбались весеннею зарей...

.....

Простите, мирные отцов моих долины.
Прости и ты на век уединенный лес,
Где тлеет прах бесценная Алины.
Где часто проливал я реки горьких слез.

Теперь печальных чувств в расстроенной свободе,
Сужденный навсегда оставить край родной,
Пришел последнее прости сказать природе.
Чтоб встретить первую луну в стране чужой.

Под стать этим стихам и афоризмы, выписанные из книг разными почерками: «Человек никогда так сильно не чувствует одиночества, как взирая на прелесть творения». «Из надежд и воспоминания составлено счастье сердца; надежда нам приятна, как взгляд прекрасной девушки, а воспоминание сладостно, как шепот друга». «Время слабо утишает, гнев, разлука придает цену свиданию», и т.п.

Фотографы умеют, путем наложения отдельных снимков, составлять сводный портрет целой семьи, в котором индивидуальные особенности отдельных ее членов становятся смутны, но тем резче выступают основные черты семейного сходства. Историк и может, и должен поступать так же. Всякая группа людей, объединенная каким-нибудь существенным условием происхождения, развития или жизни всех своих членов, представляет особенные, общие им всем психические черты. Такие идеальные группировки могут быть проведены по всевозможным признакам. Эти обобщения, совершенно так же, как и обобщения естественных наук, представляют громадную научную ценность. Но конкретная психология еще слишком мало разработана, у нас нет и еще долго не будет ни точно установленных категорий, ни таких орудий определения, как микроскоп, химический или спектральный анализ. Однако и при этих условиях историко-психологическое обобщение оказывает нам большие услуги; надо только, чтобы оно устанавливалось с величайшей осторожностью и применялось с сознанием его относительности. Само собою понятно, что оно будет тем реальнее, чем уже группа, обобщаемая в тип, и чем, напротив, общее психологический признак (или признаки), по которому ее обобщают. На этих основаниях можно с полным правом попытаться определить и тип декабриста.

Под декабристами я разумею не только членов Тайного общества, участников восстания 14 декабря: это слово — только удобный термин для обозначения всей зажиточной и образованной мужской молодежи Александровского времени. Это люди, родившиеся в самом конце XVIII века, воспитанные и развивавшиеся приблизительно в одинаковых условиях, каковы — крепостное право, влияние французской изящной и политической литературы, военная среда, прямое или косвенное влияние Наполеоновских войн, и пр. Таким образом, материалами для определения этого типа должны служить не только жизнь и писания подлинных декабристов, их письма, литературные произведения и показания на суде, но и вся поэзия Пушкина, письма Грибоедова, речи Чацкого, «Философические письма» Чаадаева, записки Свербеева, и т.п.

Изучение этих материалов позволяет с достаточной достоверностью определить коренные признаки того поколения.

Оно представляется гребнем той исторической волны, которая нарастала у нас с половины XVIII века. В долгое царствование Екатерины постепенно улеглось брожение, вызванное со времен Петра наплывом западных идей и обычаев, и на смену старой боярской культуры окрепла и оформилась новая, дворянская. Она была чрезвычайно сложна по своему составу, — вся еще сильно насыщена элементами народного мировоззрения и быта, еще в непрерывном общении с народной массой, и вместе с тем переполнена элементами западными, которые как-то ассимилировались этому химическому «основанию». Ко времени Наполеоновских войн эта новая культура, дворянская, окончательно установилась и успокоилась. Люди, достигшие зрелости в конце XVIII-го или в первые годы XIX века, представляют зрелище той ясной уравновешенности духа, той спокойной земной оседлости, которые встречаются именно только в эпохи законченной культуры. Они жили самодовлеющей жизнью, их стремления ни внутренне, ни внешне не простирались за черту видимого горизонта; это — та стадия, которая художественно воплотилась в поэзии Державина. Были потом переходные формы (таков например Н.И. Кривцов), но и они характеризовались в общем непоколебимой устойчивостью. Молодежь Александровского времени, так называемые декабристы, нашли эту культуру готовую, роскошно зрелую, и усвоили ее без малейших усилий, — просто по праву наследства; эти рано созревшие юноши, как Пушкин, Грибоедов, Чаадаев и наши два младшие Кривцовы, были цветом ее, в них она достигла самосознания, и сами они в ней сознали силу и достоинство своей личности. И тут, в зените, как всегда бывает в таких случаях, естественно зародились два течения, одно вглубь, другое наружу; нравственная энергия этого поколения устремляется частью на метафизическое углубление господствующего мировоззрения, частью на преобразование общественной жизни согласно расцветшему личному самосознанию. Оба эти течения зародились еще раньше, при Екатерине, когда только начинался расцвет новой культуры, зародились в смешанной форме филантропического масонства¹⁷¹. Теперь, при Александре, они прорываются бурно и с огромной силою, чему не мало способствовали грандиозные мировые события Наполеоновской эпохи и непосредственное ознакомление этой молодежи с западноевропейской действительностью. Мистицизм и общественность, Лабзин¹⁷² с одной стороны, Пестель с другой, — по этим двум линиям, естественно, можно сказать — неизбежно, направилась созревшая и на время уравновешенная общественная мысль. В учении Чаадаева оба эти течения слились; порознь, как известно, они оказались не равносильными: мистическое движение сравнительно скоро замерло или ушло в низы народа; напротив, общественное захватило все лучшие элементы молодежи — и привело к восстанию 14 декабря.

Таким образом, декабрист в основных свойствах своего духа — плоть от плоти той патриархальной, уравновешенной культуры. Он внутренне целен, ему чужд всякий душевный разлад, мучительные вопросы бытия не

вызывают в нем ни малейшего смятения, — они просто для него не существуют, потому что он с молоком матери всосал уверенность и удовлетворенность той успокоенной культуры. Приведенные выше вирши Сергея Кривцова и его друзей в высшей степени характерны для декабриста; именно за эту ясность духа я назвал их птичьим чириканьем. Но, сохранив старую, отцовскую основу, декабрист из нее же потянулся в общественную жизнь. Его отец, человек Екатерининского века, жил самодовольно, или, как метко выразился Пушкин («К вельможе») ^{173*} — «жил для жизни» и «искал возможного», то есть инстинктивно и сознательно *принимал мир во всем объеме действительности*. От этого эпикурейца декабрист отличается не характером душевной жизни, а только тем, что принесло ему время: большим самосознанием и более развитым чувством своего человеческого достоинства. Но в этом отличии и лежало зерно первого разлада с действительностью: декабрист не приемлет, не может принять — оскорбительной для его чувства и сознания русской общественной действительности. Этим в его уравновешенность внесен первый диссонанс, — появляется первая трещина в том цельном укладе чувства и мысли. Так человек Александровского времени нечаянно разрушает очарование; горизонт жизни и для него еще остается неподвижным, — он только хочет переставить кое-что внутри этого круга, — но с первым его шагом из счастливого центра все кругом него приходит в движение. Назад, к покою, ему уже не было дороги; первые шаги он делал с детской ясностью духа, но когда его внешнее, социальное требование встретило неодолимые препятствия, тогда *внешняя мечта* вошла *внутрь* его, стала ему дороже жизни и безвозвратно нарушила его душевное равновесие. Самые страстные из них, как Рылеев, Чаадаев, вероятно Пестель и Каховский ^{174*}, утратив привычный мир души, задыхаются, жаждут немедленной смерти; Рылеев в крепости пишет:

Мне тяжело здесь, как на чужбине, —
Когда я сброшу жизнь мою?

.....
Весь мир — как смрадная могила... ^{175*}

Остальные — большинство — на всю жизнь сохраняют прежнюю ясность духа, почти чудесную в глазах следующего поколения, но сохраняют и свою мечту, известную их отцам; те искали возможного, эти до конца будут горды тем, что желали невозможного.

Для нас в этой эволюции человека Александровского времени важен только ее психологический смысл. Частичная мечта о невозможном, родившаяся в самых недрах того уравновешенного мирозерцания, нарушила его общее равновесие; сами декабристы еще до могилы донесут свою сравнительную цельность, но гармоничный строй мысли был чрез них безвозвратно нарушен во всем составе общества, и нарушен в основе, так что поколение, следующее за декабристами, уже всецело поглощено не политической только, а общей душевной тревогой и поиском. Недаром люди этого поколения,

как Герцен, Огарев^{176*} и другие, с таким умилением преклонялись пред уцелевшими из декабристов, не за их подвиг и страдания, а за удивительную цельность и ясность их духа, которой в них самих уже не было и следа.

*

Приговором Верховного суда Сергей Кривцов был причислен к седьмому разряду, то есть осужден в каторжную работу на 4 года, а потом на поселение; по конфирмации приговора (11 июля 1826 года)^{177*}, срок каторжной работы был сокращен до двух лет, а по коронационному помилованию (22 августа) — до одного года. Легко представить себе, каким ужасом поразило это известие его мать и сестер. В тех смутных сведениях, какие они могли иметь о каторге в Сибири, последние должны были рисоваться им чем-то вроде последнего круга Дантовского ада, обителью нечеловеческих страданий, унижения и скорби. На эту участь, страшную, как смерть, и в своем роде более страшную, чем смерть, был отныне обречен Сергей. 25 августа, то есть тотчас по получении в Тимофеевском известия о приговоре, Анна Ивановна написала прошение на имя Бенкендорфа^{178*}: она просила — в случае, если ее брат еще в Петербурге, — испросить для нее у государя разрешения увидеться с ним. Собиралась ехать и сама Вера Ивановна; в ноябре она обратилась к военному министру с запросом, может ли она рассчитывать быть допущенной к сыну, если придет в январь. На это ей было отвечено, что, так как время отправления осужденных зависит от государя, то министр не может обещать ей ничего определенного. Анна Ивановна по-видимому не получила никакого ответа на свое прошение; тем не менее, в половине января (1827 г.) она двинулась в путь. В Петербурге ее ждал Павел Иванович, приехавший туда из Берлина по пути в Рим, куда, как мы видели, он только что был назначен советником посольства. «Милое и любезное мое сокровище, Сережинька», писала мать в письме, которое повезла с собою Анна Ивановна; «я сама хотела к тебе ехать, но не знаяши наверное, долго ли ты еще пробудешь в Петербурге, не могла решиться на такой дальний путь, боясь съездить понапрасну; а сестра решилась к тебе, нашему милому другу, ехать, и уверена, ежели она тебя застанет, то принесет тебе большое утешение. Посылаю тебе, моему другу, образ, который для тебя написала, поручаю тебя, моего друга, под их покровительство; да еще посылаю маленький образ мученицы Варвары; я тебя, моего друга, видела во сне и самый этот образ на тебе. Прошу тебя, моего друга, именем самого Господа, будь покоен на счет мой. Я еще не совсем забыта от Господа; Бог столько милостив ко мне грешной, что дал мне крепость переносить такую жестокою горестъ с терпением. Я тебе, мой друг, откровенно говорю, даже и сестра тебе то же скажет, — я плачу поболее только тогда, когда молю Создателя о тебе, моем друге. И тебя, моего друга, прошу и умоляю, будь терпелив в своем несчастье. Я знаю твою душу и христианское чувство, и уверена, что ты всегда таков будешь, и ежели и постигло тебя это несчастье, то никак не ропщи, а благодари Бога: он испытует твою твердость и любовь к себе; итак, молись, молись, мой друг, ему с сокрушенным сердцем

и умиленной душою. Бог столько милосерд, услышит наше общее к нему моление, и обратит свой гнев на милость и простит твое заблуждение. Прости, мой друг, прости, сокровище души моей, поручаю тебя Господу и святой его матери, да будет над тобою благодать Святого Духа и мое благословение, и буду на век мой верный твой друг Вера Кривцова».

Анна Ивановна в первый раз увиделась с братом 28-го или 29 января, Павел — за несколько дней перед тем, очевидно еще до ее приезда. Сергей Иванович не ждал сестры, и тем радостнее был удивлен ее приездом. 30 января он пишет матери о том, как счастлив он был обнять любимую сестру; эта неожиданная радость служит ему верным залогом, что придет еще время, когда, соединясь с нею, то есть с матерью, он сможет посвятить свою жизнь ее спокойствию и тем хоть немного искупить печаль, которую он причинил ей. Он пишет, что, вероятно, скоро будет уже отправлен в ссылку, и что с нетерпением ждет этого, потому что ссылка вернет ему свободу; он не стыдится ссылки, — за ним нет никакого преступления, он видит в ней не унижение, а только разлуку с нею — с матерью; он с избытком снабжен всем нужным, ему недолго остается до поселения, и он надеется жить спокойно, так как имеет чистую совесть и внутреннее уверение, что всегда старался делать все добро, которое от него зависело. Дальше он пишет о Павле, восхищается основательностью его суждений, радуется его блестящей карьере, которая, конечно, во сто крат вознаградит его потерю по службе, — «и я, право, не жалея уступаю ему свою часть почестей».

Он действительно со дня на день ждал отправки; однако брат и сестра успели еще несколько раз видаться с ним. 31 января Потапов^{179*} извещал Павла Ивановича, что, согласно его прошению, государь разрешил ему и его сестре видеть их брата, содержавшегося в С.-Петербургской крепости арестанта Кривцова, до 6-го числа февраля три раза, о чем они и должны адресоваться к коменданту крепости ген.-ад. Сукину^{180*}. 7 февраля Сергей Иванович окольным путем переслал Павлу записку, где писал, что по его расчету его отправят в будущую пятницу, 11-го, поэтому пусть он, Павел, постарается до тех пор добиться еще одного свидания. Тут же Сергей Иванович благодарит его за доставленные вещи (сапоги и пр.) и просит передать благодарность Фонтону за присланные книги (Фонто́н был его товарищем по Гофвиллю); еще он просит доставить ему сукна, кисет для табаку, зубных щеток, «Дон-Карлоса»^{181*} и пр., и велит взять у плац-майора свои деньги, оставив для него только 160 руб., — но взять только после последнего свидания, а то плац-майор надуется (то есть не даст свидания). «Наведывайся почаще у графини Чернышевой^{182*}, она будет наверное знать, когда нас отправят. Когда ты будешь просить о свидании плац-майора, смотри, не проговорись, что ты знаешь, что меня скоро отправляют. Сообщи письмо сие Анне». На другой день, 8 февраля, Анна Ивановна письменно обращается к Сукину, прося дать ей и Павлу свидание с братом завтрашний день. Была ли удовлетворена ее просьба, неизвестно. Сохранился клочок бумаги, на котором второпях набросаны чернилами четыре строчки: *Ne vous donnez plus la peine d'aller à la forteresse, car ils sont partis. A peine vous*

m'aviez quitté qu'on est venu me l'apprendre». После «quitté» сверху нацарапана каким-то острым предметом: *hier*, а внизу записки тем же острием нацарапано: 11 fv. 1827. — Их отправили, значит, в полночь с 10-го на 11 февраля. А еще утром 10-го Сергей писал Анне и Павлу, что по полученным им сведениям «экспедиции» эту неделю не будет.

VIII

А глядишь — наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

Д. Давыдов^{183*}

О Солнце, вскричала Фемида, приняв на себя величественный вид богини, ты обтекаешь вселенную, вещай: где еще растут столь подлые дырки и подьячие?» — Нигде, отвечал Феб.

А. Нахимов^{184*}

Человек может годы жить без перемен, точно забытый судьбою, и сам он тогда склонен забыть о ней, как будто нынешняя его участь сложилась естественно, не по воле, а скорее попустительством рока. На деле же его жизнь и в эти годы — только инертное движение по пути, куда в последний раз поставила его судьба, — и на этом пути, в однообразии дел и обстоятельств, он непрерывно меняется внутренне, зрея для нового служения: в урочный день судьба более или менее резким толчком передвинет его на новое место, для которого он внутренне созрел. Все это в порядке вещей; но вот что странно: есть как бы круговая порука в семьях. Случается, целая семья долгое время стоит неподвижно — и затем вдруг не один только член ее, но несколько сразу перемещаются, словно судьба, хлопотавшись, наконец взглянула в эту сторону, и тогда спешит уже за один раз очистить накопившиеся долги всей семьи. Так нередко один за другим умирают два-три члена семьи; между тем каждый из них исполнял свой особенный круг.

Нечто в этом роде случилось с братьями Кривцовыми весною 1827 года: почти одновременно на протяжении немногих недель, пути всех трех братьев круто повернули и определились на всю остальную их жизнь. В те самые дни, когда один из пяти возков, составлявших партию⁶⁹, увозил Сергея, в ножных кандалах, с жандармом о-бок, из родной страны в Сибирь, а Павел комфортабельно спешил на место своей новой службы, в полуденную Италию, — в родных палестинах^{185*} обрела преждевременный конец служебная карьера Николая Ивановича.

* Не затрудняйтесь посещать крепость, так как они уже отбыли. Едва вы от меня ушли, как пришли мне об этом доложить; *hier* — вчера; 11 февр. 1827 (*франц.*)

Четыре года назад, в апреле 1823 года, он был назначен, как сказано, тульским гражданским губернатором. Приехал он в Тулу в июне⁷⁰, а в феврале следующего года он уже выезжал из нее со всеми домочадцами и со своей английской обстановкой, заклеянный выговором Сената и сопровождаемый злорадными напутствиями тульских дворян. Приблизительно такая же история повторилась с ними затем в Воронеже, потом и в Нижнем, — всюду его деятельность кончалась катастрофой, и последняя катастрофа подвела его под суд и осуждение.

В натуре Кривцова было что-то нестерпимо обидное для людей. Именно, оскорбительно было самое его отношение к жизни, этот беспощадный деспотизм, с которым он стремился все живое подчинить своему идеалу геометрической правильности. Жизнь иррациональна, и равнять ее по ранжиру, вгонять в какую-либо схему — безнадежное дело; секрет власти заключается в том, чтобы в каждую минуту находить мудрую середину между требованиями осуществляемой схемы и правами иррациональной действительности, прежде всего, разумеется, — правом каждой индивидуальной воли на свободное проявление. Для этого первое условие — уметь чувствовать чужую волю во всей ее органической сложности и во всей ее законной косности; второе — уметь бережно обходиться с нею, то есть обладать талантом самообуздания. Кривцов, как и родственник ему по духу Николай I, был совсем лишен и этой способности чувствовать, и этого умения шадить иррациональное в жизни и в людях. Он был совершенно заперт для мира. Движения собственной воли он ощущал в себе необычайно сильно, возникшее желание овладевало им безудержно, — он *должен* был его осуществить; а чужой воли он просто не ощущал, как если бы ее и не было в людях, так что всякое проявление чуждой воли, направленное вразрез его замыслу, казалось ему незаконным, умышленным, достойным презрения. И так как мир был для него не тем, что он есть, не миром косных и почти непроницаемых реальностей, а миром безвольных теней, то мысль его в этом безвоздушном пространстве беспрепятственно возводила стройные схемы, и воля упрямо старалась подогнать жизнь под них. Вот почему и он, и Николай I больше всего на свете любили правильность, ясность, порядок, ибо чем «свободнее» мысль, то есть чем меньше она считается с действительностью, тем более она склонна принимать за совершенство вообще — формальные признаки *своего* совершенства: ясность и последовательность.

А жить в мире замкнутым от мира есть грех непрощаемый, безусловный. Мир все терпит в человеке — пороки и преступления, глупость и бездарность; одного он не может простить: метафизического отщепенства. В природе и в человеческом обществе все индивидуально; умей почувствовать свойства каждой индивидуальности, умей душою понять ее права, — и ты легко найдешь в ней рычаги, тебе сподручные, и она сама, пощаженная в своих важнейших, хотя бы и призрачных нуждах, охотно предается твоему руководству. Но если ты не чувствуешь ее, ты ничего и не разглядишь в ней; тогда ты будешь слепо дергать и теребить людей, и к делу

их не пристроишь, но возненавидят они тебя как злейшего своего врага, хотя бы ты в мыслях своих был пламенно озабочен их благом. Люди, подобные Кривцову, трояко несчастны: роковое одиночество — врожденное, глухое, непоправимое — снедает их внутренне, а извне их обдаёт и подтачивает холод, если не ненависть, людских взглядов, слов и обращений; и ничего им в жизни не удастся, потому что всякое человеческое дело делается при помощи людей, а они до жалости бездарны в улавливании и использовании человеческих душ. Все эти три кары нес Кривцов, как нес их и его царственный тезка. Есть мрачное величие в образе таких людей. И нередко бывает (это случилось, как мы увидим дальше, и с Кривцовым), что нежная женская душа, как раз — по контрасту — из тех, которые всего нежнее и глубже, страстно отдается такому человеку и до последнего дыхания, исходя любовью, бьется у ног каменного кумира. Эти люди сильны и несчастны, притом несчастны не по своей вине: ведь они такими рождаются; и женское сердце, быть может с содроганием подчинившись обаянию их силы, потом так крепко привязывается к ним жалостью, что часто уже и смерть владыки бессильна освободить рабу.

Надежный свидетель, Сабуров, рассказывает о деятельности Кривцова в Туле: «Губерния, по тогдашнему обычаю, была распущена. Он завел порядок и правильность, но перессорился с дворянством, и тогда же проявились в полной мере строптивость, самовольствие и непреклонность его характера, не постигавшего никакого сопротивления, ни уклонения. Эти недостатки его энергической и сильной природы усиливались необыкновенною раздражительностью, которая вовлекала его иногда в неосторожности и неприятности»⁷¹.

Это позднее воспоминание вполне подтверждается немногими современными свидетельствами, какие сохранились. До Вяземского уже в августе дошли слухи, что Кривцов «воюет» в Туле⁷², а в начале декабря, проведя у Кривцовых в Туле несколько дней, он сообщает А.И. Тургеневу: «Кривцов воюет в хвост и в голову; делами занимается усердно, почти не выходит из своего кабинета; будет ли успех — Бог знает, но худо то, что он, кажется, не умеет водиться с людьми. По сию пору его сердечно ненавидят; англомания его, поздние обеды, орехи за десертом — все это не переваривается тульскими желудками»⁷³.

Эти чуждые манеры, или, вернее, оскорбительная надменность, сквозившая из-за них, могли играть свою роль, но, конечно, не за англоманию ненавидели Кривцова и здесь, и потом в Воронеже и Нижнем.

Когда бы не эта фатальная ненависть, которою он всюду насыщал воздух вокруг себя, грех, случившийся с ним в Туле, как и позднейшие его грехи, вероятно сошли бы ему с рук. Ему ничего не прощали, потому что он весь был оскорбление; но и то надо сказать, что грехи эти были в нем не случайностями, какие легко прощаются человеку, а органически исходили из самой его натуры. Мой дальнейший рассказ удивит читателя. Я должен рассказать теперь о том, как Кривцов *бил* людей, и даже не своих крепостных, а только подчиненных. Да, умный, просвещенный Кривцов, европеец

и англоман, приятель Лагарпа и Бенжамена Констана, ведет себя как любой исправник того времени, дерется собственноручно и других заставляет бить. Как это стало возможным? Или сам человек уже ничего не значит, и все в нем объясняется влиянием среды и положения?

Но Кривцов нисколько не изменился; он остался тем же, каким мы его знали в Париже. Все дело в том, что на русской почве, в условиях крепостного быта, да еще облеченный тогдашней губернаторской властью над людьми, он естественно стал свободнее проявлять свои наклонности; а при этой свободе, каков он был, он *должен был* бить, *не мог не* бить людей, если встречал с их стороны непокорность. Не будь Николай I царем, он тоже без сомнения дрался бы. Та прирожденная Кривцову неспособность чувствовать чужое «я» должна была в обыденной жизни сказываться элементарным неуважением к чужой личности; а отсюда — при известной вспыльчивости, при несдержанности барского нрава — было недалеко о самоуправства и кулачной расправы с подчиненными. Это именно случилось с ним в третий месяц его губернаторства, случилось, вероятно, не впервые, но на этот раз привело к скандалу.

Так как это дело восходило на рассмотрение Комитета Министров, то в журналах Комитета сохранилось подробное изложение его; отсюда и заимствуем нижеследующие сведения⁷⁴.

В конце августа 1823 года в пределах Тульской губернии со дня на день ждали проезда государя: он должен был через Тулу проследовать в Орел, где были назначены маневры войскам I-й армии. 27 августа Кривцов, спешно объезжая путь царского маршрута, прибыл вечером на Сергиевскую станцию и, не выходя из коляски, потребовал через сопровождавшего его крапивенского исправника лошадей первого нумера, или, как мы сказали бы теперь, первого класса. Между тем эти лошади предназначались для путешествия государя, под собственный его экипаж, а так как они к тому же недавно вернулись с другой станции и стояли на корму, то смотритель станции, Никольский, распорядился вывести губернатору лошадей *второго* разряда. Узнав об этом, Кривцов рассвирепел, не позволил запрягать этих лошадей, а когда по его приказанию Никольский предстал пред его коляской, — накинулся на него с яростной бранью, как-де смеет не давать ему лошадей первого нумера, и приказал подать палок и бить Никольского, что и было исполнено одним из ямщиков. Никольский под палками не протестовал, а только просил помилования.

Но, видно, обида была очень тяжка: смотритель решил жаловаться. Весьма вероятно, что он и раньше бывал бит; писал же Пушкин немного лет спустя о станционных смотрителях: «Что такое станционный смотритель? Суший мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, *и то не всегда* (ссылаюсь на совесть моих читателей)». Но одно дело пощечина, данная сгоряча или под пьяную руку проезжим, который, может быть, в следующую минуту добродушно потреплет обиженного смотрителя по плечу и предложит ему водки из своего погребца, другое дело — беспощадная требовательность Кривцова и битье палками рукой ямщика.

Никольский подал две жалобы: генерал-губернатору Рязанской, Тульской, Орловской и др. губерний Балашеву, которому был подчинен Кривцов, и своему непосредственному начальству, московскому почт-директору. Началось следствие; опрос свидетелей, произведенный на месте чиновником генерал-губернатора, д.с.с.* Кавелиным^{186*}, при чиновнике почтового ведомства, вполне подтвердил содержание жалобы. Некоторые из свидетелей утверждали, что Никольский был выпивши, другие отрицали это; производивший экзекуцию ямщик показал, что смотритель был трезв, и что дано ему было не более десяти ударов слегка. Но сам Никольский, испугавшись ли поднятого им шума, или под соответственным воздействием со стороны Кривцова, поспешил взять назад свою жалобу: он подал следователям прошение, в котором изъяснял, что «признавая причиненное ему оскорбление происшедшим от недоразумения и от поспешности Губернатора единственно по усердию своему осмотреть все станции и дороги в их исправности для Высочайшего путешествия», он «оставляет совершенно свою претензию и просит более нигде и никогда не будет».

Тем не менее делу был, разумеется, все-таки дан законный ход. Запрошенный генерал-губернатором об обстоятельствах происшествия, Кривцов по существу ничего не отвечал; он только отозвался, *не отрицая самого факта*, что он с своей стороны прощает Никольскому грубости, ему сделанные, «и затем не находит никаких побудительных причин к дальнейшему объяснению». Грубая надменность этого ответа по-видимому немало повредила Кривцову во мнении его судей.

Данные следствия Балашев препроводил управляющему министерством внутренних дел, и одновременно сюда же поступили от Главного начальствующего над Почтовым департаментом бумаги по сему делу, полученные им от московского почт-директора. В конце ноября управляющий мин. вн. д.** представил все дело в Комитет Министров со своим заключением, где, по соображении всех обстоятельств, предлагал испросить высочайшее повеление Сенату сделать губернатору Кривцову за самоуправство строжайший выговор, с подтверждением, чтобы впредь от таковых противозаконных и противных обязанностям начальника губернии поступков удержался под опасением неминуемой ответственности по всей строгости законов, — и о том публиковать повсеместно указами. Комитет, обсудив дело в заседании 4 декабря, постановил принять только первую из двух мер, предложенных министром внутренних дел, именно сделать Кривцову чрез Сенат строжайший выговор, причем изъяснить ему в сенатском указе: 1) что он и не должен был требовать лошадей, приготовленных под экипаж государя, 2) что его отзыв, *что он прощает смотрителя*, неприличен, и 3) что в случае повторения им подобных противозаконных поступков он неминуемо будет подвергнут ответственности по всей строгости законов. Предложение же министра об оглашении этого приговора Комитет отверг, спра-

* Действительным статским советником.

** Министерства внутренних дел.

ведливо указав, что «опубликованный» губернатор уже не должен бы быть оставляем в звании губернатора. Зато Комитет предложил Сенату сообщить приговор Главного начальствующему над Почтовым департаментом, «дабы почтовому начальству известно было о таковом решении сего дела, и дабы помянутому смотрителю не было поставлено ни в какое предосуждение происшествие, с ним случившееся, или не лишился бы он чрез то своего места».

Журнал Комитета Министров был высочайше утвержден в первых числах января 1824 г., а 26 февраля состоялся приказ о переводе Кривцова губернатором же в Воронеж. Так некрасиво и быстро кончилось его первое воеводство.

Слух о происшествии с Никольским распространился в Москве еще задолго до следствия и суда. А.Я. Булгаков уже 10 сентября сообщал этот слух брату^{187*} — и вдобавок другой — что Кривцов уже отставлен⁷⁵. Булгаков не верил, чтобы Кривцов мог побить кого-либо, а Вяземский, ближе знавший Кривцова, кажется, легко поверил; 1 октября он писал Тургеневу, тоже сообщая слух о предании Кривцова суду и отставке его: «Правда ли, что он побил смотрителя, *то есть, официальная ли это правда?*»⁷⁶. Позже он не раз дразнил Кривцова палочной расправой. «Твоя палка должна быть у меня в Остафьеве, да и к тому же не жалею о том, что не могу тотчас ее прислать. Ты, пожалуй, кого-нибудь поколотил бы ею, и эти удары пали бы на мою совесть». — «Палка твоя в Остафьеве. Да что тебе в палках? Мало что ли катал ты в Туле? Сделай милость, усмирись»⁷⁷. Когда дело разгорелось, Кривцов по-видимому, пытался потушить его чрез посредство влиятельных друзей; так, он в ноябре или декабре 1823 года писал Карамзину, прося его замолвить о нем Балашеву, находившемся тогда в Петербурге⁷⁸.

Итак — Воронеж. Тульская история без сомнения ничему не научила Кривцова. Он, вероятно, думал про себя: «глупцы! не умеют ценить дельных людей; из-за пустяков поднимают шум и мешают работать на пользу отечества». Он считал себя истинным патриотом и замечательным администратором, а петербургских чиновников и сановников презирал как тунецев-карьеристов. Чтобы в этом деле была какая-нибудь существенность, это ему и на ум не могло придти. Ну, побии смотрителя — велика важность! добро бы изувечили, а то ведь остался цел и невредим.

В Воронеже устроились роскошно, опять, разумеется, на английский манер; в средствах недостатка не было: Кривцов получал, как мы знаем, аренду, около 12 000 рублей, тысяч 12 жалованья, да своего дохода имел, по словам Сабурова, тысяч 40⁷⁹.

В доме все было прочно, изящно, комфортабельно, порядок во всем педантический. Как губернатор, Кривцов без сомнения обладал некоторыми редкими достоинствами: он был неподкупно-честен, деятелен, настойчив, европейски образован. В Воронеже блестяще проявились его строительные способности, — а у него была страсть строить. Он сразу предпринял целый ряд общепользных сооружений и с невиданной в те времена энергией быстро и успешно осуществлял свои затеи; но так как он оставался

тем же человеком, что в Туле, то в отношениях с людьми он неминуемо и скоро должен был нарваться на крупную неприятность. На этот раз дело разразилось неслыханным скандалом. Кто бы мог подумать? он сумел в 1825 году вызвать чиновничью революцию в городе Воронеже. Он был из тех людей, которые раздражают самым звуком своего голоса, а когда бранят кого-нибудь, и даже по праву, — тот человек не слышит их правды, а слышит только острые уколы их отравленных слов, вонзающихся в душу, и мгновенно пьянеет неукротимой ненавистью к глазам, в которые он смотрит, к цепочке часов, ко всему этому человеку, оставленному Богом. Так мирные советники воронежского губернского правления в один час превратились в рьяных крамольников и пошли напролом, очертя голову.

Это событие, в условиях времени и места, где оно разыгралось, было столь необычно, столь противоестественно, что, читая подробное изложение его в протоколах Комитета Министров, почти не веришь своим глазам. Это не Воронеж, не Губернское Правление, не 1825 год; это история одного из обычных столкновений провинциального парламента с королевским интендантом где-нибудь в Гренобле или Безансоне, в 1741 или 1788 году. Генерал-губернатор Балашев, сообщая о случившемся царю чрез несколько дней, так и начинал свой всеподданнейший рапорт: «В виде необыкновенного происшествия долгом моим считаю всеподданнейше донести Вашему Императорскому Величеству следующее».

Дело началось еще до назначения Кривцова в Воронеж⁸⁰. В 1823 году помещик Воронежской губернии, отставной полковник Захаров, подал царю жалобу на разбой и смертоубийства, якобы в течение 19 лет чинимые ему крестьянами статской советницы Вишневской. Государь приказал произвести расследование. Назначенные местным начальством следователи — губернский предводитель дворянства и губернский казенных дел стряпчий — установили, что наветы жалобщика ложны, и, открыв сверх того разные противозаконные поступки Захарова, постановили отдать его под присмотр, а над именем его учредили опеку. По докладу о том государю объявлена была 27 августа 1824 года высочайшая воля, чтобы тяжбы Захарова с Вишневской и еще другой соседней помещицей об имении были снова рассмотрены — в Сенате, когда дойдет до него производимое по доносам Захарова исследование. Опираясь на эту высочайшую резолюцию, Захаров весною 1825 года, то есть уже при Кривцове, вошел в Воронежское Губернское Правление с ходатайством о снятии опеки с его имения, а в то же время противная сторона подала прошение, в котором доказывала необходимость сохранить опеку в видах целости имущества. В губернском Правлении возникло разногласие. Кривцов, в качестве губернатора председательствовавший в Правлении, пригласил к себе на дом двух советников Правления, Базилевского и Кандаурова, для окончательного обсуждения дела. Что было здесь решено, — об этом и шел позднее спор. Кривцов на следствии изображал происшедшее так: он полагал, что сейчас не может быть и речи о снятии опеки с имения Захарова; необходимо прежде всего командировать кого-нибудь для расследования на месте

обстоятельств, изложенных в прошении Вишневской и др., и только затем, на основании полученных таким путем сведений, приступить к рассмотрению вопроса о снятии опеки, но и тогда ни под каким видом не приводить в исполнение резолюции Губернского Правления без ведома высшего начальства, потому что о наложении опеки было в свое время доведено до высочайшего сведения. После долгого совещания, в котором Кандауров и Базилевский силились склонить его на снятие опеки без представления о том высшему начальству (они утверждали, что к наложению опеки с самого начала не было законных оснований), они, наконец, казалось, уступили его мнению, и Базилевский тут же составил проект резолюции в этом смысле; он, Кривцов, выправил текст проекта собственной рукой, и отдал его советникам с тем, чтобы они, проведя эту резолюцию чрез Правление, внесли ее в журнал. 15 мая и был составлен соответствующий журнал, а 9 июня он вдруг узнал, что опека с имения Захарова снята, и как раз на основании журнала 15 мая; справившись в журнале, он убедился, что совершен подлог: в журнал была записана резолюция, противоположная той, которую он передал Базилевскому, именно — резолюции о снятии опеки.

Так утверждал на следствии Кривцов. Напротив, советники утверждали, что занесенная в журнал резолюция есть буквально-точная копия бумаги, составленной тогда в кабинете губернатора.

По делу трудно установить, был ли подлог со стороны советников. Не подлежит сомнению, что Кривцов не мог запомнить столь определенно-го решения: это противоречило бы всему складу его характера; еще менее того он был способен сознательно утверждать ложь. С другой стороны, дело оказалось при расследовании довольно мутным. Начать с того, что самая резолюция, занесенная в беловой журнал, то есть получавшая законную силу, противоречила себе и погашала свои мотивы. Она гласила в своей первой части: наложить запрещение (на имение Захарова), а в образе управления — взять в присмотр губернского начальства; а во второй части было сказано: «которое (то есть имение) за сим распоряжением из-под учрежденной следователями опеки освободя, предоставить в образе хозяйственного управления собственному самому уже Захарова распоряжению». Этим, разумеется, нисколько не обеспечивалась сохранность имения, так как при неизбежно-номинальном присмотре властей Захаров, оставшийся хозяином имения, мог исподволь разорить его в конц. Далее, подозрительна обстановка, при которой писался белый журнал. Когда три недели спустя Кривцов, обнаружив «подлог», потребовал черновой проект резолюции, составленный в его кабинете, — оказалось, что та бумага уже уничтожена. На следствии советники показали, что губернатор, утвердив проект резолюции, приказал занести ее в журнал как можно секретнее, по той причине, что эту же резолюцией предполагалось между прочим отправить чиновника для расследования по вновь поступившим на Захарова жалобам; в виду этого секретарь Ананьевский, получив о том распоряжение от Базилевского, заставил канцеляриста Грекова писать белый журнал в присутственной комнате на своем столе, а по окончании переписки отдал

черновую резолюцию за ненадобностью Кандаурову, который тут же в присутствии уничтожил ее.

Журнал 15 мая был подписан членами Губернского Правления, потом Кривцовым, и 28 мая утвержден губернским прокурором. На следствии Кривцов объяснил, что подписал журнал, не читая, так как знал его содержание и полагался на подпись Базилевского, который расписался первым⁸¹.

Потом было послано генерал-губернатору соответствующее представление, также подписанное Кривцовым, и затем резолюция приведена в исполнение посредством рассылки куда следовало указов, то есть опека с именина Захарова была снята.

Шум начался 9 июня, когда губернский прокурор в донесении на имя генерал-губернатора заявил протест против постановления Губернского Правления. В тот же день Кривцов письменно потребовал от Правления, немедленно, не выходя из присутствия, доставить ему черновой проект резолюции 15 мая. В ответ ему было сообщено, что черновая уничтожена; тогда он приказал назначить на 7 часов вечера в тот же день присутствие Правления. Здесь он, в запальчивости и раздражении, яростно поносил членов Правления: что он обманут ими самым бесчестным образом в составлении журнала 15 мая о снятии опеки, что он подписал тот журнал по плутовскому подлогу, что теперь не может уже иметь к ним ни доверия, ни уважения, и что завтра же нарядит над ними следствие.

Когда губернатор ушел, члены Правления, возмущенные его речами, постановили занести все случившееся в журнал и о нанесенном им оскорблении сообщить генерал-губернатору эстафетой, а также довести до сведения вице-губернатора, как первенствующего по губернаторе лица, что в виду заявления губернатора, коим он признавал их отныне лишенными его доверия, они не могут ручаться за правильный ход дел в Правлении, вследствие чего и просят его, вице-губернатора, принять в сем смысле по его благоусмотрению законные меры. Все эти постановления были революционными актами; желая придать им хоть вид законности, Правление решило немедленно сообщить их губернскому прокурору, для чего секретарь Ананьевский тут же, в 11 часов вечера, отправился к нему в дом с просьбою явиться тотчас в присутствие. Но прокурор отказался явиться сейчас, сказав, что явится завтра. Когда Ананьевский вернулся с этим ответом, Правление решило без прокурора исполнить свои постановления и дополнительно известить генерал-губернатора об отказе прокурора явиться в его присутствие.

Таков был первый акт этой губернской революции. Когда позднее, на следствии, советников спросили, как они осмелились, в тяжкое нарушение законов службы, ставить и привести в исполнение журнал без подписи губернатора, сноситься помимо его с вице-губернатором и пр., они отвечали, что были вынуждены поступить так, не находя в законах никакой другой формы на подобные случаи: «ибо, вероятно, и самый закон не предполагал подобных со стороны губернаторов действий»; а не поднесен был этот

журнал на подписание губернатору по тому соображению, что он касался не дел, относящихся до управления губернией, а только собственных действий губернатора, подвергающих его ответственности перед законом.

Второй акт разыгрался на следующий день, 10 июня, во время утреннего присутствия. Кривцов очевидно уже был осведомлен прокурором о происшедшем в прошлую ночь. Пригласив с собою прокурора, он явился в Правление и приказал секретарю Ананьевскому читать журнал, составленный накануне. Когда секретарь кончил чтение, Кривцов заявил, что этот акт, как составленный без его ведома и подписи, недействителен, а поступок членов своеволен, и потребовал от них объяснения, по какому праву они отважились в своем заявлении вице-губернатору отрешить его, губернатора, от должности президента Правления? Разве не знают они, что без него не может быть присутствия Правления, он же, напротив, властен устранить их и на их место прикомандировать других, и присутствие Правления будет в законном виде? Если же они желали отрешить его от председательства в Правлении, они должны были подыскать для этого законную причину, например его умственное расстройство, и в таком случае предложить врачебной управе освидетельствовать его; и если бы оказалось, что он действительно одержим болезнью, они были бы в праве принять соответственные меры. Затем «с крайним негодованием и в виде разгоряченном», или, как он сам показал, «не могши сохранить совершенного хладнокровия», он потребовал от Базилевского и Кандаурова, чтобы они тотчас подали прошения об отставке, которые он-де сам отвезет к генерал-губернатору: «умел я надеть на вас кресты, но сумею и снять их»; потом продолжал укорять советников в обмане, при чем выразился, что за обман секут кнутом, называл их сумасшедшими, ибо незаконность их поступка столь велика, что в здравом уме допустить оную невозможно, и пр. и пр. Глубоко оскорбленное присутствие обращается к прокурору за защитой, но он холодно отвечает, что он всему этому делу только свидетель; когда же Кривцов снова принимается осыпать членов самыми оскорбительными укоризнами, присутствие вторично вызывает к прокурору; по требованию членов секретарь торжественно читает в зеркале^{188*} указ 1724 года о Шафирове^{189*}, но прокурор явно держит сторону губернатора и сам требует от членов ответа, по какой причине журнал 9 июня не подписан губернатором. В конце концов правление потребовало, чтобы все происшедшее было записано в журнал, что Кривцов и приказал исполнить, прибавив, что он и без того не отрекся бы от произнесенных им слов, тем более, что свидетелем оных был губернский прокурор (Кривцов на следствии действительно подтвердил все вышеизложенное). Затем он потребовал, чтобы присутствие занялось рассмотрением наиболее неотложных дел в виду его предстоящего отъезда в Рязань, и тут прокурор удалился. На следующий день, когда Кривцова уже не было в городе (он поспешил в Рязань очевидно для того, чтобы как можно скорее представить генерал-губернатору дело в *своем* освещении), Губернское Правление составило «ремонтрацию» на имя генерал-губернатора, где, изложив происшедшее, изъяснило, что члены правления за-

трудняются составлять присутствие при губернаторе Кривцове, опасаясь продолжения столь тяжких для них оскорблений.

Балашев, получив донесение Кривцова и Губернского Правления, тотчас отправил государю упомянутый выше всеподданнейший рапорт, самые же донесения препроводил в воронежскую уголовную палату, предложив ей привлечь к законной ответственности членов и секретарей Правления, участвовавших в составлении и исполнении журналов, не подписанных губернатором, а советников Базилевского и Кандаурова, обвиняемых губернатором в подлоге, немедленно удалить от должностей. По существу дела, то есть по вопросу об отмене опеки над именем Захарова, он поручил разыскание воронежскому вице-губернатору, о чем и донес одновременно Сенату и министрам внутренних дел, юстиции и финансов.

Заварилось больше дело. На всеподданнейшем рапорте Балашева есть две собственноручные пометки Аракчеева: «Получено от Государя 29 июня 1825 года», и другая: «Высочайше повелено внести в Комитет гг. Министров, где особенно обратить внимание на сие происшествие и представить заключение в особом журнале. 30 июня 1825 года. Граф Аракчеев». Тот же 30 июня управляющий министерством внутренних дел довел до сведения Комитета Министров донесение, полученное им от Балашева, а 5 июля Аракчеев сообщил министру юстиции высочайшую волю, чтобы он, министр, наблюдал и сделал распоряжение о немедленном окончании сего дела, и решение, какое по оному последует, довел до сведения государя. В то же время Сенат вытребовал к себе нужные документы для рассмотрения вопроса по существу; словом, дело было энергично двинуто по всем ведомствам.

Между тем местная революция еще не кончилась. 4 июля вице-губернатор Рубашевский, которому, как сказано, генерал-губернатор поручил произвести дознание на месте, явившись в присутствие Губернского Правления, изъявил намерение снять устный допрос с председателя Михайлова, исправлявшего теперь должность советника, и с асессора Манаева⁸². Те отвечали, что не находят возможным давать объяснения на словесные требования во время отправления своей должности, в присутствии. Вице-губернатор сам признал законность их отказа, и, удалившись, в тот же день прислал к ним письменные вопросы, на которые они утром следующего дня и доставили ему ответы. Два дня спустя Кривцов, прибыв в Губернское Правление, с негодованием набросился на Михайлова и Манаева, спрашивая, почему они не дали ответов вице-губернатору, упрекал их в неповиновении, грозил, что заставит их повиноваться, приставив к присутствию караул, и пр. В это самое время явился в Правление и вице-губернатор и также принялся уличать их в ослушании; Манаев осмелился заметить, что словесные вопросы можно предлагать только подсудимым; тогда Кривцов вскричал, что он и есть подсудимый и чтобы не думал, что это ему сойдет с рук: «нет! притянут вас и посадят с преступниками на скамейку». Когда вслед затем был составлен и подписал журнал заседания, Манаев обратил внимание Кривцова на то, что в абзаце журнала, который предписывал членам Губернского Правления впредь выполнять письменные и словесные

приказания вице-губернатора, выражение *словесные* вписано между строк после его, Манаева, подписи. Услыхав это, Кривцов вскричал: «Ассессор Манаев лжет! Записать об этом в журнале!», называл его крючком, глумился над его выслугой из канцелярских служителей и заключил тем, что «из людей сего рода никогда не должно сажать за красный стол».

Михайлов и Манаев, разумеется, тотчас донесли Балашеву о претерпенной ими обиде, Балашев потребовал от Кривцова объяснения, и Кривцов отвечал, что вся их жалоба — клевета, что он только вразумлял их в неправомерности их действий, и что слова, им сказанные, совершенно искажены в их жалобе, «как полагать должно — умышленно, дабы более придать весу прежним на него доносам членов Губернского Правления, клонящимся к сокрытию подлога, сделанного в журнале 15 мая по делу Захарова». Балашев назначил новое следствие, уже по этому делу; советник Коневецкий показал под присягой приблизительно то же, что заключалось в жалобе (то есть угрозы приставить караул к присутствию, лишить ослушников службы, и пр.); заседатель Бартенев отозвался, что не слыхал никаких оскорблений, наносимых губернатором Михайлову и Манаеву, но, как потом обнаружилось, этот свидетель «имел недостаток в чувстве слуха». Опять генерал-губернатор передал это новое дознание в воронежскую уголовную палату, а Михайлова, Манаева и секретарей Ананьевского и Левина отпустил от должностей. Губернское Правление было разгромлено, но ясно было, что и Кривцову невозможно долее оставаться в Воронеже, где, разумеется, все чиновничество было крайне возбуждено против него.

Он сам, видимо, трусил. Он решает ехать к государю и запрашивает Карамзина, застанет ли он государя в Царском Селе⁸³; несколько позже Карамзин, очевидно по его просьбе, переговаривает о нем с министром внутренних дел Ланским^{190*}. Сам Кривцов писал Карамзину о своих служебных неприятностях глухо, но историк, как видно, кое-что слышал стороною; в сентябре этого (1825-го) года он писал Кривцову: «Я никогда не сомневался в вашей благородной ревности, но ходили до меня слухи о вашей излишней вспыльчивости или крутости. Дай Бог вам хладнокровия не менее ревности!» и т.д. В журналах Комитета Министров есть «дело» о разрешении Кривцову отпуска на 28 дней, помеченное 5 декабря 1825 г. По всей вероятности он собирался съездить в Петербург, чтобы личным объяснением или путем связей уладить досадный инцидент; но он опоздал: прошение об отпуске он послал без сомнения еще при жизни Александра I, а разрешение на отпуск мог получить не ранее конца декабря, когда ехать не имело смысла в Петербурге было уже не до него.

Он пробыл губернатором в Воронеже еще целый год, до сентября 1826 г. — вероятно именно потому, что в это время высшему начальству было не до губернаторов: все внимание правительства было поглощено делом о декабрьском восстании. Кривцов продолжал обстраивать и украшать Воронеж. За два года своего губернаторства здесь он успел, по преданию, совершенно преобразить город. Сабуров писал в 1843 году: «Что только Воронеж имеет хорошего, тем он обязан Кривцову»; а много лет спустя

местный старожил, Д.Д. Рябинин, вспоминал с благодарностью: «Кривцов служил воронежским губернатором немного более двух лет... но, отличаясь горячей деятельностью по строительной части, успел сделать в короткое время своего управления очень многое для улучшения города Воронежа относительно существенных удобств и внешнего благоустройства. Он вымостил улицы, устроил, вместо первобытной гати, прекрасную дамбу с мостом при выезде из города, выкопал 20 колодцев в нагорной его местности, удаленной от реки; выровнял, укрепил стенами и вымостил обрывистые спуски, провел бульвар, построил несколько общественных зданий и, одним словом, совершенно преобразовал Воронеж этими капитальными и полезными сооружениями, которые все делались непостижимо-быстро, но толково, прочно и красиво. Многие из них доселе существуют и продолжают служить своему назначению»⁸⁴. Но тот же Рябинин сообщает, что средства на эти работы Кривцов черпал из капиталов Приказа общественного призрения, не стесняясь формальностями, и тем открыл поприще для всевозможных хищений и плутней чиновников Приказа, так что в итоге образовалась громадная растрата.

12 сентября 1826 года Николай Иванович был переведен губернатором в Нижний Новгород. Сабуров говорил, что Балашев ненавидел его за самостоятельность и неподкупность, за строптивый нрав, за расположение государя к нему, и пр.; очень вероятно, что Балашев был рад избавиться от него.

Воронежское дело все еще тянулось, переходя из инстанции в инстанцию. Можно думать, что это тягостное дело, и еще более перевод в Нижний, усилили раздражительность Николая Ивановича до высшей степени; по крайней мере происшествие, случившееся в начале следующего года, месяца через четыре после его переезда в Нижний, свидетельствует о таком его душевном состоянии, которое нельзя назвать иначе, как умоисступлением. Старинный романист пояснил бы, что фурии, обитавшие в душе Кривцова, яростно гнали его к бездне, чтобы ввергнуть туда, — и старинный романист был бы прав. Вот как рисуется дело по данным позднейшего следствия; надо заметить, что достоверность фактов не подлежит сомнению, так как она была установлена и проверена двукратным расследованием, и все документы в целостности дошли до нас⁸⁵.

В феврале 1827 года, на Масляной, Кривцову понадобилось съездить на три дня в имение жены, находившееся в Кирсановском уезде Тамбовской губернии. Проезд его туда и назад оказался для попутных станций настоящим погромом. Он ехал на почтовых, не предъявляя подорожной, что было по отношению к содержателям почтовой гоньбы сущим грабежом, — а на многих станциях почту держали сами крестьяне, — и ехал притом с невероятной быстротой, доходившей местами до 20 верст в час. По-видимому, всю дорогу его сопровождали местные власти: из дела видно, что по Ардамовскому уезду его провожал председатель ардамовского земского суда, по Арзамасскому — местный исправник. Но хуже всего было то, что он по дороге изувечил побоями несколько человек.

Переменяя лошадей на станции Ореховец Ардатовского уезда, он пошел дальше с такой быстротой, что тройка уже на полдороге к следующей станции приустала; поэтому, доехав до села Глухова, он потребовал, чтобы ему припрягли пару обывательских лошадей. Село было частновладельческое, князя Салтыкова. Дали знать сотскому, тот явился, но вместо того, чтобы немедленно исполнить требование губернатора, сотский вступил в препирательство с ямщиком, выговаривая ему, что-де вы из казны берете за лошадей деньги, а держите дурных. Кривцов, сидевший в санях, потерял терпение и в гневе приказал своему камердинеру привести сотского к саням; камердинер сотского не привел, а притащил за волосы, толкая кулаком, и тут Кривцов собственноручно отвесил сотскому 4 или 5 пощечин. Мало того: не насытившись этим мщением, он на обратном пути приказал сопровождавшему его ардатовскому заседателю кн. Волконскому взять глуховского сотского в суд и высечь его розгами, что и было затем исполнено; при этом он грубо упрекал Волконского за неисправность почты, называл его алтынником и грозил отрешить за несмотрение весь земский суд.

На станции Волчиха Арзамасского уезда были выведены Кривцову для выбора четыре тройки; одна из лошадей оказалась малорослою; ямской староста Алексей Жуков объяснил, что эта лошадь подставлена только временно вместо большой лошади, на которой его сын отправился за хлебом в другую деревню. За эту вину, — что употребил на постороннее дело почтовую лошадь, — Кривцов велел ямщикам бить Жукова палками, но видя, что они бьют недостаточно сильно, приказал сопровождавшему его арзамасскому исправнику Зарембе-Рацевичу и местному станционному смотрителю, отставному унтер-офицеру Антонову, заменить ямщиков, и эти двое били Жукова в одной рубашке палками «весьма крепко и много», так что, когда кончилась экзекуция, Жуков едва добрался до конюшни; там он лег за колоду; Кривцов потом еще несколько раз требовал его к себе, неизвестно для чего, но Жукова не нашли. Жуков был 55 лет и слабосильный; он потом месяц пролежал большой и харкал кровью. В то время, как его били, Кривцов поносил исправника за нерадение самыми ругательными словами.

На станции Богоявление Нижегородского уезда повторилась та же история. Найдя одну из выведенных лошадей нехорошею, Кривцов сперва накинулся с бранью на станционного смотрителя, а потом потребовал на расправу ямского старосту; однако староста успел скрыться; Кривцов, расвирепев, велел ямщикам бить содержателя почтовых лошадей, крестьянина Маврина; часть ямщиков во страху разбежалась, а оставшиеся не трогались с места; тогда Кривцов велел призвать пятидесятника¹⁹¹ Тонина, и Тонин вместе с другим крестьянином били раздетого Маврина палками сильно и долго, даже тогда, когда Маврин, человек крепкого телосложения, будучи не в силах держаться на ногах, упал на колени. Маврин после этого долго хворал, грудь у него распухла, недели две он не мог встать с постели.

Избивать людей палками до полусмерти за ничтожные провинности, да еще раздев их предварительно, до этого мог дойти только человек, жесто-

чившийся против всего света и в злобе своей окончательно потерявший власть над своими чувствами. На беду Кривцова, во время этих неистовств подвернулся ему под руку человек, которого было опасно трогать. Арзамасский земский исправник Заремба-Рацевич, состоявший в исправниках уже 20 лет и переживший многих губернаторов, конечно умел переносить всякие капризы начальства. Что Кривцов на станции Волчиха при всех ругал его, что заставил его вместе со станционным смотрителем бить ямского старосту, — это бы все ничего; но Кривцов по возвращении из поездки придрался к этому поводу и неожиданно для всех отрешил его от должности, а еще с преданием суду за неисправность арзамасских почт. Заремба был не такой человек, чтобы сдаться без боя. Он ли сам написал жалобу, или на его защиту встали те четыре уездных предводителя дворянства, которые, как видно из следственного дела, вместе с губернским предводителем в первую же минуту безуспешно ходатайствовали за него пред Кривцовым, — как бы то ни было, из Нижнего пришла к генерал-губернатору Бахметеву^{192*} бумага, где была подробно описана Кривцовская поездка, и где яркими красками изображалась несправедливость меры, принятой Кривцовым в отношении Зарембы-Рацевича. Бахметев не любил Кривцова; он тотчас составил и отправил к царю — уже Николаю Павловичу — всеподданнейший рапорт, в котором полностью воспроизвел полученную им жалобу. Воронежское дело еще не было конечно, а над головою Кривцова уже собралась новая гроза.

Между тем по существу Кривцов в этом деле, как и в воронежском, был совершенно прав.

В этих двух делах живою встает пред нами тогдашняя Россия, какую ее недолго спустя изобразил Гоголь в «Ревизоре», и «Мертвых Душах» — Россия Базилевских, Кандауровых и Заремба-Рацевичей. Этот арзамасский исправник при ближайшем знакомстве незаметно сливается с знакомым образом Сквозника-Дмухановского до полного тождества, начиная с чудесного совпадения этих двух сложных польских фамилий: *Заремба-Рацевич — Сквозник-Дмухановский*, так что против воли напрашивается мысль: не рассказал ли Кривцов Пушкину в 1834 году про Зарембу-Рацевича, а тот, вместе с сюжетом «Ревизора», передал Гоголю и контур этого лица? Но нет, Гоголь сам мог знать у себя в Малороссии такого Сквозника-Зарембу.

В деле много сведений о Зарембе-Рацевиче. Чиновник, присланный из Петербурга, узнал о нем следующее. Ему под 60, он служит с 1799 года: пять лет прослужил заседателем арзамасского земского суда, а теперь уже восемь трехлетий избирается дворянством в исправники. Он страстный карточный игрок, в домашнем быту большой хлебосол; дворяне арзамасские в нем души не чают. Он постепенно спускал в карты все, что наживал на службе: 3 или 4 дома, деревню душ в 30; теперь на нем около 10 тысяч рублей долга. Живет он в Арзамасе в собственном обширном деревянном со службами доме, а в уезде у него винокуренный завод; и дом, и завод состоят (разумеется!) за его женою, Марьей Степановной, «приобретенные ею во время уже бытности ее в замужестве за г. Рацевичем».

Когда из Петербурга пришел запрос по делу Зарембы-Рацевича, генерал-губернатор Бахметев предписал новому, уже после Кривцова, нижегородскому губернатору произвести расследование о служебной деятельности Зарембы; тот поручил это дело арзамасскому предводителю дворянства, но предводитель, под предлогом болезни, уклонился от щекотливого поручения, и в результате собирал справки о Зарембе и писал доклад не кто иной, как арзамасский уездный судья, — вне всякого сомнения кум и карточный партнер Зарембы-Рацевича. Как жаль, что до нас не дошло имя арзамасского судьи! Его доклад — в своем роде *chef d'oeuvre**. Он поет соловьем, воркует, как голубь, мурлычет, как кот на лежанке, и все это под видом неподкупного беспристрастия. «Любовь и сожаление», пишет он, «об удалении его (Зарембы-Рацевича) от должности дворянства арзамасского уезда приобрел он чрез примерные кротость, благоразумие, справедливость и бескорыстие, что доказывается выбором его дворянами сряду восемь трехлетий в исправники, каковые благородные качества его и ревность в пользу казны можно заметить из того, что недоимки по Арзамасскому уезду по день удаления его от должности оставались только 11 451 руб. 97 1/4 коп., как видно из истребованных уездным судьей от Земского суда и уездного казначея ведомостей... Поведения господин Рацевич самого благородного, и хотя занимается игрою в карты, но единственно по принятому ныне в домах обыкновению, страсти же к сей игре, как удостоверяют дворяне, не имеет». Был ли он под судом? Бывал, правда, — но какие же это дела! Макарьевский заседатель Герман, командированный в Арзамасский уезд для поимки разбойников, устранил Зарембу от участия в расследовании этого дела «по прикосновенности его к оному» и обвинил его в разных делаемых будто бы им, Рацевичем, противозаконных поступках, как например во взятии от свидетелей по этому делу при производстве следствия в подарок денег и прочего; но Уголовная Палата за недостатком улик оставила сие дело без уважения. За разные упущения в производстве следствия, по коим остались неоткрытыми виновные в убийстве крестьянина Клюкина, Палата оштрафовала его в 200 рублей. По делу о порубке леса в имении графини Литта за упущения, сделанные г. Рацевичем также в производстве следствия (а результатом этих упущений было опять обнаружение виновных), был он от суда освобожден за силою все милостивейшего манифеста 22 августа 1826 года. По тому же манифесту Палата признала его от взыскания свободным еще по целому ряду таких же дел, то есть за «упущения» в расследовании, следствием которых была безнаказанность — фальшивомонетчиков, поджигателей и пр., а иногда и исчезновение самих дел — как например, за освобождение фальшивомонетчика Котельникова, который «во время свободы своей неизвестно куда скрылся». В итоге Заремба-Рацевич оказался оправданным по всем делам; только в самом конце справки есть меланхолическое сообщение, что сверх перечисленных дел помянутый Заремба-Рацевич «сделался прикосновенным к

* Шелевр (франц.).

исследованию» — о незаконных его поборах с волостных правлений, какое дело еще находится в доследовании.

Таков был этот хлебосольный исправник, любитель карт и любимец арзамасских дворян. Кривцов только придрался к неисправности почты, чтобы прогнать его: в действительности, как писал в своем докладе петербургский следователь, «к сему, сколько можно было узнать тайно, содействующею причиною было и личное предубеждение и негодование на него г. Кривцова» за все эти лихоимные «упущения» его, покрытые манифестом, и за многое другое.

Между тем воронежское дело, тянувшееся уже два года, пришло к концу. Было бы скучно излагать в подробностях его последовательный ход. Оно разбиралось сначала в воронежской уголовной палате, оттуда перешло в 6-й департамент Сената. Сенат признал, что в отношении снятия опеки с имения Захарова Губернское Правление поступило правильно, что утверждение губернатора о подлоге, будто бы совершенном советниками, ничем не доказано, что, следовательно, сделанные советникам по сему поводу от губернатора оскорбительные укоризны понесены ими безвинно, и что хотя составлением и исполнением своевольных журналов они и преступили закон, но вовлечены были в этот проступок крайней вспыльчивостью губернатора. В заключение Сенат предлагал членов и секретарей Правления освободить от суда, не преграждая им пути к возвращению в службу, о предосудительных действиях Кривцова представить на высочайшее усмотрение. Это мнение Сената, как и все остальное производство по делу, министр юстиции представил Комитету Министров при своем заключении. Комитет Министров в заседании 22 марта 1827 года постановил, согласно с заключением министра юстиции, членов воронежского Губернского Правления освободить от суда и дозволить им снова вступить в службу; что же касается Кривцова, то хотя он в силу манифеста 22 августа 1826 года и освобождался от суда, но Комитет полагал, что «по обнаруженному им в деле сем строптивому и запальчивому характеру и крайне предосудительной опрометчивости неприлично и вредно для пользы службы оставлять его в звании начальника губернии».

Это решение Комитета Министров состоялось, как сказано, 22 марта 1827 г.; журнал Комитета был послан царю на утверждение; и вот, по роковому стечению обстоятельств, как раз в один из немногих дней, протекших между заседанием Комитета Министров и докладом царю о состоявшемся там решении по делу Кривцова пришел в Петербург тот всеподданнейший рапорт Бахметева о бесчеловечных истязаниях Кривцова по дороге из Нижнего в Тамбовскую губернию и о безвинной обиде, нанесенной им Зарембе-Рацевичу. 29 марта начальник главного штаба граф П.А. Толстой¹⁹³ сообщил министру юстиции содержание Бахметевской бумаги и приказа-ние царя, чтобы это дело было тщательно расследовано и о последующем донесено государю. Два дня спустя, 1 апреля, Николай утвердил решение Комитета Министров по воронежскому делу, а еще через день, 3 апреля, повелел причислить Кривцова к Герольдии.

Казалось, небо обрушилось на голову Кривцова. Его противники были кругом оправданы, он кругом обвинен; его выбрасывали вон, как ветошь: это был публичный позор, для такого человека стократ нестерпимый. В довершение у него была отнята аренда и велено взыскать с него те 100 000 рублей, которые были даны ему заимообразно перед женитьбою, так что срам и крушение карьеры еще мучительно отягощались материальным разорением.

Кривцов поехал в Петербург, хлопотал всячески, но ничего не добился; его не допустили даже, говорят, до дежурства во дворце как камергера. Убедившись, что надежды больше нет, он решил поселиться в женином имении Любичах, Кирсановского уезда Тамбовской губернии. Так весною 1827 года судьба, точно вихрь, разметала братьев Кривцовых по трем разным дорогам, погнав Сергея на годы в Сибирь, Павла на всю остальную его жизнь в Рим, Николая тоже до конца дней в Тамбовскую глушь. Какие муки бессильной ярости, горечи и стыда переживал Николай Иванович, нетрудно понять. «Экс-фаворит императора, экс-губернатор трех губерний, экс-богач, посещавший все дворы Европы и не последний в первых ее обществах, имевший блистательные и основательные надежды, бывший в родственных и дружественных связях и отношениях с первыми домами и лицами империи, с гордым, повелительным характером, с умом светлым, со знаниями обширными, с деятельностью непомерною, с несчастием в семейной жизни, с *Semper felix* в гербу — в 37 лет обречен был на житье в пустынной деревне». Это слова Сабурова⁸⁶; и он же сообщает, что по приезде в Любичи Кривцов прежде всего выстроил себе усыпальницу и в один год поседел как лунь.

Нижегородское дело тянулось целый год. Получив упомянутое выше предписание начальника штаба, министр юстиции командировал для собрания точных сведений на месте чиновника особых поручений при министерстве, действительного статского советника Аверина¹⁹⁴. Аверину были по чину выданы прогонные от Петербурга чрез Нижний Новгород до Тамбова и обратно в количестве 1314 руб. 24 коп., и сверх того на путевые издержки 2000 рублей, а всего 3314 руб. 24 коп. Аверин по возвращении в Петербург представил доклад о произведенном им дознании. Одновременно по предписанию генерал-губернатора Бахметева производил следствие нижегородский вице-губернатор. С обеих сторон обвинения, выставленные жалобою против Кривцова, подтвердились. 28 февраля 1828 года Комитет Министров по докладу министра внутренних дел постановил: Зарембу-Рацевича от ответственности освободить (и, очевидно, оставить на службе по-старому), а поступки Кривцова, хотя он и заслуживал бы выговора, оставить без дальнейшего замечания, так как он от должности губернатора уже удален. Царь утвердил это постановление, приписав собственноручно: «Но так как он Мне жаловался, что не знает, зачем удален от должности, то уведомить его о причине».

Поразительно, что Кривцов, по-видимому, совершенно забыл о происшествиях, случившихся по время его поездки в Тамбовскую губернию на Масляной 1827 года. Ему и в голову не приходило, что ему могут поставить в вину те его расправы с ямскими старостами. Так как он вскоре затем покинул Нижний, то возможно, что до него даже не дошло сведений о вчиненной про-

тив него жалобе, о присылке чиновника из Петербурга для производства следствия, и проч. Получив в конце мая 1828 года в Любичах лаконическое официальное уведомление о том, что Комитет Министров в заседании 28 февраля постановил оставить его поступки без замечания, он искренно недоумевал: какие поступки? и, перебирая в памяти немногочисленные эпизоды своего губернаторства в Нижнем, не находил за собою никакой вины.

Он, видимо, очень ослабел в это первое время своего изгнания. В письме, которое он 20 июня написал министру внутренних дел А.А. Закревскому^{195*}, плохо скрываема злорада борется с жалкой униженностью, какой в Кривцове нельзя было бы ждать. Вот что он писал.

«Милостивый Государь, Арсений Андреевич. Письмом от 30-го апреля № 1249 Ваше Превосходительство изволили извещать меня, что Комитет гг. Министров, вследствие внесенной от Министерства Внутренних Дел записки по представлению нижегородского Генерал-Губернатора Бахметева о поступках моих при проезде, во время бытности Нижегородским Гражданским Губернатором, чрез Нижегородский, Арзамасский и Ардамовский уезды, журналом 28 февраля состоявшимся положил: поступки мои оставить без дальнейшего замечания.

«Удивляюсь и не могу постигнуть причин, давших Г. Бахметеву повод в чем-либо жаловаться на поступки мои вообще относительно кратковременного служения моего под его начальством. Все усилия моей памяти не напоминают мне никакого с моей стороны важного упущения по службе. А как обвинения, заключающиеся в представлении Г. Бахметева, мне совершенно неизвестны, и по оным от меня никогда и никем никакого объяснения требовано не было, то удивляясь равномерно и суждению и резолюции Комитета гг. Министров, хотя освобождающих меня от всякой ответственности, но учинивших свой приговор, так сказать, без ведома подсудимого, побуждаюсь, в настоящем моем положении, всепокорнейше просить Ваше Превосходительство приказать доставить мне копии с представления Г. Бахметева и с записки, внесенной в Комитет гг. Министров от Министерства Внутренних Дел по сему предмету.

«Не простое любопытство влечет меня к таковому домогательству, но чувство незаслуженного оскорбления, стремящегося обнаружить козни гнусных клеветников, скрывающихся в мраке, свойственном презрительному их ремеслу, и успевших однако же чрез своих клеветов навлещи на меня негодование самого Государя Императора.

«Преисполненный истинного уважению к Особе Вашего Превосходительства, с достоверностью взываю к справедливости и прошу от Вас лишь законного удовлетворения, коего до ныне нигде и ни от кого получить не мог.

«Касательно причин, побудивших Правительство удалить меня от служения Его Императорскому Величеству, я благоговею пред приговором высочайше утвержденным, но увлекаюсь тем же чувством уважения к высоким добродетелям, отличающим ваше Превосходительство от прочих вельмож, осмелюсь представить у сего копию с записки, представленной

мною в свое время бывшему тогда Г. Министру Юстиции, и которая, как полагать должно, была оставлена без всякого внимания.

«Удостойте, Милостивый Государь, взглянуть беспристрастным оком на обстоятельства, в оной изложенные. Ныне я уже не имею другой цели, как оправдать себя лишь в глазах Ваших, ибо даю еще цену мнению честного человека.

«Удостоиваемый постоянно милостивым благоволением покойного Императора, я чист душою и прав делом пред Августейшим его преемником. Но сердца Царей в руке Божией... я не ропщу и не надеюсь; но здесь мы все смертны.

С глубочайшим почтением», и пр.

Закревский ответил ему, что решение Комитета Министров состоялось до его вступления в управление министерством, и как о содержании тех бумаг в свое время не признано было нужным сообщать ему, Кривцову, то он не считает себя в праве сделать это и ныне. Что же касается его устранения от губернаторства, то эта мера последовала по приговору Сената и высочайше утвержденному мнению Комитета Министров; поэтому он может только в частном виде принять участие в настоящем положении Кривцова.

Этой перепискою закончилась история служебной деятельности Кривцова в 20-х годах.

IX

Дурно придумано было при сотворении
мира, чтобы близким быть розно.

Из письма матери.

С.И. Кривцов и его три товарища прибыли в Читинский острог около 1 мая^{87 196*}, проведя в пути десять или одиннадцать недель (из Петербурга их увезли, как сказано, 10 февраля). По сравнению с другими осужденными, положение Кривцова было очень благоприятно: ему предстоял только год каторжной работы, а затем выход на поселение; он не оставил в России жены и детей; наконец, его родные были люди со средствами, так что ему нечего было бояться нищеты на поселении. Он был здоровый, спокойный, незлобивый человек и легко приспособлялся ко всякой обстановке.

Жизнь декабристов в читинском остроге столько раз описана во всех подробностях, что говорить о ней лишний раз значило бы повторять известное. Кривцов по-видимому легко перенес этот год полутюремной жизни. Он усердно обучал товарищей немецкому языку и забавлял их своим пением. «В первоначальном маленьком кругу нашем, — рассказывает А.Е. Розен⁸⁸, — развлекали нас шахматы и песни С.И. Кривцова, питомца Песталотци и Фелленберга; бывало запоет: «Я вокруг бочки хожу», то Ентальцев в восторге восклицает: «Кто поверит, что он в кандалах и в остроге?» а Кю-

хельбекер дразнил его, что «Песталоцци хорошо научил его петь русские песни».

Расставшись с сестрою и братом в Петербурге, Сергей Иванович затем почти год не получал никаких известий из дому. Мать и сестра многократно писали ему, адресуя на имя военного министра, но письма до него не доходили: каторжные были лишены права получать и писать письма. Первое известие о нем из Сибири родные получили в начале января 1828 года: это было письмо Елизаветы Петровны Нарышкиной^{197*} к сестре Кривцова, Анне Ивановне, от 24 октября 1827 г.; она писала, что он здоров, что два раза в день проходит мимо ее окон. Горькими и радостными слезами облила мать этот драгоценный листок. Она не верила своим глазам, читая письмо. «Не знаю слов, как выразить мою благодарность Елиз. Петр. — Я ее теперь иначе не называю, как моим ангелом-утешителем. — Скажу тебе, мой друг, с тех пор как сестра поехала к тебе в Петербург, никогда не видела тебя во сне, чего бы мне очень хотелось, но перед тем, как получить мне о тебе известие, с неделю всякий день тебя видела. Это мне теперь будет знаком известие получить». Она написала Нарышкиной, благодаря и благословляя ее, и просила ее крестить его из окошка: «тогда знай, — пишет она сыну, — что она за меня тебя крестит». Потом еще раз повторилось то же предзнаменование: в начале февраля и мать, и дочь несколько раз видели во сне Сергея, и утром сообщали друг другу свои сны, и плакали, — а 4-го числа пришло письмо от Александры Григорьевны Муравьевой с добрым известием о нем. Теперь они могли писать ему с надеждой, что письмо дойдет до него: Нарышкина сообщила им сибирский адрес, а Муравьева писала, что срок его каторги скоро кончается.

Он вышел на поселение, по-видимому, в первых числах мая (1828 г.). 15 числа этого месяца он написал им из Красноярска первое письмо, слишком бессодержательное после столь долгого молчания, написанное явно в подавленном состоянии. Да и было от чего придти в уныние. Он пишет, что по приезде в Красноярск узнал о своем назначении в далекий Туруханск, и что ждет только прибытия из Читы товарищей, чтобы вместе с ними быть отправленным туда. Мать, получив это письмо 30 июня, не поняла, конечно, что значит ссылка в Туруханск; она была счастлива снова увидеть его почерк. Но одно она поняла: что наступил последний акт его жизни, его последний, безвозвратный путь; на последней странице его письма она написала своим дрожащим почерком четыре старинных стиха:

О, край родной, поля родные!
Мне вас уже боле не видать!
Вас, гробы праотцев святые,
Изгнаннику не обнимать!

Еще в декабре Сергею были посланы из Тимофеевского 500 руб. и 20 картузов^{198*} табаку «Гишар», который, «помнится», он курил; потомшили белье и платье, мать навязала носков, — но и деньги, и вещи он полу-

чил уже долго спустя. В Красноярске он пробыл до конца мая. 2 июня он писал уже из Енисейска, что благополучно прибыл туда сухим путем со своими двумя товарищами, Аврамовым^{199*} и Лисовским^{200*}, а сейчас с ними же отправляется дальше, в огромной крытой лодке вниз по Енисею — в Туруханск, «где навсегда суждено мне проститься со всеми возможными путешествиями». Он пишет сестре в этом письме, что из Читы до Иркутска он ехал с Захаром Чернышевым; они надеялись, что их поселят вместе, — но их разлучили. «Тебе дружба наша известна и потому легко можешь судить, как тяжело было мне с ним расставаться. Я не в состоянии, милая сестра, описать тебе все ласки, которыми они (то есть З. Чернышев, его сестра А.Г. Муравьева и Никита Муравьев) меня осыпали, как угадывали и предугреждали они мои малейшие желания. Пожалуйста, если ты увидишь кого из их семейства, то изъяви им мою благодарность. Александре Григорьевне напиши в Читу, что я назначен в Туруханск, и что все льды Ледовитого океана никогда не охладят горячих чувств моей признательности, которые я никогда не перестану к ней питать. Я еду отсюда в Туруханск, почти на границу обитаемого мира, где льды и холод, подобно Геркулесовым колоннам, положили пределы человеку и говорят: *non plus ultra**».

20 июня 1828 года, после 17-тидневного плавания, Кривцов с товарищами прибыли в Туруханск. В июле мать писала ему: «Я знаю, мой друг, что тебе хотелось иметь мой портрет, то я познакомилась с князем Дмитрием Борисычем Голицыным^{201*}. Он мне сказал, что он тебя знал в Петербурге. Так он хорошо рисует и обещал меня списать совершенно для тебя, моего друга; будет стараться как можно похоже написать и с 23-го числа сего месяца начнет, и как скоро кончит, так и пришлю. Как бы я желала, мой друг, иметь твой, но теперь и думать невозможно, бывши в таком необитаемом месте; там, я думаю, не только артисты есть, но даже и людей мало». — Это дело расстроилось, Голицыну пришлось спешно уехать, и портрета он не написал; но меньше чем через месяц в Тимофеевском был получен от А.Г. Муравьевой портрет Сергея, писанный Читинском остроге Н.А. Бестужевым^{202*}. Этот портрет цел поныне в своей старинной рамке. Если подумать, как много в течение долгих лет разлуки смотрели на него со слезами глаза матери, — кажется, что в нем осталась часть ее души.

Далекый, нерусский край, куда бессмысленная жестокость загнала Кривцова с товарищами, беспримерно суров и печален. Там в восьмимесячную жестоку зиму день длится не более трех-четырех часов, а по ночам на небе горит и ширится, меняя краски, северное сияние, и время кажется людям одной бесконечной ночью; все мертво в природе, только пурга вдруг закружит свой бешеный пир и бушует день, два, три, пока не выбьется из сил и замрет на короткий отдых. Весною и осенью там непрерывно свирепствуют ветры, сменяя снег дождем и распространяя убийственную мглу, а в короткое жаркое лето почти нет ночей, только двухчасовые сумерки, когда солнце бледным шаром спускается к горизонту; тогда

* Далее некуда: до последних пределов (лат.).

воздух нестерпимо тяжел от гнилых болотных испарений, и мириады комаров отравляют жизнь человеку. Зимой здесь свирепствует скорбут, летом горячка, натуральная оспа не переводится среди инородцев. Самый Туруханск расположен в устье реки Турухана на беспредельной равнине, среди гнилых болот, в 1084 верстах от ближайшего города — Енисейска. Он возник из зимовья, построенного казаками в начале XVII столетия. Когда-то здесь процветала торговля пушниной, но с течением времени край обеднел, и Туруханск пришел в упадок; в 1822 году он был переименован из окружного города в заштатный, и с тем вместе, по выражению местного историографа, «как бы закрылись все жизненные его силы: строения начали разрушаться, народонаселение от разных причин умалилось, и среди его появилась бедность; торговая деятельность почти прекратилась»⁸⁹. Кривцов застал Туруханск уже обезлюдившим, полуразрушенным; из 60 из треть была брошена за ветхостью, около 25 являли доказательство лени и выносливости обитателей, которые, несмотря на лютость здешней зимы, продолжали жить в этих полуразвалившихся лачугах, и только около 15 можно было по нужде признать годными для жилья. Единственная кривая улица была даже в разгаре лета так топка, что если бы не узкие мостки, по которым непривычному человеку приходилось с трудом балансировать, то нельзя было бы перейти из дома в дом. Население Туруханска составляли главным образом казаки, жившие здесь, как и всюду в Сибири, своими домами; они получали небольшое жалованье и провиант и употреблялись для всевозможных административных надобностей: возили почту, доставляли хлеб, смотрели за местными магазинами, из которых продавался хлеб инородцам. Их было в Туруханске до сотни, но так как большинство всегда были раскомандированы, то в городе редко оставалось из них и 15 человек; если прибавить к ним еще около 30 мещан, то этим и ограничивалось все взрослое мужское население. В здешнем климате, где ртуть стоит выше нуля не более 60 дней в году, хлебопашество невозможно; даже ячмень не успевает вызреть, капуста не может завязать кочня; в жалких огородах сажают только репу, редьку, свеклу да картофель. Рыбы в Туруханске ловилось мало, по отсутствию удобных мест для рыбной ловли, зверя тоже поблизости нет, или русские поселенцы не умели охотиться за ним; и жили они в беспробудном пьянстве, в праздности и нищете, перебиваясь казенным пайком. О степени их культурности легко судить по одному сообщению, которое делает в своей книге «Енисейская губерния» (1835 г.) А.П. Степанов^{203*}, бывший енисейским губернатором как раз в то время, когда здесь жил Кривцов: «В Туруханске есть одно замечательное озеро. Оно наполнено отвратительными вшами, которые, так сказать, кишат в нем. Несмотря на то, жители, по лености ездить на Турухан, протекающий в 4 верстах от посада, или на озеро, в ближайшем расстоянии от него лежащее, черпают воду из сего озера для обыкновенного употребления, процеживая только ее через ветошку; а чтоб очистить желудок, пьют ее с самыми насекомыми. Одно из них, увеличенное в Доландов микроскоп, обнаруживало хобот»^{90 204*}.

Кривцов, Аврамов и Лисовский наняли сообща одну небольшую комнату и принялись заводить хозяйство. Денег у них было мало, только то, что привез с собою Кривцов, потому что Аврамов и Лисовский ничего не получали от родных; и все время, пока Кривцов оставался в Туруханске, они жили вместе и на его средства⁹¹. Не успели оглянуться, не успели даже как-нибудь разместиться в тесноте, как прошло лето; да оно и всего состояло из 10 или 12 теплых дней, к тому же комары и мошки с непривычки сильно донимали. С 8 августа начались морозы, задули порывистые ветры, нанося холодный дождь со снегом. Остаться в убогой лачуге на зиму было нельзя; в начале сентября наши трое поселенцев наняли за сравнительно дорогую цену лучший в Туруханске дом, состоявший из двух маленьких комнат и кухни. Хотя и здесь не было у каждого своей комнаты, но по крайней мере каждый имел свой стол: они и этого удобства уже два года не знали. Купили они на зиму несколько коров — одну на молоко, остальные на убой. Деньги были на исходе, а из дому даже писем не было. Почта приходила и уходила по разу в месяц, и Кривцов регулярно каждое 5-е число отправлял письмо. Он довольно подробно описывал Туруханск и местные условия жизни, ничего не утаивая, но в спокойном тоне, иногда с шуткою, чтобы не напугать мать. Впрочем, он действительно относился к своему положению стоически. Жалуясь на неполучение писем из дому, он прибавляет: «Впрочем, судьба так странно и своевольно со мною играет, что, мне кажется, довольно, чтоб я сильно чего пожелал, чтоб именно того не случилось. Так часто был я обманут в своих ожиданиях, что теперь, *laissé de tout, même de l'espérance**, я перестал желать и ожидать, а просто живу со дня на день. Жизнь такая, хотя и указана нам Евангелием, но признаюсь, что настоящее (не только мое, но даже приятное) без будущего — вещь весьма скучная. Впрочем, я не люблю мыслей такого рода и всячески стараюсь отстранить их от себя». И по другому поводу он пишет: «перестав ожидать и желать, я купил себе тем право не страшиться будущего».

Он оставался в Туруханске без писем три месяца; наконец, 20 сентября сразу пришло два письма из Тимофеевского — от начала и середины июля. С этих пор письма более не пропадали. Письмо шло в среднем три месяца, но разливы рек или неисправность почты нередко удлинляли его путь еще на целый месяц. Но следует помнить, что в то время и отношение к письмам было другое, чем теперь; тогда скорость передвижения писем, как и путников, измерялась не днями, а неделями.

Как ни просты и спокойны были письма Сергея, мать обливала их слезами, и в долгие промежутки между письмами мысль ее непрестанно вилась над сыном в далекой нелюдимой стране. Он описывал тот край и свою жизнь только в общих чертах, без всякой наглядности, но перед ее взором эта тусклая картина расцветивалась тысячью конкретных подробностей, — она *видела* его жизнь силою воображения. Чем сильнее любовь, в особенности страдающая, тем ярче конкретнее, подробнее воображение раз-

* Оставленный всем, даже надеждой (*франц.*)

рабатывает мысленную картину, и наоборот, если эта картина суммарна и бледна, это верный знак, что любви не много; оттого любовь матери стооко-предусмотрительна, и оттого так четко и детально воображение художника. Сила воображения — как бы внешний термометр, по которому безошибочно можно измерить напряжение любви.

Письма Веры Ивановны очень однообразны: в них беспрестанно повторяются те же немногие мотивы, почти все в тех же словах. В ее душе мало чувств, в уме мало мыслей, и чувства эти и размышления до крайности незатейливы. Но подобно тому, как царь Соломон во всей славе своей не сравнится по красоте с полевым цветком, так и простота Веры Ивановны глубже и прекраснее всякой хитроумной мудрости. У нее мало чувств, но каждое из них неисторжимо коренится в ее душе, и мысли ее все рождены этими чувствами; ничего формального, что может и быть, и не быть, но все полновесно и внутренне-принудительно, как в самой природе; и оттого ее простые слова обладают такою существенностью, какой разве в минуты вдохновения может достигнуть великий художник. Ее письма не только прекрасны, — они глубоко поучительны, потому что в них открывается одно из тех органических мировоззрений, в которых есть зерно подлинного знания о существе вещей. Таков Платон Каратаев, гениально выдуманный Толстым; но Вера Ивановна лучше его, потому что она действительно существовала и еще теперь говорит к нам своими письмами.

Вот одно из ее писем к сыну — и таковы они все. «Я покойна, мой друг, и тепла и сыта, но скажи же мне, как ты живешь и какая у тебя пища? Когда пишешь, что даже капусты нету, то что же может быть? а также климат, болезни — все это терзает мою душу. Хотя ты, мой друг, и пишешь, чтобы я не беспокоилась насчет твоего здоровья, но какое же здоровье может устоять против такой жестокости во всем? Вот, мой друг, я опять поколебалась, но уверена, что Бог по милосердию своему меня простит как мать, понеже его святая мать и та рыдала при его распятии, а мы ничто как тварь. Прощу тебя, мой друг, пиши ко мне всю правду, имеешь ли ты хотя теплую хижинку к зиме, и чем вы питаетесь, а также каковы твои товарищи, откуда уроженцы, имеют ли родных, которые бы им помогали, а также скажи, кто такой ваш заседатель, русский или казак? Я здорова и желаю жить для тебя, моего друга, и непрестанно молить о тебе милосердного Творца нашего, да даст он тебе новые силы переносить с кротостью и терпением твое несчастье».

Таково обычное содержание ее писем. На вид обыкновенные материнские слова, выражения элементарных чувств скорби, любви и веры; но стоит прочесть ряд таких писем на протяжении нескольких лет, и становится ясным, что каждая из этих упорно повторяемых фраз полна определенного и значительного содержания; мы сейчас увидим — какого.

Вера Ивановна живет то у одной, то у другой дочери; дочери ее любят и холят. Она не вмешивается в житейские дела и мало интересуется ими, хотя и многое понимает ясно. О житейском она почти и не пишет: нечего, да и не к чему. Сообщая однажды Сергею, по его просьбе, сведения о ценах

на хлеб, собранные ею явно *ad hoc*^{*}, она заключает: «вот, мой друг, что знаю все тебе написала, а более право ничего не знаю, и тем лучше». Она пишет о себе не раз: «мирское мне все чуждо». И о себе она почти не пишет, потому что нечего писать. «Я слава Богу здорова, провожу свое время по обыкновению, то есть молюсь за вас Богу и вяжу носки тебе и Паше». Вязать чулки — это единственное, что она еще может делать, потому что с 1826 года она почти ослепла от слез; зато уже вязанья чулок для Сергея она никому не уступит, — так она сама говорит; скорее задержит посылку до следующей почты, если не успела сама навязать что требовалось. Впрочем живя у дочери Лизы, небогатой многолетней вдовы, она еще занимается с внучкой Сонюшкой по-французски. Так ее внешняя жизнь сведена к наименьшему. Зато ее душевная жизнь полна и сложна: ее наполняют, чередуясь, два дела: думать о Сергее, и молиться о нем и о других детях, но преимущественно все-таки о нем.

Она думает о нем непрестанно, сердце болит за него. Сегодня мороз 30° — каково же там! Да еще вечная ночь; есть ли у них дрова, и чем они освещаются? — верно там и свечей нету. Она до такой степени в мыслях полна им, что для нее вполне естественно оговориться и 1 декабря написать ему: «поздравляю тебя с *наступившим* новым годом», потому что когда она пишет ему письмо, она почти физически говорит с ним, и у нее двойится сознание: не то она говорит с ним сейчас, пока пишет, не то в марте, когда он будет читать ее письмо. Она скорбит несказанно, и нисколько не скрывает этого от сына, потому что выражение ее скорби о нем — она знает это — ему нужно, как ласка, как знак ее непрестанного присутствия при нем; притом она ничего не таит от него, ее душа должна быть пред ним открыта, иначе какой бы она была ему друг! а она все письма свои к нему неизменно кончает словами, тоже весьма существенными: «...и буду во всю жизнь мою *твой верный друг и мать Вера Кривцова*». Но скорбь ее — особого рода: есть какой-то неуловимый предел, до которого Вера Ивановна позволяет себе доводить свою скорбь (а скорбь, как и всякое сильное чувство, стремится к беспредельному расширению); дойдя до этого предела, она усилием воли снова овладевает собою, и потому она остается благообразной и в самом страдании.

Дело в том, что Вера Ивановна, как всякий мог заметить, была очень религиозна. Она жила в твердом убеждении, что Бог управляет миром по мудрым и неизреченным своим замыслам, так что то, что нам кажется случайностью, есть только акт Божьей воли. Поэтому человек, застигнутый бедою, должен со смирением переносить свое несчастье; уныние же и ропот — великий грех, потому что уныние — это сомнение в благости или мудрости Божией, а ропот — возмущение против Божией воли. По строгой вере человек в сущности не должен бы и скорбеть, ибо все, что с ним случается, определено ему Богом; однако нельзя не уступить немощи человеческой, нельзя не поскорбеть — но только до той черты, где начинаются от-

* Именно для этого случая (*лат.*)

чаяние и ропот, иначе впадешь в смертный грех. Вера Ивановна пишет сыну: «Без ужаса не могу подумать о месте твоего пребывания. Но чувствую, мой друг, сама, что это не что иное, как слабость наша», или, как выше, после жалоб на жестокость Туруханской жизни: «Вот, мой друг, я опять поколебалась, но уверена, что Бог по милосердию своему меня простит как мать, понеже его святая мать и та рыдала при его распятии, а мы ничто как тварь». И неизменно, после слов жалобы, она прибавляет: да будет воля Твоя. «Как все соображу, теперешнюю твою жизнь, то истинно приводит в отчаяние. Но да буди воля Его святая»; и так сотни раз. Это — тот самый ход религиозной мысли, который побуждал царя Алексея Михайловича писать кн. Одоевскому^{205*}, перенесшему семейное горе: «И тебе, боярину нашему и слуге, и детям твоим через меру не скорбеть, а нельзя, чтоб не поскорбеть и не прослезиться и прослезиться надобно, да в меру, чтоб Бога наипаче не прогневать».

Но надо присмотреться еще внимательнее. Что такое Бог в мыслях Веры Ивановны? Материальное ли всемогущество, грозный Бог-вседержитель, требующий послушания даже до безропотности? И что такое для нее грех? непокорность господину, влекущая за собою наказание? — И да, и нет. Сознание Бога, как Творца, Вседержителя и Судьи, составляло, разумеется, основу ее мировоззрения, — иначе религиозная вера и невозможна; но этим еще не определяется *содержание* ее веры: все дело в том, как мыслит человек природу божественной силы и способы ее воздействия на жизнь. И вот, поразительно, что во многих десятках писем Веры Ивановны на протяжении многих лет не встречается ни одной фразы, в которой можно было бы подметить материальный страх Божий или материальную надежду на Бога: дескать «Бог накажет несчастием» или «Бог даст удачу». Только *один* раз за все годы она написала (и надо обратить внимание на не-религиозный, человеческий смысл подчеркнутого мною слова): «Иногда *мечтаю*, что Бог умиласердится над нами и буду опять тобою, моим бесценным другом, утешаться»: но никогда она не пишет: молю Бога, чтобы он опять соединил нас, или — надеюсь, что Бог вернет мне тебя. В ее чувстве Бог вообще представляется лишенным всяких материальных функций: он дух, и только дух.

Вера Ивановна без сомнения и не подозревала, что она обладает совершенно законченной и цельной системой религиозных понятий, и еще менее она могла бы систематически изложить свое богомыслие. Она жила им, почти не чувствуя его, как рыба не чувствует состава морской воды, в которой она живет. Это глубокое и возвышенное мировоззрение не в ней родилось, но она родилась в нем, — только, может быть, известная тонкость духовной организации или житейские испытания довели в ней, как наверное и во многих других, до большой ясности ту самую религиозную идею, которая сложилась далеко задолго до нее в русском народе, которою более или менее жили ее предки и жило все вокруг нее. Подобно Платону Каратаеву, она важна для нас не в качестве своеобразной личности, а именно как

яркое личное воплощение всенародной мысли, как одна чистая капля из глубины народного моря, по которой можно узнать его состав.

Все ее отношения к Богу определяются тем коренным ее сознанием, что Бог есть средоточие и источник духовной силы в мироздании, то есть не Дух, правящий миром извне, как самодержец, и не имманентный дух пантеизма^{206*} или нынешнего панпсихизма^{207*}, а как бы вместилище или сфера чистой духовной энергии, откуда совершается все духовное питание твари. Оттого Бог, как чистая духовность, — весь любовь и благодать: отношение человека к Богу не только лишено всякой материальной окраски, но еще и совершенно свободно. От такого Бога, разумеется, нельзя ждать ни наград, ни наказаний в вещественном смысле; смешно и молиться ему об устройении житейских дел. Но из него притекает в нас духовная сила, поскольку мы сами того пожелаем; значит наша воля в отношении к Богу вполне свободна, но Бог никогда не отказывает нам в своем даре, как только мы попросим. Молитва и есть призыв к Богу о подаче нам духовной силы, и другого смысла молитва не имеет. С тем вместе определяется и понятие греха; грех не есть материальный поступок, но единственно состояние души, а именно то состояние, когда душа, оскудев силою, как бы запирается на ключ перед Богом, сознательно отказывается воззвать к нему о подаче новой меры сил. Прекратить свое общение с Богом — это смертный грех, и вовсе не в мистическом, а в буквальном смысле слова, то есть такой, который реально губит и убивает человека, потому что, прекращая приток свежей духовной силы в себя, человек лишается питания, все равно как ребенок в утробе матери, если случайно разрушится пуповина. Совершенно ясно, что здесь религиозное без остатка растворяется в психологическом, ибо в основе этих представлений очевидно лежит чувственная уверенность, что в человеческой душе существуют неисчерпаемые запасы духовной энергии, без сравнения более могущественной, нежели та, которою он вседневно живет, и что усилием воли он может часть этой подспудной силы переводить вверх, в сферу своего действенного сознания. В Вере Ивановне эта чистая религия сочеталась с твердой верой церковною; они и по существу не исключают друг друга, потому что на известном уровне развития внешние религиозные символы так же необходимы ради слабости человеческой, как неизбежны скорбь и слезы в страдании. Вера Ивановна разумеется никогда не анализировала себя и, стоя за обедней, не отдавала себе отчета в том, какому Богу она кладет поклоны — традиционному ли Богу, правящему миром с неба, или непостижимой духовной силе, лежащей в ней самой. Но в действительности она молилась только последнему и в него одного верила крепко и свято. Я уже говорил, что она никогда не просит Бога о вещественном. Она просит только: подай мне силу и терпение переносить скорбь; и когда она, кроме того, просит Бога о том же и для Сергея — что с психологической точки зрения может показаться нелепостью, так как добыть у себя из-под спуда часть своей скрытой силы может усилием воли или молитвою только сам нуждающийся в ней, — то и здесь нельзя разобрать: есть ли это в Вере Ивановне остаток обычного взгляда на

молитву, или же ею руководит глубокая, чисто-психологическая мысль, что в этом трудном деле самоукрепления сочувствие близких есть большая поддержка для человека. Недаром она не про себя только молится о нем, но неизменно в каждом письме пишет ему: «молюсь о тебе», то есть молюсь о подаче тебе кротости и смирения, — и в таких ее фразах, как: «люблю тебя, мое утешение, как всегда любила, и непрестанно молюсь об тебе», вторая половина фразы преследует ту же цель, как и первая, — оказать ему нравственную поддержку: то есть «ты знай, что я люблю тебя, знай, что всей душою сочувствую твоей душевной борьбе».

А молится она всегда об одном и том же: подай силу и крепость. Положение сына, опасности, грозящие его здоровью, ее пугают; но превыше всего ее пугает, как бы эти тяжелые условия жизни не ввели его в отчаяние, — как бы он не заупрямился черпать из божественного вместилища новые духовные силы взамен убывающих. Она неусыпно стоит над ним и твердит настойчиво, упорно, умоляюще: «Умоляю тебя, моего друга, не оставляй своей надежды на Всевышнего и не теряй бодрости духа, которую ты до сих пор имел, и возложи совершенно всю скорбь и печаль свою на Господа»; «Друг мой, умоляю тебя, не предавайся унынию, уныние есть великий грех, но и возложи всю печаль свою на Господа, он тебе будет помощник и покровитель»; «Уповай на Господа, он нам всем помощник и покровитель»; «Еще тебя, мой друг, прошу, будь тверд в вере и возложи всю скорбь свою на Бога и будь уверен в его милосердии»; «Прошу тебя, как сына, умоляю как друга, не предавайся отчаянию; будем, мой друг, вместе возсылать наши моления к Создателю нашему, да ниспошлет нам крепость и терпение сносить нашу горестную разлуку и обратить свой гнев на милость». И так в *каждом* письме неупустительно: все та же одна горячая молитва о притоке новой душевной силы, и больше ни о чем, ибо только этим одним жив человек. И сама она просит у Бога не здоровья сыну, не облегчения его участи, но только этого, важнейшего. «Я слава Богу здорова, хожу к обедне, молюсь непрестанно о тебе, моем милым друге, да подаст тебе Спаситель крепость в вере и избавит от всякого искушения и уныния»; это повторяется в ее письмах десятки раз. Она даже придумала формулу такой молитвы, и дважды сообщает ее сыну: «Скажу тебе, мой друг, мою молитву, которую я всегда читаю: Господи, если тебе угодно испытывать меня и детей моих, то дай нам терпение переносить наше несчастье без ропота, но с кротостью и благодарением. Читай, мой друг, и ты ее». Она никогда не утешает его, в ее письмах нет даже намека на шаблонные религиозные рассуждения. Ей не до слов, — она мать, ее сын в смертельной опасности, и она, в смертельном же страхе за него, кричит ему одно: держись, собери всю свою силу, иначе ты погиб. Вот почему ее слова так потрясающе-существенны, когда она говорит ему о крепости и терпении, так деловиты и просты. Мальчик упал в колодезь и ухватился за каменный выступ над водою, и мать, прибежав, в ужасе глядя на него сверху, кричит ему: держись, собери все силы! — точно так, деловыми словами, твердит Вера Ивановна Сергею о крепости и терпении; для мальчика выпустить камень значит погиб-

нуть, для Сергея погибнуть — это закрыть свое сознание, с убывающей в нем от невзгод духовной силой, для притока новых волн духовной силы. «Ты, мой друг, пишешь, что Евангелие с тобой неразлучно, то может ли тебе придти какое смущение или уныние, читавши всегда оное? Ты, мой друг, пишешь стих: Придите ко мне, все труждающиеся, и аз упокою вы, а я тебе скажу: Возьмите иго мое на себе и научитесь от мене, яко кроток и смирен сердцем, и обрящете покой душам вашим; иго мое благо и бремя мое легко есть. И вообрази себе, мой друг, как странно случилось: я читаю всякий день по порядку Евангелие; тот день, как получить твое письмо, то мне пришлось самое это Евангелие читать, и я теперь положила всякий день не в счете дневных это читать».

Как я сказал уже, этот Бог-дух в сознании Веры Ивановны тождествен с Богом-Творцом, Вседержителем и Судьей, о котором учит церковь; но он сохранил только те, самые общие черты последнего, которые не противоречат существу Бога-духа. Он и материально правит миром, но к благу; он карает, но только духовно и только за духовные грехи, вещественное же горе есть только способ наказания, но не самая кара. Житейская философия Веры Ивановны много раз высказывается в ее письмах. Человек должен решаться и действовать по крайней силе своего разума, но, раз решившись, он должен без ропота принять последствия своих поступков, потому что во всяком решении нами руководит Бог, сам же человек никогда не может знать, ко благу или ко вреду для себя он решается так, а не иначе. Она предприняла важный и рискованный шаг к облегчению участи Сергея; легко себе представить, как всесторонне она обдумала все возможные последствия своего предприятия, — и решение ее, как мы увидим в дальнейшем, действительно было очень умно; но, узнав, уже *post factum*, что Сергею хотелось иного, нежели она для него добилась, она тем не менее не раскаивается в своем поступке; выразив сожаление о том, что он раньше не написал ей своего желания, она прибавляет: «Но на все это воля Всевышнего; он нами руководствует, и положим, мой друг, всю нашу надежду на него и вверим нашу участь ему; он лучше все устроит по своей благодати». Все мирское в ее сознании Бого-осмысленно, непостижимо-разумно; нет случайности, нет зла, но все в разумении Бога целесообразно и благобно. Ее собственная «несносная горесть» тоже несомненно и разумна, и блага, а в каком смысле, этого нам не дано знать — «и тем лучше», сказала бы она, как в том письме о хлебных ценах. Вероятнее всего, что это, как учит церковь, — наказание за грехи, и если уж выбирать из двух, то конечно за ее грехи. «Пишешь ты, мой друг, что ты говел и, приступая к Святым Тайнам, просил у меня прощенья из глубины души. Друг мой, ты передо мною никогда не был виноват; я кроме утешения и почтения и любви твоей к себе ничего не видала; но за грехи *мои* Богу угодно было лишить меня сего утешения, и все миновалось как сон». Может быть она действительно так думала, а может быть это опять с ее стороны — педагогика. Ее письма к сыну вообще исключительно и обдуманно педагогичны, сообразно той огромной важности, какую она придавала его душевному состоянию.

Так она сохраняет красоту в самом страдании. Поплачет тихо, и овладеет собою: «да буди воля Его святая». Скорбь ее кротка и светла. Прошло уже три почтовых срока, от Сергея нет писем; столько месяцев! Страх томит ее, но она все-таки не ропщет, только кроткий вздох против воли срывается с ее уст: «Ах, мой друг, как жестоко жить в такой дальности с теми, кого любишь более всего на свете», и опять: «но да буди воля Его святая». Ее душа, младенчески простая, подвластна суеверию, но только светлому, знаменующему благое. Для нее не простая случайность, что в тот день, как пришло письмо от Сергея с цитатой из Евангелия, ей случилось прочитать ту самую главу Евангелия, которую он цитирует. И сны имеют для нее торжественный смысл. Я уже приводил один ее сон, а вот еще: «Скажу тебе, мой друг, очень, очень давно не видела тебя во сне, а 20 декабря вижу тебя и Пашу будто в любезном нашем Тимофеевском, и вы собираетесь куда-то ехать, и к вам обоим принесли хлеб и соль на дорогу Моховицкий и Каменский прикашики; все мне говорят, что это очень хорошо. А еще видела, будто сажаю рой в улей; и это мне сказали, что Бог даст, что я вас, мои милые друзья, соберу в одно место к себе, в чем и не отчаиваюсь на милосердие Божие».

Она пишет слово «Бог» неизменно так: *бохъ*.

Х

Начальство к нам добрее стало —
Получше отвело тюрьму.

Некрасов

Каждое письмо к Сергею из Тимофеевского состояло из двух частей: по-русски, старинным и старческим почерком, с слуховым, а не грамматическим правописанием, писала мать; по-французски, тонким женским почерком и прекрасным слогом, писала сестра Анна, девушка под 30 лет, на три года старше Сергея. Она горячо любила брата; ее письма полны страстной боли за него, тревоги и нежности, точно вся ее душа мятежно рвется к нему чрез тысячи верст. Мать подчас даже ревновала к ней сына; однажды она в конце своего письма к нему приписывает: «Пиши пожалуйста письма, чтобы я могла свое отдирать от сестрина, ибо мы часто с ней спорим: она себе хочет прятать, а я себе». Но Анна, писавшая обыкновенно после матери, тут же под строкою приписала по-французски: «Не делай себе заботы из этого, это глупости».

Анна, по-видимому, ждала только известия о выходе Сергея на поселение, чтобы привести в исполнение мысль, созревшую у нее еще в самом начале. 20 июля 1828 г. она пишет ему, что теперь, когда срок его каторги кончился, Государь вероятно не откажет ей в дозволении ехать к нему; с другой стороны, и ее больше ничего не удерживает в России, так как с выходом Софьи замуж мать может жить у Софьи. Но прежде, чем писать к Государю, она дол-

жна иметь его согласие. Она напоминает ему разговор, бывший между ними еще в Петербурге: она тогда сумела убедить его, что лишения, которые она должна будет перенести, последовав за ним в Сибирь, ей не страшны, и они условились тогда, что она останется дома только до тех пор, пока мать будет нуждаться в ней, то есть пока Соня не выйдет замуж. Теперь это условие исполнено; ей нужно только некоторое время, чтобы скопить денег на дорогу — может быть, год, — пусть же он скажет ей, желает ли он ее приезда. «Скажи мне, — пишет она (по-французски), — будет ли для тебя некоторым утешением, если я приеду разделить твою участь? Я же буду счастлива там, где ты живешь. Сережа, я много думала об этом, поэтому не говори мне, что я не знаю, чему подвергаю себя: я готова на все. Но я боюсь стать тебе в тягость, потому что совершенно не знаю, в каких условиях вы живете».

Сергей отвечал ей на это письмо (тоже по-французски) 5 октября. Он писал, что решение стоило ему трудной борьбы с самим собою: он был бы счастлив, если бы ее план мог осуществиться; но он одержал верх над собою, и отказывается от этого счастья. Он верит, что она в силах справиться со всеми трудностями и лишениями, допускает даже, что, любя его, она будет внутренне счастлива, живя с ним; но подумала ли она *о нем*? «Смогу ли я быть спокоен, видя тебя отрезанной от всего, что тебе мило, и чувствуя себя единственной причиной этого? Подумай: каждый твой вздох, каждая слеза, пролитая тобою совсем по другой причине, будут для меня неиссякающим источником мученья. Подумай о том, что, даже видя тебя спокойной, я буду подозревать тебя в неискренности, буду слышать в каждом твоём слове затаенное страдание, которое ты тщетно силишься скрыть от меня. А что будет со мною, если ты не выдержишь здешнего климата и всех лишений, которые тебя ожидают, — если ты заболеешь, и я, бессильный помочь тебе, должен буду ежеминутно упрекать себя за твои страдания?»

Анна не поехала к брату. Она и мать уже давно обдумывали способы добиться перевода Сергея из Туруханска, и теперь, в промежуток между письмом Анны к Сергею и получением его ответа ей, они как раз были всецело поглощены этим делом. В конце декабря Анна Ивановна написала сестре Захара Чернышева, Анне Григорьевне, по мужу Кругликовой^{208*}, спрашивая у нее указаний, как пишутся прошения на имя императрицы. Кругликова прислала ей примерную форму такого прошения, а о брате Захаре сообщала в своем письме, что вчера получено известие о том, что Государь, вняв просьбе отца, графа Чернышева^{209*}, перевел Захара рядовым на Кавказ. Это известие, разумеется, сильно ободрило Кривцовых; решено было тотчас послать прошение. Сергею об этом ничего не писали, чтобы не тревожить его прежде времени, но Анна Ивановна еще в ноябре как будто мимоходом осведомилась у него: «если бы тебе предоставили самому выбрать место жительства в пределах Иркутской и Енисейской губерний, где ты желал бы поселиться?» Дело в том, что по тщательном обсуждении, они решили просить о перемещении Сергея не на Кавказ, куда — как они знали — уже были переведены рядовыми некоторые из осужденных по делу 14 декабря, — а только в какое-нибудь более обитаемое место в пределах

той же Сибири, потому что они опасались, чтобы при его потрясенном здоровье резкий переход из холодного климата в жаркий не оказался для него пагубным. Но они и не стали дожидаться Сергеева ответа: в начале января (1829 года) Вера Ивановна отправила прошение к императрице, составленное в указанном сейчас смысле.

Даже по осторожным письмам Сергея Ивановича к матери можно понять, как трудно далась ему и его двум товарищам туруханская зима. Он еще осенью получил из дому деньги, табак, чай и белье, с осени же сделал запасы на зиму; изба у них была, по-видимому, теплая, для хозяйства была нанята кухарка, баба лет 50-ти, так что особенных материальных лишений они не терпели. Но мучительно было это сонное прозябание в трехмесячную зимнюю ночь, когда, теснясь втроем в двух маленьких комнатках, при тусклом свете *тогдашних* свечей, по неделям не решаясь выйти на лютую стужу, они томились без воздуха, без движения, без всяких впечатлений. Ноябрь и декабрь Кривцов проболел скорбутом; родные узнали об этом только много позднее, сам же он по весне писал им, что был «немного нездоров, чувствовал какую-то слабость, которой, как думаю, причиной была сидячая жизнь». «Вы себе представить не можете, — писал он матери, — какое неприятное влияние имела на меня так называемая здесь темная пора. Бывало целый день ходишь как сонный, не имея сил ни за что приняться. Ляжешь в постель, думая заснуть, но совсем противное — сон пройдет, глаза прояснеют, но только до тех пор, пока встанешь». С января стало полегче, главное — день удлинился, Кривцов начал выходить; но затем снова пошли морозы, и прогулки пришлось прекратить. 4 апреля он пишет, что вот уже месяц опять стоят морозы в 20 и 25 градусов, еще вчера замерзла женщина, ехавшая в Туруханск говеть, но дни очень прибавились, так что в 9 часов вечера еще светло. Силы медленно возвращались к Кривцову, чему способствовали скудость и однообразие пищи: ежедневно на обед и ужин суп с тощей говядиной, а два или три раза в день чай. Когда затем потеплело, жизнь все-таки мало украсилась; рыбной ловли Кривцов терпеть не мог; он любил верховую езду, но верховая езда на местных малорослых и слабых лошадях не доставляла никакого удовольствия.

Прося сестру о присылке книг, Кривцов, во избежание присылки уже имеющихся, сообщил ей список книг*, привезенных ими из Читинского острога. Это были:

Muller — Histoire universelle.

Robertson — Histoire du regne de l'Emp. Charles-Quint.

Montaigne — Essais.

Pascal — Pensées и Lettres provinciales.

Bossuet — Discours sur l'histoire universelle.

Choix des chefs-d'oeuvres dramatiques.

Phédon.

* См. комментарии № 210*—230*

Say — Economie politique.
Lacroix — Cours de mathématique.
Francoeur — то же.
Imitation de J.C.
Denham et Claperton — Voyage en Afrique.
Lamartine.
Dupaty — Lettres sur l'Italie.
Noël (франц.-латинский словарь).
Massilon — Les sermons и Le petit carême.
Утешение Христианина.
Проповеди Иоанна Златоуста.
Сочинения Батюшкова.
Несколько частей Шиллера (очевидно, по-немецки).
Несколько книжек из немецкой Etui-Bibliothek.
А вот книги, которые были ему посланы по его требованию:
Rollin — Traité des études, 4 тома.
L'abbé Batteux — Principes de la littérature, 6 томов.
Adam Smith, 4 тома.
Ancillon, 4 тома,

и из русских: сочинения Державина, Жуковского, Пушкина, «История» Карамзина и «Грамматика» Греча^{231*}. Он требовал еще сочинения Гёте и «Историю Швейцарии» Иоганна Мюллера — оба по-немецки. Это были все серьезные, веские книги, предназначенные не для минутного развлечения; легких книг, как то романов и тому подобное, туруханские изгнанники не привезли из Читы и не выписывали.

Чтение было, разумеется, их главным занятием. В октябре 1828 года Кривцов сообщает, что переводит Массильона на русский язык, а в марте 1829-го он так описывает свое времяпровождение: встаем между 7 и 8 час., до 9 пьем чай и болтаем, потом садимся за работу; сейчас я делаю извлечения из Ансильона — так лучше запоминается; в 2 обедаем, затем отдых, затем, если погода сносная, гуляю час — полтора; после этого до чая помогаю Аврамову переводить с французского на немецкий; после чая опять делаю извлечения из Ансильона до 9 час., потом играю с Аврамовым в пикет до 11, в 11 ужинаем и ложимся спать. — Так проходил день за днем.

Светлыми минутами в этом тусклом однообразии было получение писем из России. Почта приходила раз в месяц, около 20-го числа. Но осенью и весной, случалось, проходило и два, и три месяца в тщетном ожидании писем. В половине февраля 1829 года Кривцов знал о своих родных только то, что сообщили ему мать и сестра в письме от 15 сентября; только 26 февраля пришла, наконец, *осенняя* русская почта, привезшая ему сразу семь писем, в том числе два от матери. Исправно, раз в месяц, писали ему, как сказано, мать и сестра Анна, но в их письмах часто приписывали и другие сестры и иные из родственников. Семейных событий за этот год случилось не много: младшая сестра Софья в июле 1828 года вышла замуж за Григория Евгеньевича Лавро-

ва, брат Павел в декабре получил камер-юнкера; о неприятностях, постигших Николая Ивановича, Сергеем странным образом не писали, но по намекам в письмах можно заключить, что он знал все, может быть из двух писем, которые написала ему Екатерина Федоровна, жена Николая. Большое участие принимали в нем, как видно, Тургеневы, отец и мать десятилетнего тогда Ивана Сергеевича. Сергей Николаевич Тургенев был довольно близкий родственник Кривцовых, а одна из дочерей Веры Ивановны, Елизавета, выйдя замуж за Сомова, вступила в свойство с Варварой Петровной Тургеневой²³², чья мать, Катерина Ивановна²³³, была во втором браке за Сомовым; между Тимофеевским и Спасским были частые сношения. В последний день своего пребывания в Петропавловской крепости Сергей Кривцов чрез сестру Анну послал письмо Варваре Петровне. 3 июля 1828 года сестра Анна писала Сергею: «У нас теперь Варвара Петровна Тургенева. Муж ее очень болен и едет лечиться в Москву. Владимир поручил ему купить для тебя по твоему реестру. Если тебе возможно, напиши к ней письмо в Москву, в собственном доме на Самотеке. Напиши, друг мой, они тебя очень любят и так заботятся, сами хотят писать к тебе». Варвара Петровна послала Сергею Ивановичу новые каталоги, только что полученные ею из Петербурга. Сергей Николаевич действительно выслал Сергею из Москвы вещи и книги, которых тот требовал; сохранилось и его письмо к Сергею Ивановичу от 30 августа 1828 г. со списком посылаемых вещей: часы серебряные — 270 р. (ассигн.), Карамзина «История» — 122 р., два термометра — 8 р., две бритвы — 30 р. и пр. Он подписался: «Тебя любящий Сергей Тургенев». Тургеневы заказали для себя копию того Бестужевского портрета Сергея Ивановича, который был прислан из Читы. Сергей Иванович по-видимому не любит Варвару Петровну. Анна Ивановна многократно, еще и весною 1829 года, напоминала ему, чтобы он написал Варваре Петровне: «Если ты не сделаешь этого — берегись: не ручаюсь, что при вашей встрече твои глаза останутся целы. Шутки в сторону, напиши ей, и полюбезнее. Если бы ты слышал, как она воркует (*roucoule*) о своей жалости и любви к тебе, ты был бы тронут. Будь же пайнкой, сделай это, мой друг, пожалуйста; притом я могу давать ей разные комиссии для тебя, а если она решит, что ты *разлюбил* ее, она не станет их исполнять»⁹².

Изредка сестра пишет ему о его бывших товарищах: Александр Суворов пожалован в адъютанты к царю, Лукин — на войне, осаждает Шумлу²³⁴. О Павле она пишет (в августе 1828 года), что он хорошо чувствует себя в Риме, стал, по его собственным словам, вдвое толще, и по обыкновению очень неаккуратен в переписке; недавно пришли от него сразу три письма в одном конверте, одно от марта, другое от апреля, третье от мая, и в майском он пеняет, что ему не ответили на его мартовское письмо. А мать жалуется Сергею на Анну: ей уже 30 лет, замуж идти не хочет, так хоть жила бы с нею у Лизы, а она без надобности живет у тетки-Карповой, и сама пишет, что ей там скучно, да еще вздумала теперь строиться в Писканице и потом жить там одиноко. Ты знаешь ее характер молчаливый, то я одна с ней никак не могу жить. Я, отдавши замуж Сонюшку, жила с ней (т.е. с Анной) месяц; я, право, думала, что я с ума сойду или получу жестокую ипохондрию. Поверишь ли, что в месяц верно

она 10 слов не сказала; то ты можешь судить, при моей горести вести такую жизнь — это бы была истомы пуще смерти. Но ведь я не веселья желаю, но по крайней мере видела бы живых людей перед собой, а не мертвых. Я теперь живу у Лизы, меня сколько-нибудь развлекают дети, да и она при всех своих ужасных хлопотах очень, очень много находит время и со мной поговорить; но от Анны, кроме да или нет, ничего не дождешься. Она с посторонними довольно говорлива, но в своей семье как рыба молчит. Так, мой друг, пожалуйста, напиши к ней, но не говори, что я к тебе об оном писала, а как будто сам от себя скажи, что ты видал из моих писем, что я живу у Лизы, то для чего и она с нами не живет... Авось, Бог даст, она тебя послушает». — Но Анна Ивановна поставила на своем: в следующем году построила дом в Писканице (выделенном ей имении) и поселилась в нем, и мать потом подолгу жила у нее. Анна Ивановна была умна, и ум ее был даже не лишен чисто женской грации. Однажды она пишет Сергею, что несколько раз принималась изучать немецкий язык, но так как это очень скучно, то на днях она решила больше не неволить себя, утешаясь мыслью, что Бог на том свете наверное не потребует с нее отчета, почему она не выучилась немецкому языку.

Прошение Веры Ивановны на имя императрицы было послано в начале января 1829 года; 5 февраля Анна, очевидно желая подготовить Сергея, писала ему, что по какому-то предчувствию она с уверенностью ждет какой-нибудь счастливой перемены в его судьбе, всего вероятнее — перевода на другое место. А Сергей Иванович только в начале марта мог ответить на ноябрьское письмо сестры, в котором она спрашивала его, куда бы он хотел быть переведен. Он отвечал, что не понимает цели ее вопроса, но если уже она желает знать, то он назвал бы Минусинск, как такое место, где природа и климат по слухам очень хороши: «но зачем тешить себя пустыми надеждами?» Легко представить себе, как были обрадованы летом мать и сестра, получив это письмо; дело в том, что прошение Веры Ивановны увенчалось успехом, и Сергея Ивановича приказано было перевести именно в Минусинск! 25 февраля 1829 года секретарь императрицы, Шамбо^{235*}, известил об этом Веру Ивановну французским письмом: «По Высочайшему повелению, сейчас полученному мною от Ее Имп. Вел. Государыни Императрицы, спешу известить Вас, что перемещение Вашего сына будет произведено, и что он будет переведен в г. Минусинск, если соответствующие власти не найдут препятствий к этому перемещению». — Сергей Иванович узнал о своем переводе из того самого письма, где сестра, еще сама не зная о судьбе прошения, готовяла его сообщением о своем предчувствии: на этом письме (оно сейчас передо мною) чьей-то чужой рукой была приписана, и отделена чертой, одна строка: *Вы переводитесь в Минусу через два месяца. — Красноярск.*

Позднее, уже из Минусинска, Кривцов подробно рассказал в письме, как он узнал о своем переводе. 1 или 2 июня, часов в 5 утра, кто-то растолкал его во сне, и он услышал шепотом произносимые слова: «Нарочный! За вами нарочный!» Открыв глаза, он увидел свою кухарку; она сквозь смех и слезы объявила ему, что приехал нарочный за ним, чтобы везти его в Россию. Взволнованный, в полном недоумении, он встал и разбудил своих товари-

шей; решили послать за нарочным, чтобы узнать, в чем дело. Но усталый казак на все их вопросы отвечал одним тупым «не знаю»; он мог только объяснить, что его прислали из Енисейска с бумагами и велели на обратном пути доставить Кривцова в Енисейск же. Но скоро дело разъяснилось: через час за Кривцовым приехал местный начальник — отдельный таможенный заседатель — и, объявив ему, что он должен немедленно отправиться в Енисейск, передал ему привезенное, очевидно, тем же казаком письмо из дому — то самое письмо Анны Ивановны, на котором какая-то добрая душа в Красноярске написала блаженную весть о переводе его в Минусинск^{236*}.

1 июля 1829 года Сергей Иванович писал матери из Красноярска: «Благодаря неусыпной заботливости вашей и милостивому снисхождению Государя Императора, я оставил Туруханск и благополучно прибыл сюда, откуда на сих днях отправляюсь в Минусинск. Все, которые там бывали, с восхищением говорят о том крае, называя оный здешней Италией. Итак, почтенная матушка, благодаря стараниям вашим, я увижу еще раз обработанные поля, увижу горы и по ним бродящие стада. И сколь восхитительна мне покажется сия картина после топкого болота, в котором я целый год находился и где думал окончить дни свои!»

Грустно было Кривцову расставаться со своими туруханскими товарищами; он возвращался к жизни — они оставались в проклятом месте, да еще без всяких средств к существованию. До сих пор они жили на его средства; чем они будут жить теперь? Этот вопрос немало заботил и Веру Ивановну и Анну Ивановну. Они тотчас списались с отцом Аврамова, побуждая его также войти с ходатайством о перемещении сына; Анна Ивановна писала и самим оставшимся в Туруханске, Елизавета Ивановна (Сомова) послала Аврамову 50 руб. и табаку. Аврамов и Лисовский больше не увидели родины. Об их дальнейшей жизни сохранилось мало сведений. В 1831 году им было с высочайшего разрешения дозволено заниматься торговыми оборотами в Туруханском крае и ездить для закупки хлеба и других припасов в Енисейск. Они, по-видимому, воспользовались этим разрешением; по крайней мере сохранилось известие, что Аврамов служил приказчиком у одного из местных купцов. Лисовский в 1833 г. женился на дочери туруханского протоиерея Алексея Петрова, Платониде. В январе 1856 года Аврамов и Лисовский были зарезаны в своей квартире в Туруханске с целью ограбления⁹³.

XI

Котильон есть танец преопасный и Амур
вертится в нем.

Из частного письма 1810 годов.

В первый раз теперь легче вздохнула бедная мать после трех лет безутешного горя. Еще от Сергея не было известий с нового места его ссылки — он как раз был в пути, чего в Тимофеевском, конечно, не знали, а его послед-

нее письмо было от 4 марта, еще из Туруханска, — как другая неожиданная радость опередила первую. 22 июля 1829 года Вера Ивановна писала Сергею: «Нынешний месяц меня Бог утешил сверх моего чаяния: в один день съехались ко мне Николай и Павел, и все они были вместе, только тебя, моего друга, не было, что много отнимало у меня удовольствия; но да будет воля Его святая. Николай пробыл 5 дней и поехал в Петербург по своим делам. Он очень постарел, а Паша все такой же дебелый и такой же милый и добрый, любит всех родных, но тебя, мой друг, кажется, всех больше, ибо разлука с тобой очень его огорчает». Павел приехал на целых три месяца. Он был необычайно толст, румян, жизнерадостен и благодушен. Никому ничем не жертвуя, эпикуреец, в котором эгоизм умерялся только ленью, он умел всех очаровывать. Он привез из Рима свой портрет; «мы поместили его, — пишет сестра Анна, — вместе с твоим в зеленой нише. Ты не можешь себе представить, как они противоположны или, вернее, как точно они воспроизводят его и твое положение: он — прямо из Рима — застегнутый до подбородка, с плащом на плечах и шляпою на голове, тучный, жирный и красный; ты — с обнаженной головой и воротом рубашки... ты понимаешь, Сережа, на какие мысли это наводит». Павлу нетрудно было тронуть мать несколькими грустными словами о Сергее, но он даже теперь, из дому, поленился написать далекому брату. Приехав в Тимофеевское 1 июля, он только 22-го собрался приписать полстраницы в общем письме к Сергею, да и эти строки, по-французски гладкие, не содержали в себе ничего о том, что могло интересовать Сергея: в каком состоянии он застал мать, сестер и братьев, что изменилось в родных местах, и пр. Их и перевести нельзя — так банальны эти уверения; он *charmé** возможностью написать своему *cher Serge***, он не станет расточать ему пустых уверений в своей любви, надеясь, что тот не сомневается в ней, ибо брат есть друг данный самой природой, и пр.; обо всем, что тебя может интересовать, пишут тебе мать и сестры, поэтому скажу тебе только, что я как нельзя более доволен своей службою, — и дальше идет описание необыкновенных качеств кн. Гагарина²³⁷*, истинного представителя «*de la civilisation perfectionnée*»***, — а под конец несколько слов бессодержательного ободрения: «твое несчастье нас удручает, но не подрывает нашей надежды на милосердие Божье и доброту нашего августейшего монарха» — *de Notre Auguste Souverain*. Сестра Анна сочла нужным оправдать Павла пред Сергеем: «Павел пишет мало, потому что он устал до полусмерти. Представь себе, что при его необыкновенной тучности, он ни на минуту не сходил с паркета и, разумеется, был весь в поту». — Уж лучше бы она промолчала; только и нашел времени написать брату, что между двух танцев!

Этот месяц почти весь прошел в танцах и праздниках. 15 июля, в двойной семейный праздник (рождение Сергея и именины Владимира), вся се-

* Очарован (франц.)

** Дорогому Сергею (франц.)

*** Совершенной цивилизации (франц.)

мья собралась у Владимира в Рагозине; оттуда Вера Ивановна с Павлом и Анною поехали в Вязовое, к брату Веры Ивановны, Дмитрию Ивановичу Карпову, праздновать именины его жены, Марьи Михайловны. Здесь к 22-му съехалось множество гостей, был домашний спектакль, организованный Плещеевым (в нем участвовал и Павел Иванович), был пир горой и танцы в течение целой недели, потому что все гости оставались до 29-го, когда праздновалось рождение Дмитрия Ивановича. Все это время стояла невыносимая жара, до 26 в тени. Вере Ивановне приходилось трудно поспевать за молодежью. «Теперь съезжаются гости, — пишет она днем 22-го, — народу будет бездна, жара смертельная, и я уже теперь задыхаюсь, как воображу, что должно будет часа три сидеть за столом. Признаюсь, мой друг, что все эти праздники становятся в тягость». Наконец, 31-го уехали назад в Тимофеевское. Приезд Павла помешал Вере Ивановне исполнить обет, данный ею без сомнения в связи с переводом Сергея в Минусинск, — съездить в Киев и Ахтырку на богомолье; пришлось отложить эту поездку на будущий год, «от чего, пишет она, мне очень грустно, что до сих пор не могу выполнить обещание». Она хотела по крайней мере говеть в Успеньев пост^{238*} и подбила к тому же и Павла, что для нее было большой радостью, потому что он уже два года не говел; «но не думай, чтобы я его заставила, — нет, он сам это мне сказал». В Тимофеевском прожили две недели, мать с сыном говели и приобшились, потом мать с Анною поехали в усадьбу последней, Писканицу, Павел еще куда-то, а чрез несколько дней к ним же; и сюда наезжали гости — родные: Киреевские и другие. Здесь старушка отдохнула от разъездов и праздников. Здесь, в Писканице, они собирались отныне жить с Анною. «Что же, мой дружок, тебе еще сказать? — писала она в конце августа Сергею, рассказав о трех поездках по родным. — Живу теперь в любезном своем Болховском уезде, собираемся строить домик, и когда Бог поможет построить, тогда буду покойнее, а то, право, скучно переезжать с места на место. У Лизы бы мне (было) прекрасно и спокойно как нельзя лучше, но беда моя — церкви нету и ездить чрез реку, то в дурную погоду переезда совсем нет; а мне, мой друг, только и утешения, когда слышу службу Божию. А тут церковь у ворот; только поп ленив служить обедни и выдумал служить какие-то обедницы без совершенства таинств. Но как буду, Бог даст, здесь жить, тогда заставлю его служить как должно».

Наконец, 21 августа мать «с благодарностью Всевышнему и с душевной радостью» получила первое письмо, писанное Сергеем после перемены в его судьбе, — то письмо из Красноярска от 1 июля. Большим облегчением было уже то, что письмо шло всего семь недель, а не три месяца с лишним, как прежде; но главное, теперь она будет спокойнее, зная, что он не холоден и не голоден, и в болоте не тонет, дышит свежим воздухом и питается пищей человеческой, и более всего — драгоценное для нее здоровье его поправится. Она просит его написать ей подробно о Минусинске и его жителях, и есть ли там такие люди, которых можно назвать людьми, а об оставшихся в Туруханске товарищах, Аврамове и Лисовском, и она тревожится;

Аврамов беден, но авось найдутся добрые люди, которые будут в складчину помогать ему, а родные Лисовского неужели тоже бедны? Она просит прислать ей адрес матери Лисовского, — она напишет ей. Есть же такие бессердечные родители, что оставляют в нужде своих несчастных детей: «вот в наших местах есть изверг барон Черкасов²³⁹», который имеет большое состояние, но сыну несчастному», — тоже декабристу²⁴⁰, — «ни гроша не посылает, и брат его из своего жалованья уделяет»²⁴¹. — Павел в половине сентября еще был с нею, и она не нарадуется на него; «в доброте души и привязанности ко мне может равняться с тобой, моим милым другом, но не так еще умерен в своих желаниях, но как не-из-чего, то и остается покоен и всем доволен; но все это еще можно приписать к молодости, а не к внутренности». А всего более ее восхищают его принципы: я, говорит он, молод, здоров, богатство мое — служба, от которой буду сыт и одет, и честный человек: это самое большое богатство. — Она совершенно верно понимала Павла: ему действительно хотелось большего, чем он достиг (да он и был умен и способен), но у него было слишком мало внешних ресурсов, чтобы преуспевать без усилий: ни знатного происхождения, ни богатства, ни сильных родственных связей; даже брат Николай, на первых порах так много сделавший для него, теперь сам был лишен всякой силы. Пробижаться приходилось самому, но он был слишком барин, чтобы заискивать, и слишком сибарит, чтобы все забывать для службы. Итак, будущее, как он уже ясно видел, не сулило ему никаких блестящих перспектив; это было грустно, но так как он больше всего на свете любил покой, то он не давал напрасному честолюбию слишком тревожить себя и действительно был «всем доволен». На почве этого затаенного недовольства у него сложилась даже особенного рода философия, не раз высказывающаяся в его письмах: жизнь-де надо брать стоически, не стоит добиваться чего-нибудь, ибо все блага, так ценимые людьми, — богатство, почести и пр. — суэта суетствий. Как ни легка была эта резиньяция, она всегда бросала тень на его жизнь.

Может быть именно ею, а не прямою любовью, был порожден комический роман, разыгравшийся у него в этот приезд. Будь он карьерист, упорно пробивающийся вперед или просто по случаю успевающий в своей карьере, он не дал бы мимолетному увлечению так легко сбить себя с пути. Но он не был ни тем, ни другим; свет и служба не обещали ему многого, и потому он не очень дорожил ими; а тут подвернулся роман, суливший в итоге тоже покойную и комфортабельную жизнь, хотя и в деревенской обстановке, — он и соблазнился, соблазнился, правда, без особенного пыла, так что не трудно оказалось и отвлечь его от этого решения.

20 октября, накануне отъезда из Тимофеевского, Павел написал Сергею письмо, содержание которого мы узнаем только из ответных писем Сергея. Он писал, что женится, что помолвка состоялась, а свадьба будет в январе; он едет в Петербург, чтобы поскорее выхлопотать себе отставку, и потом, забыв все прелести неверной славы, поселиться в Тимофеевском и посвятить свою жизнь счастью родных и подданных. К его письму было приложено письмо его невесты, Варвары Николаевны, которая рекомендовала

себя Сергеем и подтверждала написанное Павлом. Получив эти письма в декабре, Сергей поспешил поздравить мать, брата и невесту; последнюю он знал лично из прошлого.

Но затем известия о Павле прекращаются; ни мать, ни сестра Анна в письмах к Сергею ни словом не поминают о предстоящей свадьбе. Сергей недоумевает, но получает в ответ лаконическое сообщение, что Павел уехал на место своей службы, в Рим. Наконец, только в марте (1830 г.) мать собралась подробно описать ему весь ход этой истории, стоивший ей немалых волнений. Под ее простодушным пером портрет Павла обрисовывается, как живой.

«Любезный мой друг, Сережинька, — писала она. — Письмо твое от 23 декабря я получила, поблагодарила Всевышнего, что ты здоров. Насчет же свадьбы Павловой, она не состоялась по обстоятельствам состояния, да и молодости его лет, да и мне кажется, ни он, ни она большого желания не имели. Она точно прекрасная девушка с самыми лучшими достоинствами. И сперва наша тетка стала разведывать, что за ней, и сказала нам, что она наверное узнала, что брат дает ей 460 душ и 30 тысяч денег. Вот Паша мне говорит: девушка прекрасная, родство тоже и состояние порядочное, и что он решается жениться. А как ты меня знаешь, что я слишком к вам слаба во всяких случаях, — и говорю: дай Бог час. Но только сказала ему: не забудь, что тебе 24 года и на хорошей дороге по службе, но женясь, он должен будет оставить службу. Это было его остановило, но потом опять вздумал, поехал к Николаю советоваться. Тот по своей флегме не сказал ни да, ни нет. Приехавши от брата очень скучен, но решился, поехал к ним и помолвил, и любезный братец при помолвке объявляет ему, что он дает сестре 350 душ и 70 тысяч долгу. Вот тебе первый подарок. Он присылает мне сказать о помолвке, но об этом подарке ни слова, а пишет к Анне очень грустное письмо и объявляет эту радость, и просит ее, чтобы она никак мне не сказывала. Она мне и не сказала, а сказала Владимиру. Тот к нему посылает нарочного и представляет все резоны. Он им отвечает, что уже поздно; но как видят, что дело без меня не обошлось, сказывают мне. Я так и обезумела. Его долгу 35 тысяч, ее 70, да на свадьбу и приданое верно бы еще истратили 50, а там бы начали заводить строение, а у Павла очень много замашек Николаевых. Так бы наконец вышло, что должно продать либо его, или ее имение. И как я уже вижу беду неминуемую, я тот же час решилась писать к ним, а он уже от них уехал в Петербург просить позволения жениться; и пишу к ним все обстоятельства насчет их молодости и состояния, что они могут быть оба несчастливы, и прошу их, чтобы они ему отказали, а к нему пишу, что так как он мне всегда говорил, что он ничего так не хочет, как видеть меня покойною, то я его и прошу, что ежели он хочет меня успокоить, то чтобы не женился. Получаю от него письмо самое отчаянное; говорит, что с его стороны будет очень бесчестно, и прочее. Мне кажется, он думал, что я его заставляю отказаться, но как получил от них отказ, то, мне кажется, он и сам был доволен, и пишет ко мне письмо, что он получил от них отказ, а не он отказал, и что он очень рад, что выполняет мою волю».

Ее психологические догадки были совершенно правильны. Это последнее письмо к ней Павла сохранилось. Забавно видеть, как он вилял и трусил, прятался за ширмы и заметал следы, и еще забавнее следить, как просто и бесхитростно, сама того не подозревая, старушка раскрывала его проделки и с присущим ей чутьем реального ставила вещи на их законные места.

Оказывается, что дело было так. После его поспешного отъезда в Петербург Вера Ивановна, как сказано, написала родным невесты; она писала, что на скудные средства, которыми будут располагать молодые, им нельзя будет прожить в Тимофеевском, поэтому она требует, чтобы сын и после женитьбы не оставлял службы. Родные невесты тотчас отвечали, что не согласны отпускать Варвару Николаевну так далеко — в Рим, — и о том же известили Павла. Он получил это письмо Сергея Николаевича (брата невесты) в Петербурге 9-го числа, и, как мать справедливо писала Сергею, сам был донельзя рад, что нашел удобный предлог развязаться. «Сию минуту, — пишет он матери 10 ноября, — получил я ваше письмо от 1-го ноября, и прочитавши его несколько раз, я покоряюсь вашей воле и соглашаюсь на все, что вам угодно. С моей стороны я уже взял», — значит, до получения письма матери, — «все предосторожности, чтобы сделанное мною не послужило мне во вред, и был столько счастлив успеть в оном во всех отношениях. К кн. Гагарину также мною уже написано; итак, все кончено. Бог знает, к лучшему или нет. Я боюсь, что мое предыдущее письмо вас очень огорчит; что же прикажете делать? я писал, как я чувствовал. Вчера я получил письмо от Сергея Николаевича и отказ. Между тем прошу вас отослать к нему мое письмо, но только с подтверждением, что вы не соглашаетесь — теперь. Впрочем, я не хочу, чтобы это осталось, ибо может быть Варваре Николаевне будет лучше меня партия. Я ее увольняю: ваше спокойствие мне дороже всего. Ежели успею, то я еще сегодня напишу к Сергею Николаевичу. Чрез месяц, а может и прежде я опять еду в Италию; авось Бог благословит мою службу и сделает то, чего я всегда желал и никогда не перестану желать, то есть быть полезным отечеству и семейству, а вместе с сим и пещись о вашем спокойствии. Я мог ошибиться, но ошибка поправлена; оставимте теперь все в покое. Насчет издержек я к счастью извернулся и вся потеря, может быть, будет состоять из 500 или 600 руб., которые я постараюсь нагнать экономией».

Совершенно ясно, что он еще до получения письма от матери решил во что бы то ни стало отвертеться. Настояние матери о продолжении службы и, с другой стороны, несогласие родных невесты отпустить последнюю в Рим дали ему для этого нужный предлог, и он искусно сыграл великодушные на обе стороны. Сергею Николаевичу он написал 11-го: «Письмо мое от 7-го числа сего месяца изъясняло вам мое положение. Ваше письмо от 27-го октября я имел честь получить третьего дня. По оному я более всех теряю; и так я думаю, что ни вы, ни сестрица ваша на меня пенять не можете. Да будет надо мной воля Господня. Теперь я вижу себя вынужденным возвратить вам и сестрице вашей полученное мною слово». Сообщая мате-

ри копию этого письма, он приписывает: «Ежели вы уже послали ваше согласие, то, опираясь на ваше письмо от 1-го ноября, вы можете требовать отсрочки. Расстояние, нас всех разлучающее, делает сии *quiproquo*»*. Теперь он уже сам боялся, не уступила ли мать по получении его предыдущего, «отчаянного» письма, где он писал, что с его стороны было бы бесчестно отказываться, — то есть не написала ли она родным невесты своего согласия. О бедной девушке, невинно пострадавшей и, может быть, искренно любившей его, он даже не вспомнил, и, по всем признакам, ей не написал. О ней подумал только человечный Сергей, который отвечая на письмо матери, писал: «Жаль только молодой девушки, которой вредит всякая подобная гласность; также и мое красноречивое поздравление теперь уже не кстати, но однако же прошу к случаю приберечь оное». Мать, по отъезде Павла в Рим, вспоминала о нем с умилением; ветрен немножко (она разумела его сватовство), любит жить не по средствам, но это от молодости и неопытности; как войдет в лета, даст Бог остепенится, — зато как добр, как всех любит, как исправен по службе! «истинно можно сказать, примерный молодой человек по всем».

Сам Павел, сообщив 20 октября Сергею о своей помолвке, в первый раз снова удосужился написать ему и рассказать конец своего сватовства *только полтора года спустя*, в марте 1831 года, из Рима, да и это письмо недописанным пролежало у него в столе еще 3 1/2 месяца и отправилось по назначению только в половине июня. В его объяснениях все сводится к вопросам личного благополучия и комфорта; ни о любви, ни о каких-либо мотивах высшего порядка нет и помина, даже личность той девушки входит в его расчеты только как слагаемое в вероятный итог его собственных удобств. «В последнем письме, — пишет он (как всегда — по-французски), — я извещал тебя о предстоящей перемене в моем положении. К несчастью (по крайней мере, так я думаю), дело не могло состояться, и признаюсь тебе, видя себя вынужденным отказаться, я решился на это лишь с тяжелым чувством, потому что дело уже значительно подвинулось вперед. *Вперед наука*. Впрочем, Бог знает, к моему ли это благу. Моя служба, мои привычки, усвоенный мною образ жизни, завязавшиеся у меня отношения — все это я должен был бы оставить, чтобы начать другую жизнь, которая несомненно не представила бы мне этих выгод. Скромное, даже очень скромное состояние, доставшееся мне, заставило бы меня еще сильнее чувствовать лишения, тем более, что им подвергся бы еще другой человек, так же мало привычный к ним, как я. Таковы невыгоды; но с другой стороны — ангельский характер, неопишуемая доброта, таланты и познания, словом все, чтобы сделать жизнь приятною, и характер достаточно сильный, чтобы выдерживать удары судьбы; прибавь к этому приятную внешность и безупречное поведение, основанное на принципах и безукоризненных примерах, и ты получишь точное понятие о положении дела. Суди сам; ты знаешь людей. Единственное, чего я стараюсь избегать в своей жизни, это

* Одно вместо другого; здесь — путаница (*лат.*).

сожаление и раскаяние; где они, там нет ни минуты покоя. Человек живет надеждами и иллюзиями; я должен был бы отказаться от них, и навсегда. Предо мною открылось бы новое поприще — семейного счастья; правда, оно — самое прочное, но нелепо искать его почти в начале жизненного пути: оно — удел зрелого возраста, награда мореплавателю, когда после долгих скитаний он возвращается в гавань. Без сомнения, никто более меня не ценит этого спокойного существования; мои склонности, мои размышления — все влечет меня к нему, и в моих мечтах о счастье и благоденствии Тимофеевское всегда рисуется как фон картины, соблазняющей меня искать там убежища от всех тягот жизни».

Ему можно поверить в этом, но пройдет еще много лет, прежде чем он решится войти в гавань. Он не будет скитаться по бурному житейскому морю: все эти годы он лениво-эпикурейски качается в тихом заливе под благословенным небом Италии, любя свой роскошный покой и вместе тайно надеясь, что авось-либо возникнет попутный ветер и понесет вдаль его легкий челнок. Так пройдет эта жизнь, незапятнанно и бесплодно, одна из тех русских барских жизней, которые однако бессознательно лелеяли и накапливали в себе красоту.

Варвара Николаевна в конце 1832 г. вышла замуж за Новосильского помещика, майора Данилова, состоятельного господина 55 лет, и, по словам Веры Ивановны, из скромной девушки оказалась замужем ветреною и мотовкой: «вот как можно в девушках обмануться»⁹⁴.

*

За все это время брат Николай, по-видимому, ни разу не написал Сергею. Изредка писала его жена, Екатерина Федоровна, а ему самому было не до того. Ему приходилось — с тяжелым сердцем, с небольшими средствами, с нелюбимою женою — начинать новую жизнь. Он с отрочества не жилав подолгу в деревне, не знал хозяйства, и до сих пор всегда жил на готовые деньги, сначала родительские, потом казенные; теперь надо было зарыться в глушь и учиться самому добывать средства к существованию.

Но Николай Иванович был человек сильной воли и положительного ума. Как 15 лет назад он перемог потерю ноги и вернулся в жизнь с неумаленным запасом жизненных сил, так и теперь, оправившись от первого потрясения, он сразу, без колебаний, дельно и уверенно свернул на новый путь — составил себе определенный план и принялся неумоимо его осуществлять.

В Любичах даже дома не было. Это село, на границе Саратовской губернии, лежало в голой степи; здесь почва неблагоприятна для растительности, и господствует иссушающий саратовский зной; кругом, по выражению Анны Ивановны, на протяжении сорока верст нечем было кошку высесть. Надо было строиться и делать насаждения. Один из соседних помещиков, Б.Д. Хвошинский (дед Б.Н. Чичерина) предложил Кривцову гостеприимство у себя в Умете, в трех верстах от Любичей. Вскоре, по-

строив первый флигель в Любичах, Николай Иванович мог перевезти туда свою семью, то есть жену и восьмилетнюю дочь. После этого началась стройка усадьбы. Был выстроен великолепный барский дом в английском вкусе, со всеми удобствами английского комфорта, с оранжереями и теплицами, с изящной домашней часовней в католическом стиле, что стоило Кривцову немалой борьбы с духовными властями; возникли прочные надворные постройки, каменный коттедж для причта; на холме вблизи дома воздвиглась, опять по обычаю английских замков, высокая круглая башня с развевающимся на ней флагом, предназначенная для гостей, а дальше, в поле, — часовня-усыпальница. Кривцов привез из Пензы садовника-иностранца и с его помощью разбил вокруг дома обширный прекрасный парк. Весь план, заранее тщательно рассчитанный, был приведен в исполнение с неукоснительной последовательностью, все было сделано прочно и хорошо, словно и русские люди, и материал, и случайности дружно влезли в оглобли, почувствовав твердую руку. Кривцов во все вникал сам, всему учился; соседи не могли надивиться его практичности, его умению все сделать целесообразно и со вкусом при наименьшей затрате.

Так, меньше чем в два года, среди голой степи возникла прекрасная англо-русская усадьба, «уютный и просторный уголок, где можно было найти все удобства и все изящество образованного быта»⁹⁵.

Здесь Кривцов провел остальные пятнадцать лет своей жизни, только изредка и не надолго отлучаясь в Москву или Петербург, лично руководя хозяйством во всех подробностях, неустанно строя и улучшая. Дом велся на английский манер — в строгом порядке и чистоте. Распределение дня было раз навсегда установлено неизменно. Без приказа или позволения хозяина не смели стул сдвинуть с места. Кривцов вставал в 7 часов, в 10 плотно завтракал, потом садился в таратайку, заложенную очередной лошадей, и объезжал поля и постройки; обедали по-английски в 6, ложились в 12. В определенный час являлся староста; для того, чтобы он не топтал пушистых ковров, которыми были обиты полы, было прорублено окошечко в стене, отделявшей сени от кабинета, — чрез это окошечко староста докладывал о текущих делах и принимал распоряжения. Стол сервировался по-английски; в погребе хранился запас хороших иностранных вин, а ключ от погреба Кривцов носил при себе и осведомившись о вкусах гостей, сам выносил оттуда к обеду бутылку бордо, или рейнвейна, или шампанского. К обеду деловой день кончался; вечер посвящался чтению и беседам.

Кривцовы нашли в этом глухом углу вполне достойный их круг людей светских, образованных и приятных: в Умете жили Чичерины, подальше — в 15 верстах — в Маре — Баратынские^{242*}, еще дальше, уже в Саратовской губернии, кн. Григорий Сергеевич Голицын^{243*}. Этот небольшой круг был связан тесной дружбой как бы в одну семью; «между Любичами, Уметом и Марою, — говорит Б.Н. Чичерин, — был почти ежедневный обмен, если не посещений, то записок и посылок». У всех были связи в столицах, откуда сообщались политические и литературные новости, присылались новые книги. «Последний роман Бальзака, недавно вышедшие лекции

Гизо²⁴⁴, сочинения Байрона, пересылались из Умета в Любичи и из Любичей в Мару. И все это при свидании становилось предметом оживленных бесед». Наезжали в Любичи и дальние соседи — Я. Сабуров, Устинов и др., гостили Вяземский и Н.Ф. Павлов²⁴⁵. В уезде уважали Кривцова, ездили к нему за советами и образцами, и местные власти питали к нему почтение, граничившее со страхом. Свою единственную дочь Софью он любил страстно и много занимался ее воспитанием. Отношения его с женою в Любичах, по-видимому, были ровнее прежнего: на это есть намек в одном письме Анны Ивановны к Сергею. Но ей все-таки жилось трудно; холодность мужа, его угрюмое молчание, его беспощадный педантизм, которому все должно было подчиняться в доме, превращали ее жизнь в пытку. Она была очень дружна с Екатериной Васильевной Чичериной²⁴⁶, матерью Бориса Николаевича, своей ближайшей соседкой; ее письма к Чичериной сохранились. В них много невыплаканных слез. Она училась владеть собою и старалась таить свое горе, но подчас оно вырывалось наружу. Она часто говорит о своем одиночестве, а однажды не сдержалась — написала по-русски во французском письме, «Некому душу открыть, так и душит меня, горькую, а что — сама не знаю; не могу я жить без ласки и приюта». Кривцов, *выходя* из-за стола после обеда, объявляет ей, что велел закладывать, чтобы ехать в Тамбов, — так что она едва успевает написать Чичериной, жившей тогда в Тамбове, несколько слов. У нее нет своей воли, без разрешения Кривцова она не может отлучиться из дому на несколько часов. Она прибегает к маленьким хитростям, чтобы угодить ему. Она была в Тамбове, и по уговору должна была вернуться 3-го; она знала, что он будет ждать ее только в ночь с 3-го на 4-ое, и вот она устраивает так, чтобы приехать 3-го к обеду: он не любит, чтобы она была в отсутствии. Рассказав об этом (и об «улыбке на его толстом лице», которою она была вознаграждена за свою хитрость), она поясняет: «Вы знаете, что я редко имею случай поступать по своей воле; поэтому, когда такой случай представляется мне, я стараюсь показать, что подчиняюсь по своей воле, а не из страха. Когда жизнь скупа на счастье, надо пользоваться малейшими возможностями, чтобы уменьшить ее горечь. Счастливы те, кто не нуждается в этом искусстве!» Пассия Кривцова, Горсткина, обещала приехать из Пензы погостить. По мере того, как приближался срок ее приезда, настроение Кривцова светлело; Екатерина Федоровна пользуется и этим: «Как он только нахмурится, я будто нечаянно и скажу: Елизавета Григорьевна, кажется, хотела приехать прежде 19-го; или: она обещала, кажется, здесь дней десять прожить». Другой раз она с нетерпением ждала его возвращения из Петербурга, мечтая съездить к своему другу Чичериной в Тамбов; но он, вернувшись, тотчас собрался ехать в Пензу к Горстким и «может быть, потому, что долго не видел нас», пишет Екатерина Федоровна, предложил ей (жене) ехать с ним; а она была больна, и дороги были отвратительны, да и какой вид имел бы ее визит к Горсткой? Она обо всем промолчала и отговорила только дурным состоянием дорог; но с тем вместе она лишила себя права проситься в Тамбов. Суровое и, вероятно, презрительное обращение Кривцова сделало

ее робкою и с другими; она чувствует себя некрасивою, неумелою, никому не нужною; она убеждена, что ее общество никому не может быть интересно, — и когда кто-нибудь из гостей случайно обнаружит к ней небанальное внимание, — это ее трогает и удивляет. Так, однажды ее заметил Е.А. Баратынский, поэт. Это произошло в 1833 году, когда она уже года четыре жила в соседстве Баратынских; она часто бывала у них, еще чаще принимала их у себя, была дружна с одним из братьев поэта и с дамами, в том числе с его женою; характерно, что он так долго не замечал ее, и характерно, как она рассказывает этот случай. К обеду съехалось у Кривцовых много людей, в том числе все три брата Баратынские. Поэт почему-то был особенно ласков с нею, за обедом сел возле нее и много говорил с нею, «так просто и естественно, что я не только не была запугана его превосходством, но, напротив, чувствовала себя ободренной»; после обеда она пела с одним из его братьев, и он был все так же ласков и не отходил от рояля, а уезжая на следующий день, он сказал ей, что сделал здесь очень приятное знакомство, благодаря которому приятно провел день.

XII

У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.

Пушкин^{247*}

Сергей Иванович прибыл в Минусинск около 15 июля (1829 г.) Здесь уже до него был поселен по просьбе родных декабрист восьмого разряда, посланный первоначально в Якутск, Семен Григорьевич Краснокутский^{248*}, бывший обер-прокурор сената, действ. стат. советник, уже не молодой, болезненный человек. У него и поселился Кривцов, принятый им, как родной. Краснокутский был холост, с ним жила его старая тетка. Кривцов писал о нем, что он пользуется общим уважением за кротость, ровность характера и мужество, с которым он переносит свои страдания. То же самое говорит о Краснокутском в своих записках А.Е. Розен.

Ровный, прекрасный климат Минусинска, где вызревают даже дыни, арбузы и табак, на всякого действует благотворно, — а Кривцов приехал сюда из Туруханска, да еще в разгар лета. Не удивительно, что он в короткое время ожил телом и душою. Его письма дышат довольством, почти счастьем. Первым делом он завел себе лошадь, полудикую, которую объездил и приручил. Весь день он копается в саду и на огороде, поливает цветы и овощи, кормит кур, гусей и индеек, ездит верхом, а вечером гуляет, исхаживая верст по десяти; туруханская бессонница давно оставила его, здоровье значительно поправилось. Минусинск только года за четыре перед тем был переименован в город из села Минусы. Он и теперь представлял собою большую деревню. В нем было с десяток улиц, застроенных невысокими, опрятными деревянными домиками, красивая каменная церковь, гостинный

двор с колоннами, присутственные места. Жизнь в Минусинске шла мирная и спокойная. Интеллигенцию составляли чиновники — окружной начальник, городничий, исправник, доктор и др., большею частью, по-видимому, хорошие, добрые люди, радушно принявшие в свою среду ссыльных декабристов; жили дружно и весело, устраивали вечеринки, обеды, пикники. Декабрист А.П. Беляев^{249*} подробно описал в своих «Воспоминаниях» тогдашний быт и общество Минусинска. Тот самый окружный начальник — высшая местная власть — Александр Кузьмич Кузмин^{250*}, добрейшая душа и вполне культурный человек, у которого, по словам Беляева, каждый вечер собирались на бостон и ужин местные интеллигенты, стал задушевным другом С.И. Кривцова.

Жили они с Краснокутским очень комфортабельно — дом был просторный и красивый, 5 человек прислуги, обед из пяти блюд. За лето Кривцов окреп, зима прошла легко и приятно, а с весны он снова занялся хозяйством по саду и огороду, 26 августа 1830 года он пишет: «Теперь солю огурцы, грибы, наливаю наливку, и пр., и пр., и вообще исправляю должность домовитой хозяйки». А в эти самые дни в Тимофеевском совершилось необыкновенное, неожиданное событие: Анна Ивановна, наконец, решилась отдать руку и сердце своему троюродному брату Ивану Николаевичу Киреевскому, который уже лет десять вздыхал по ней. Сообщая об этом брату, она писала, что ей смешно подумать о своей свадьбе, но она всесторонне обдумала свое решение. Jean — хороший человек и любит ее, а главное — он клятвенно обещал не только не препятствовать ее поездке в Сибирь, в случае, если Сергей заболеет, но даже сопровождать ее туда. Свадьба состоялась в октябре. Это было большой радостью для Веры Ивановны. Киреевского она знала с его детства, и любила. Молодые зажили в Писканице, и Вера Ивановна с ними. Старушка была рада и за дочь, и за себя: «А то она (то есть Анна) с угрюмым своим нравом меня бы свела с ума и сама сошла, чего я наверное ожидала. Но теперь мой любезный Ванюшка совершенно нас оживил. У нас теперь в доме видно и слышно, что есть живые люди в нем, а прежде было совершенное подземелье мадам Радклиф^{251*}, и не проходило дня, чтобы я не плакала. Меня уверяли, что я в ипохондрии, что же мудреного: довольно мне грусти и настоящей, а тут еще прибавляют молчанием, как рыбы в воде, так поневоле будешь в ипохондрии. Отчего же я теперь только и плачу пред Господом, молю его о вас, мои милые друзья, а больше никогда, ибо, пришедши из своей кельи, вижу лица покойные; тот скажет слово, другой скажет, вот и пошло все ладно». А по вечерам, пишет она, читаем вслух по очереди, в том числе и я на старости. «У нас до сих пор не было пути (это писано в начале декабря), но мы это время провели в своей семье, право, без скуки. Истинно, мой друг, ничто не может быть приятнее, как согласие в семействе. Молю Бога, чтобы таковая наша жизнь навсегда продолжилась».

Сергей Иванович прожил в Минусинске два года с лишним. В сентябре 1831 года ему пришлось расстаться с Краснокутским: последнему разрешено было ехать на воды в Иркутскую губернию. Эта разлука была очень

тяжела Кривцову; «надеюсь, — пишет он, — что Всевышний по благодати своей весною нас опять соединит, и что путешествие сие принесет ему желаемую пользу». Краснокутский не доехал до вод: нездоровье задержало его в Красноярске, где он остался надолго. Через несколько лет Розен видел его уже парализованного, тенью человека; только в 1841 году смерть освободила его от тяжких страданий.

Кривцов недолго прожил один в Минусинске. 15-м ноября 1831 г. помещены сохранившиеся в его бумагах шуточные стихи «На отъезд в Грузию Сергею Ивановичу Кривцову от А. Кузмина». Он был переведен рядовым на Кавказ опять по ходатайству матери перед императрицей. 22 сентября ген. Потапов извещал Веру Ивановну, что Государь Император, снисходя на ее просьбу, по свойственному его величеству милосердию, всемилостивейше повелел определить Сергея Кривцова в 44-й егерский полк, состоящий в Кавказском корпусе²⁵², «в надежде, что он в полной мере восчувствует сию Монаршую милость и потщится оправдать оную свою усердную службою и безукоризненным поведением». Вера Ивановна просила еще, чтобы Сергею дозволено было по пути на новое место заехать к ней, дабы принять ее благословение; но на это в письме Потапова не было ответа. После отъезда Кривцова из Минусинска, Кузмин занял тот дом, где жили Кривцов и Краснокутский. Много лет спустя Кривцов вспоминал, как он стяжал благодарность минусинцев, построив на свой счет мост через реку, стоимостью в 20 рублей серебром; раньше моста не было, и телеги не могли переезжать на другую сторону, а пешеходы с риском перебирались по трясущимся доскам⁹⁶. Другим вещественным памятником его пребывания в Минусинске была немецкая надпись на вывеске портного Трофима: *Trofim Dieb*^{*}, коварно предложенная им и самодовольно принятая владельцем, как точный перевод русских слов: «Трофим портной»⁹⁷.

По зимнему пути Сергей Иванович сравнительно быстро, меньше чем в два месяца, проехал бесконечное пространство от Минусинска до Астрахани. Отсюда путь к Тифлису был труден; читая его письма с этой дороги, живо вспоминаются Лермонтовские «Тамань» и «Максим Максимыч». Уже на самой Линии²⁵³ миролюбивому Кривцову заткнули за пояс огромный кинжал и надели шашку чрез плечо: тут и днем нельзя было ехать без оружия, а ночью никто не пускался в путь. От Екатеринограда двинулись уже караваном под прикрытием значительного конвоя и двух орудий. В Редут-Кале Кривцов застрял почти на два месяца: море было бурно, судна не ходили; он сильно скучал в грязном местечке, просил отправить его сухим путем, но в этом ему отказали, так как дорога была беспокойна. Добравшись, наконец, до Гагр, где стоял его батальон, он заболел воспалением легких и пролежал месяц. Для поправки его перевели в полковую штаб-квартиру, в Бамборы (в Абхазии); здесь, едва оправившись, он в августе схватил желчную лихорадку, снова пролежал три недели, и еще долго после этого лихорадка периодически возвращалась к нему. Ближайшие два

* Трофим Вор (нем.).

года он провел в бездействии, живя то в Сухуме, то в Бамборах, где обзавелся даже собственным домиком в две комнаты с кухней и террасой. Эта праздность угнетала его; не участвуя в экспедициях, он лишался надежды на производство, а производство было для него единственным путем к освобождению. Здоровье его было неважно, он очень постарел за эти годы. Большой радостью был для него приезд крепостного человека, присланного к нему родными для услуг: это была первая живая весть от них со времени разлуки. Летом 1833 г. получил он из Моздока первое после Сибири письмо от Захара Чернышева, который писал ему о своем производстве в офицеры, о предстоящей своей поездке в отпуск к отцу — и о смерти своей сестры, Александры Григорьевны Муравьевой.

Кривцов с самого начала горевал о том, что определен не в артиллерию, так как этот род службы был ему всего более знаком; и мать уже давно хлопотала о переводе его в артиллерию. Действительно, по ее ходатайству Кривцов в половине 1834 года был переведен в 20-ю артиллерийскую бригаду, стоявшую на Линии; это перемещение ставило его в центр военных действий и открывало ему дорогу к офицерству. Он писал матери, получив известие о своем переводе: «Я не в силах выразить вам, почтеннейшая матушка, те чувства, которые теперь теснятся в груди моей. Безнадежность, покрывавшая мою будущность непроницаемым мраком, вдруг исчезла, и в первый раз в течение 9 лет какой-то внутренний голос шепчет мне, что мы увидимся!» В Ставрополе, где стояла его новая бригада, его ждала новая радость: дочь его сестры Варвары Ивановны, Софья, только что вышла замуж за М.Н. Бибикова, служившего тоже в Кавказских войсках, и именно в Ставрополе, адъютантом у ген. Вельяминова^{254*}. В доме молодых Бибиковых Сергей Иванович нашел родной приют на все остальные годы своей кавказской службы. А в Бамборы чрез несколько дней по его отъезде ночью ворвалась толпа черкес и вырезала как раз ту часть базара, где находился его дом; ему бы не миновать было здесь смерти.

Отныне началась для него деятельная военная жизнь — участие в бесчисленных мелких экспедициях, стычках с шапсугами^{255*}, фуражировках и пр., преимущественно на пространство от Ольгинского тет-де-понта до Геленджика и Абинска. Он многократно подвергался опасности, под ним убивали коня, он получил Георгия^{256*}, ему вместе с прочими нижними чинами за одну из экспедиций было высочайше пожаловано два фунта говядины, две чарки вина и два рубля ассигнациями; наконец осенью 1835 года он был произведен в фейерверкеры, то есть в унтер-офицеры, а в конце этого года Бибиковы, съездив в Россию, осчастливили Веру Ивановну живым приветом от Сергея и рассказами о нем. В промежутки между экспедициями Сергей Иванович подолгу гостил у Бибиковых в Ставрополе или жил в Екатеринодаре.

Два года продолжалась его боевая жизнь. Уже четыре года жил он на Кавказе, и за все это время ни Николай Иванович, ни Павел, несколько раз приезжавший в Россию, ни даже сестра Анна, не навестили его. Вере Ивановне такое путешествие и подавно было не под силу.

Ей шел седьмой десяток; проведя всю жизнь в Болховском уезде, она боялась дальних поездок, и даже к Николаю в Любичи не решалась съездить. Но в привычном кругу, на знакомой территории, она была весьма подвижна. Из детей в эти годы жили здесь: Анна Ивановна с мужем в Писканице, Софья Лаврова в Елецком уезде и Лиза Сомова в Одоевском; четвертая дочь, Варвара Хитрово, жила в Петербурге, где ее муж служил в дворцовом ведомстве — фуражмейстером. Лавров был Елецким предводителем; бездетная Софья, младшая в семье, веселая, открытая натура и умница, жила беззаботно, плясала и наряжалась. Полную противоположность ей составляла многодетная небогатая вдова Лиза, вечно озабоченная хозяйством и воспитанием детей. К ней мать чувствовала особенную жалость и уважение. В 1833-34 гг., впрочем, и Лизе жилось уже легче: дети подросли и были размещены по разным столичным учебным заведениям, частью на казенный счет, частью на средства сестер; при ней в деревне оставалась только одна 10-летняя дочь.

Дочери горячо любили Веру Ивановну, всячески заботились о ее покое, часто наезжали к ней. Вера Ивановна старалась не обидеть никого из дочерей и ежегодно гостила у всех, а когда Лизин дом опустел, она считала нужным подольше гостить у Лизы, чтобы разделить ее скуку. С годами Вера Ивановна привыкла к этим разъездам — они развлекали ее; пожив долго в одном месте, она теряла свое обычное равновесие и опять начинала много плакать о Сергее. «Матушка совсем не изменилась», пишет Софья, «только не такая уже охотница шлендать из комнаты в комнату, как прежде; она очень благоразумна, и я очень довольна, с тех пор как она у меня, она совсем не плачет. Боюсь осени, пойдут дожди, не вздумала бы и она туда же (то есть «рюмить»)». Ну что-то Бог даст, авось забудет; я ее чем-нибудь загодя позайму, а она и не увидит, как пройдет слякоть, а по зиме ей будет некогда — я повезу ее к Анне». Ее постоянной квартирой была все-таки Писканица; здесь она жила больше всего. Муж Анны, Иван Николаевич, холил ее с сыновней нежностью, да и строгая Анна в сущности обожала мать. В 1833 году в Писканице был построен, в немногих шагах от большого дома крошечный флигелек для Веры Ивановны, всего из трех комнат: спальная, гостиная и девичья. Здесь большую часть года и жила старушка, молилась Богу, вязала чулки, писала письма Сергею. Она была довольна своей жизнью, благодарила Бога за свой покой и доброту к ней Анны и ее мужа. Здоровье ее было хорошее, хотя она и дряхлела; только изредка нападала на нее модная тогда болезнь — грипп, или «гриб», как она писала. Обычное свое состояние она изображала так: «Когда и солнце светит, а мне все кажется пасмурно»; однако случалось, она приходила и в хорошее настроение, играла в карты по вечерам со своими, и т.п. Так, в апреле 1833 года она описывает Сергею, как она «совсем развратилась»: «У нас есть соседка, старушка такая же, как я; она любит читать романы или, лучше сказать, ей читают, ибо она не видит; и вышел новый роман Семейство Холмских, она его и прислала Анне читать, и я на Святой неделе, не хотелось вязать чулок, и взяла его посмотреть, и мне он показался, так что весь

прочла, чего я и не помню когда делала, и вдобавок обметала городочками себе оборочку на косыночку. Так видишь ли, мой друг, как твоя матушка дурачится на старости. Однако же, мой друг, не очень этим огорчись, я ведь опять принялась за прежнюю свою работу, т.е. за чулок, а я рада буду, что ты, читавши мое занятие улыбнешься свободно». В это самое время другая такая же старушка, тетка Чаадаева, княжна Анна Михайловна Щербатова^{257*}, тоже у себя в деревне вязала чулок или коврик, и Анетка читала ей то же «Семейство Холмских»^{258*}, взятое у соседей: «не можешь себе представить, как интересно, а кто автор, неизвестно». — На именины Веры Ивановны съезжались в Песканицу Софья с мужем и Лиза, и многочисленные соседи приезжали поздравлять, кто днем, а кто и вечером, потому что в округе было много именинниц в этот день — надо было ко всем поспеть. И она сама ездит в гости, хотя больше по случаю. Брат ее, Дмитрий Иванович Карпов, был несчастлив в супружестве, но, будучи вместе с тем ума само-довольно-ограниченного, долго не замечал своего несчастья; в Вязовом балы сменялись праздниками, гости-соседи заживались по неделям, былолюдно, шумно и весело; а дородная Марья Михайловна походя наставляла рога супругу, и имение таяло с необыкновенной быстротой. Наконец в 1834 году плотина прорвалась: что-то случилось, Дмитрий Иванович узнал, и заболел, как видно, серьезным нервным расстройством. Тут Вера Ивановна довольно долго прожила у него. Он вдруг все сообразил: что с его женою не дружит ни одна порядочная женщина в уезде, что девочки уже на возрасте и надо их учить, а имение разорено и нельзя переехать в Москву для их воспитания, и т.д. Но этот пароксизм прошел скоро; через несколько месяцев все вошло в колею, Дмитрий Иванович опять стал здоров и весел, — однако не надолго: года полтора спустя Вера Ивановна сообщила Сергею, что Дм. Ив. в Москве разводится с женою, чего уже давно надо было ожидать по ее беспутству, ибо уже с год поговаривали, что она живет с другим; она и обеих дочерей увезла с собою, но он их чрез начальство отнял. «Мне», пишет она, «его и жаль, и не жаль: сам причиной; взял девчонку от беспутной матери, дал волю летать одной где хочет, а когда бывали в Москве, самого его заря выгонит, а другая вгонит; всякий день на игре, а она одна да одна, — и зачала искать других мужьев; тем и кончилось. Он будет из Москвы на будущей неделе; авось одумается и перестанет так беспутно играть. Прошедший год он на 300 000 продал имения и все-то это пошло на карты и на ее распутство. Поднял бы покойного батюшку, и он бы у него спросил: куда ты мое имение и деньги девал? И узнавши, славно бы отодрал плетью; истинно того стоит; глупому сыну не в помощь богатство». — В феврале 1835 года Вера Ивановна съездила дня на два к Елизавете Петровне Тургеневой^{259*}. Это был une visite de condoléance*: в октябре предшествующего года умер сын Елизаветы Петровны, Сергей Николаевич, отец 17-летнего тогда будущего автора «Записок охотника». Павел Кривцов как раз был в Петербурге и писал оттуда матери (3 ноября

* Визит соболезнования (франц.).

1834 г.): «Несчастный Сергей Николаевич кончил жизнь прошедший вторник после трехдневных ужасных мучений. Дети остались на руках у Николая Николаевича²⁶⁰», который к счастью приехал с месяц тому назад. Варвара Петровна путешествует по Италии и не знает о своем несчастье». Вера Ивановна очень жалела о Сергее Николаевиче: «был хороший отец и добрый сын», — а Варвару Петровну резко осуждала: ездила-де в чужие края лечиться, а от чего? Я думаю, от толщины. Варвару Петровну, только что вернувшуюся из-за границы, она застала у ее свекрови. «У Тургеневой Елизаветы Петровны я была» пишет Вера Ивановна Сергею. «Она ужасно убита горестью по сыне, а неутешная вдова все такая же чудиха и нимало не огорчена; навезла пропасть нарядов из чужих краев и наряжается. Она при мне поехала в Петербург к детям и при прощании просила написать от нее к Павлу и к тебе, но, назвавши тебя, вдруг говорит: ах, нет, к нему я сама буду писать. — Мне так за нее дуру стало досадно, что мне хотелось ее ударить. В 50 лет баба и с этойкой гадкой рожей думает, что она очень интересна, и меня-то уверяет, что ты в нее влюблен, в этукую чучелу. Я истинно удивляюсь, как человек может быть в таком заблуждении».

О братьях Сергей Иванович узнавал из писем матери и сестер; сами они почти не писали к нему. Павел продолжал свою не-блестящую службу и приятную жизнь в Риме. Восемь лет с лишним пробыл он вторым секретарем на ничтожном жалованьи, проедаая доходы с Тимофеевского; только в конце 1834 года, съездив перед тем в Россию и, очевидно, нажав там соответствующие пружины, он получил наконец звание первого секретаря с содержанием в 12 000 руб. ассигн. Матери очень хотелось, чтобы он женился; да он и сам полусхотел ей, что не прочь бы жениться, и просил прислать хорошую невесту.

Николай Иванович, прожив в Любичах четыре года почти безвыездно, в 1832 году неожиданно снова вступил в службу. Соскучился ли он в деревне и захотел опять власти и широкой деятельности, или думал поправить свои дела казенным жалованьем, неизвестно. Его материальное положение было во всяком случае не блистательно, судя по тому, что он должен был допустить продажу с торгов за долг части имения Сергея, фиктивно перешедшей в его собственность⁹⁸. В 1832 году министром внутренних дел сделался Д.Н. Блудов, его давнишний приятель и сослуживец по Лондону; этим моментом он и воспользовался. Он подал прошение, Блудов представил царю докладную записку, — но Николай был памятливым; он позволил Кривцову снова вступить в службу, но с тем, чтобы его оставили «на испытание» при министерстве⁹⁹.

Кривцов этого не ждал; 8 августа состоялось его оскорбительное назначение, а 9-го он подал Блудову прошение: «Приемля с чувством живейшей благодарности исходатайствованную мне Вашим Превосходительством милость и готовясь оправдать усердною службою снова обращаемое на меня Монаршее внимание», он просил отпуска для устройства своих личных дел. Отпуск ему дали, на четыре месяца. Конец зимы он провел в Петербурге, а в марте опять взял отпуск, и так продолжалось все время: он

почти непрерывно был в отпуску, то есть жил в Любичах, за исключением тех немногих месяцев в году, когда по своему желанию наезжал в Петербург. Он числился чиновником особых поручений при министре внутренних дел, без жалованья. Блюдов назначил его членом Комиссии для производства торгов по медицинскому департаменту, и на протяжении трех лет два или три раза давал ему краткосрочные поручения в Тамбовскую, Саратовскую и другие губернии для расследования каких-то дел по торгам. Все это была одна видимость службы. По словам Сабурова, Николай Иванович просил саратовского губернаторства — ему предлагали вятское, но вятского он не хотел. Зато он успел в другом деле: осенью 1833 года он, конечно чрез Блюдова, выхлопотал себе возобновление аренды, отнятой пять лет назад; 29 сентября этого года было всемилостивейше повелено: вместо продолжения срока на пожалованную ему в 1821 году аренду, производить ему, не в пример другим, из государственного казначейства в течение двенадцати лет по 3000 руб. серебром ежегодно¹⁰⁰.

Но должности он так и не получил. Видя, что из службы ничего не выйдет, он, в ноябре 1835 года, наконец подал в отставку. Это прошение об отставке, посланное им из Любичей на имя Блюдова, — единственный в своем роде документ; едва ли еще когда-нибудь на гербовой бумаге с двухглавым орлом и штампом: «цена два рубли» писались строки в таком тоне. После обычных заголовков — такому-то от такого-то Прощение — следует саркастический эпиграф, два стиха из Персия^{261*}:

Publica lex hominum naturaeque continet hoc fas.
Ut teneat vetitos inscitia debilis actus.*

Затем начинается прошение: «За три с половиною года пред сим, когда по милостивому ходатайству Вашего Превосходительства, Государю Императору благоугодно было причислить меня к Министерству внутренних дел, я надеялся долго еще посвящать время и труды мои на службу Августейшему Монарху нашему с тою же беспредельною преданностью и с тем же пламенным усердием, которые ознаменовали поприще прежнего 20-тилетнего моего служения. Я сделал, что мог, Отечество не может упрекнуть меня, я всегда был готов служить ему, сохраняя достоинство своего характера, и доказал это, ежели не блистательными подвигами, то ревностным исполнением в строгом смысле священных обязанностей Русского Дворянина-верноподданного. Ежели не сделал более и лучше, то в том виноват не я». — Теперь за болезнью он просил отставки с полной пенсией и с сохранением придворного виц-мундира.

Кое-что он сохранил от времени своего парижского дневника. Как тогда, так и теперь он чувствовал себя пред лицом правительства не безразличным орудием, а личностью, и требовал, чтобы с ним считались, как с са-

* Общий всем людям закон и природа неведом неспособных
Не допускает к тому, чего им не позволено делать (лат.)

Перевод Ф. Петровского.

мостоятельной силой; он не допускал и мысли, чтобы правительство, облекая человека властью, вместе с тем стирало, поглощало его личность и превращало Иванова в коллежского советника («наш коллежский советник такой-то», как писалось раньше в указах); и теперь, уходя, он — как лицо лицу, как равный равному, высказал правительству свою обиду: я хотел служить тебе, ты пренебрег мною, и я ухожу.

В эти годы, часто наезжая в Петербург, он без сомнения видался с Пушкиным. Поэт и раньше не забывал его: в 1831 году он прислал Кривцову экземпляр «Бориса Годунова» с дружеским, задушевным письмом¹⁰¹. Пять лет спустя Николай Иванович в одном письме с такой же грустью повторит в применении к себе французскую поговорку, которую привел Пушкин в своем письме к нему: *il n'y a de dépit que dans les voies communes*^{*}. Правда Пушкин писал: *de bonheur*...¹⁰².

Немногие письма, написанные Николаем Ивановичем Сергеем за эти долгие годы разлуки, очень замечательны. Странное дело: в них много сходного с тем письмом Пушкина; тот же грустный опыт и отречение, но вместе и обаятельная широта чувства и самосознание зрелой силы — и все вместе овеяно поэзией осени, красотой еще полного жизни, но уже клонящегося к увяданию ландшафта.

«9 лет, как мы расстались», писал он брату в феврале 1835 года, — «и как расстались! Я молчал; но мысленно следовал за тобою и в Петропавловскую крепость, и в Читу, и в Туруханск, и в Минусинск, и на высоты Кавказа. Прошедшее теснится в уме, роится около сердца, сжимает его, и перо цепенеет в руке. О чем беседовать с тобою? Уверять ли в дружбе моей, изъявлять ли участие к твоим несчастиям? Но или ты не усомнился в оных, или оные покажутся приторными. Описывать ли мои собственные приключения, мысли, опыты, надежды и неудачи? Судьба моя слишком мелочна, чтобы говорить о себе даже с другом после 9-летней разлуки. Даже при свидании, мне кажется, что, обняв тебя и прижав к груди, слова бы замерли в оной; я бы пожелал лишь, может быть, открыв ее, перелить в твою все, что в ней гнездилось в сии 9 лет. Тебе ли говорить о наших житейских неудачах, столь ничтожных в сравнении с несчастиями, отяготившими твою судьбу? Тебе ли описывать наш тихо-текущий быт, столь противоположный твоей разорванной и бесприютной жизни? Печальное преимущество нравственной зрелости, приобретенное годами: пояснив многое, многое поглощает безвозвратно. Впрочем, жалеть не о чем; всему свое время: и жизни, и смерти. Мечты прелестны; но и действительность имеет свою цену со всею своей угрюмостью: разочаровав, успокаивает.

«Как бы я желал еще видиться с тобою — как и где? Не знаю. Иной раз и в Ставрополь готов бы ехать; но как знать, когда ты там? Ваши экспедиции непрерывны, а съездить понапрасну пугает мой давно отвыкший от предприятый дух. Я очень состарился, мне кажется — день мой, век мой. Это не

* Досада (печаль) возможна только на проторенных путях (франц.): у Пушкина: *bonheur* — счастье.

только следствие лет, как малого круга деятельности, в коем давно уже заключается жизнь моя. Не прими сие за жалобы, это просто факт. По расстроенному твоему здоровью, ежели бы была возможность получить тебе дозволение возвратиться на родину, как бы мы были такому гостю рады. У нас здесь в саду есть готическая башня с 5 жилыми комнатами, она бы вся к твоим услугам, а как я в виду не имею ничего другого, как жить и умереть в Любичах, то мечта сия (едва ли не последняя), улыбаясь моему воображению, часто погружает меня в думу-уповательницу: авось!

Год спустя он сообщает Сергею о своей отставке.

«Назад тому 29 лет я вступил в службу, 20 лет тянул лямку и хорошо, и худо, а последние 9 лет находился в каком-то чистилище. И жалко, и смешно, могло бы быть и досадно; но я устранию сие чувство, как нелепое... Смолоду все кажется возможным, близким, а под старость горячность удаляется, и все представляется несбыточным. Круги сближаются к центру и наконец остается одна точка... Не в виде недовольного оставляю я службу, которая впрочем сама меня оставила, когда я еще мог быть на что либо годным; теперь я очень состарился, дряхлею очевидно, и чувствую, что силы не соответствуют моим понятиям о службе. В сем случае я почел священной обязанностью удалиться от общественных дел, которыми заведовать как разумею более не в состоянии. Не мне жаловаться на судьбу, она меня полелеяла, и в такое время жизни, когда дары ее наиболее драгоценны. Я всегда был готов служить отечеству, сохраняя достоинство своего характера, и ежели не сделал лучше и более, в том виноват не я, и отечество не в праве упрекать меня. Дело кончено, я отжил свое политическое бытие, теперь остается доживать век естественный; одно легче другого. Пройдя путь далекий, с большою опытностью, с достаточным пресыщением жизнью, в кругу семейства, легко и отдохнуть и даже насладиться вечером той жизни, которая являла столько призраков утром и в полдень!

«Скажу ль тебе, любезный друг, что одно из живейших желаний моего сердца есть не одно лишь свидание с тобою, но соединение на остальное время жизни. Сколько бы утешений принесли мы друг другу в уединенных беседах между собою. Судьбы наши, столь различные, приведя нас к одной цели, раскрыли бы много тайного в жизни человеческой. Давай надеяться, авось и сбудется!»

Он не был лично озлоблен; та отвлеченная рассудочность, которая составляла характерную черту его поколения, которая была так сильна и в Пушкине, которая уже в юные годы делала их меланхолическими мудрецами, пространно и глубокомысленно философствующими о «жизни», — эта рассудочность с годами и неудачами родила в нем только общее чувство разочарования жизнью, элегическую грусть, чуждую личного ожесточения. Он никого не обвинял в своем крушении. Его счастливые дни кончились с воцарением Николая, но он не питал дурного чувства к Николаю и нисколько не поколебался в своей лояльности. Через полгода после своей окончательной отставки он писал Н.В. Чичерину²⁶²: «Я сам был в Чембаре на сих днях, Арндт²⁶³ успокоил меня насчет Гос. Имп. Сие мне было нуж-

но, ибо все нелепые слухи, расходящиеся по нашей глуши, свели бы меня с ума. Жизнь и здоровье Его Имп. Вел. драгоценны для России, потому что в настоящих смутных обстоятельствах никто заменить его не в состоянии».

В конце 1835 года Вера Ивановна опять принялась хлопотать о Сергее. Она знала, что некоторые из его товарищей по несчастью уже были произведены в офицеры, что Захар Чернышев уже побывал в родных местах, а Фок^{264*} переведен к отцу в Оренбург. В ноябре навестил ее Николай Иванович; так как ему предстояло вскоре ехать в Петербург, то было условлено, что он наведет там справки относительно возможности отставки для Сергея. По его письму Вера Ивановна в начале января прислала ему туда прошение на имя государыни, которое он и вручил лично секретарю императрицы, а уезжая из Петербурга, поручил сестре Варваре (Хитрово) хлопотать окольными путями — чрез ген. Вельяминова, начальника Кавказской линии, которого вскоре ждали в Петербурге. Дело было рискованное, и ходатайство матери легко могло, вместо пользы, принести вред Сергею: она просила отставки для него под предлогом его болезни, но это могло послужить основанием к переводу его надолго в гарнизон. Так объяснили Николаю Ивановичу лично расположенные к нему вел. кн. Михаил Павлович и военный министр. Таким образом, вся надежда была на милосердие, и оттого надлежало обратиться к императрице.

По-видимому Вера Ивановна просила об отставке, и если отставка невозможна, то хоть о временном отпуске. Сергей еще не был офицером, а по заведенному порядку служившим на Кавказе декабристам до производства в офицеры не давали отпуска во внутренние губернии. Но в прошениях Веры Ивановны как будто было нечто магическое: ей и на этот раз не отказали. 2 мая 1836 года Бенкендорф извещал ее, что по ее ходатайству Сергею Кривцову разрешен 4-месячный отпуск в Болховский уезд.

Известие об отпуске застало Сергея в экспедиции. Как ни было велико его нетерпение, он счел своим долгом остаться в строю до конца экспедиции. Она кончилась только в декабре, потом он еще недели две прожил у Бибиковых в Ставрополе, отдыхая и выжидая санного пути, и в сочельник, 24 декабря, двинулся в путь с обоими своими слугами — камердинером Андреяшкой и позднее присланным поваром Алешкой. По приглашению Николая Ивановича он направился сперва в Любичи, с тем, чтобы пробыть здесь дней 7—10 (10 января приходился день рождения Николая Ивановича) и потом отправиться к сестре Софье, где его ждала мать.

«Итак, я дома», писал Сергей Иванович Павлу, «или лучше сказать я с своими. Доволен так, как рыба в воде, и только тебя одного не достает к совершенному нашему благополучию. Трудно, милый брат, описать тебе удовольствие, которым исполнена теперь душа моя; один ужас безнадежной разлуки может определить ему меру, но и то недостаточно, ибо самое воображение никогда не рисовало мне таких наслаждений, того тихого счастья, которыми теперь наслаждаюсь. Одним словом, я никогда не думал быть так нежно, так страстно привязан к семейству, и это открытие составляет мое блаженство. Тягостное одиночество не лежит более свинцо-

вой горой на моем сердце, оно не морозит его, как прежде, холодом равнодушия, одним словом, юная прелестная надежда снова расцвела в душе моей...»

Он пробыл две недели у Николая, куда съехались встретить его Лиза и Софья с мужем, потом с ними поехал к Софье, здесь увиделся с матерью и прожил 10 дней, потом вместе с матерью поехал в Писканицу к Анне. В матери он нашел большую перемену: она стала спокойнее и светлее духом, чем была 11 лет назад; совсем исчезла ее ипохондрия, она всем довольна, весела, и плачет только от радости. Николай, «оставя помыслы честолубия», сосредоточил все свои желания и надежды в своем семействе и более не стыдится своей нежности, но вполне предается ей, распространяя ее и на мать, на братьев и сестер. Екатерина Федоровна сделалась рассудительнее, не утратив оригинальности и живости, которые составляют прелесть ее характера, Лиза — Наполеон по уму и изворотливости, Софья держит мужа под башмаком, едкость Анны много смягчена редкой добротой и рыцарским благородством ее мужа. Так писал Сергей Павлу. А Николай Иванович с своей стороны описывал Павлу впечатление, которое произвел на него Сергей. Он писал по-французски. Сергей здоров и физически и духовно — таково общее и главное впечатление. Прожив 10 лет вне Европы, он тем не менее вполне осведомлен обо всем, что совершилось в ней за это время; создания новейшей литературы, успехи цивилизации, словом все завоевания века ему знакомы и близки, и вернувшись в общество, он внешне будет на одном уровне со всеми, а по существу будет и выше общего уровня, благодаря размышлениям, которые питали в нем разнообразные перипетии его жизни. Как кровное дитя своего века, Николай Иванович с глубоким удовлетворением констатировал мощь цивилизации, проникающий и в Сибирь, и за высоты Кавказа.

Сергей был действительно здоров, — родные не могли надивиться на его цветущий вид; два тифа, малярия, ревматизм не оставили на нем следа, а боевая жизнь закалила и огрубила его. Дома, у сестер, он еще больше поправился, даже растолстел: они кормили его на убой.

По возвращении на Кавказ Сергей Иванович сразу попал в экспедицию: 21 апреля (1837 г.) он уже выступил с полком из Ольгинского укрепления к Геленджику. Полгода спустя в семье Кривцовых совершилось два радостных события: 15 ноября 1837 года Сергей был произведен в офицеры^{103 265*}, а за три дня перед тем, 12-го ноября, во Флоренции состоялось бракосочетание Павла с 20-летней княжной Елизаветой Николаевной Репниной, — партия блестящая, на какую он, по своему скромному происхождению и званию, никак не мог рассчитывать. Его невеста была дочь малороссийского магната Н.Г. Репнина-Волконского^{266*} (родного брата декабриста С.Г. Волконского^{267*}), по матери — внучка графа Алексея Кирилловича Разумовского^{268*}, сонаследница огромных поместий. Репнины жили тогда в Риме, откуда и знакомство.

Этому событию предшествовали некоторые семейные прелиминарии^{269*} в виде двукратного обмена писем между Павлом и Николаем Ива-

новичем, писем равно характерных для обоих. Павел солидно и в торжественной форме, даже необычно-старательным почерком, известил старшего брата, до сих пор заменявшего ему отца, о своей помолвке. В ответе на это сообщение Николай Иванович 23 сентября написал ему два письма: одно явное, которое можно было показать невесте и ее родителям, другое тайное, для одного Павла. В явном он официально поздравляет брата и поручал ему передать его заранее родственный привет его невесте; он вспоминал, как много он был обязан ее матери, княгине: раненный под Кульмом, он вместе с другими ранеными был ею устроен в Праге, и ее попечениям, ее христианскому милосердию был обязан выздоровлением; он просил напомнить ей это — она могла не знать его имени, — и передать ей выражение его глубочайшего уважения.

Секретное письмо привожу целиком в переводе.

«Ты женишься или уже женат, это хорошо; партия блестяща и может быть выгодной, девушка, без сомнения, прелестна, словом — союз великолепный. Твои дети будут иметь предками гетмана князя Репнина и гетмана графа Разумовского: прекрасная страница для русской родословной. По правам жены ты — возможный наследник графа Шереметьева^{270*}. Сейчас ты по тестю вступаешь в родство с светлейшим князем министром двора¹⁰⁴, по теще — с министром народного просвещения¹⁰⁵: оба в состоянии продвинуть тебя вперед, и ты вправе претендовать на их родственную поддержку. Не смущайся этим синодиком фиктивных выгод, как ни отдает он ме-муарами m-me де Креки^{271*}; я говорю с тобою серьезно, они могут стать реальными, потому что им в подмогу — твоя собственная реальная ценность: твоя репутация установлена, ты пользуешься прочным доверием, словом — твоя карьера сделана больше чем наполовину, и сделана самим тобою, без всякой примеси чужого покровительства. Поэтому, когда естественно представляются новые средства, которые могут облегчить развитие твоих способностей, нет ничего неблагоприятного в том, чтобы воспользоваться ими. Такого рода покровительство, на мой взгляд не может быть оскорбительно для твоего самолюбия. В твои годы, с твоим умом и с опытом, которую ты должен был приобрести, ты не можешь не понимать, что известная доля практической сметки необходима, раз человек хочет быть оценен по достоинству. Не будь же ребенком в 32 года и не пренебреги им из упрямства воспользоваться благоприятным ветром, с какой бы стороны он не дул; но сделай это как искусный мореход и вместе как благородный человек. Таковы мои размышления — плод долгого и, следовательно, печального опыта; прими их не как догматические правила, предписываемые наставником, а как советы друга многого видевшего, многое пережившего и теперь взирающего на жизнь очень холодным взглядом. Взвесь их на досуге, сопоставь их с твоими собственными мыслями, и действуй, как найдешь нужным.

«Наряду с выгодами, о которых я говорил выше, есть в этом деле и темная сторона: я говорю о состоянии Репниных. Оно крайне расстроено. У тебя нет никакого; как же ты будешь жить с женою, рожденной и воспитан-

ной в семействе, которому не хватало годового дохода более чем в полмиллиона? Хочу верить, что прежде, чем решиться, ты тщательно взвесил это обстоятельство и откровенно объяснился с родителями не в видах гнусного стяжения, а в интересах той особы, которая вверяет тебе свою судьбу и о благе которой ты должен заботиться всю жизнь. Твой ум и твоя порядочность до известной степени служат мне ручательством; но что если ты дал увлечь себя страсти!.. Княгиня-мать, как умная женщина, несомненно думала об этом и не вверила тебе своей дочери, не обеспечив себя заранее относительно ее будущности. Это соображение еще более обнадеживает меня; но я не успокоюсь, пока не получу от тебя совершенно положительных разъяснений на этот счет». Николай Иванович имел довольно точные сведения о положении Репнинских дел — от одного из членов комиссии, учрежденной по делам Репнина; эти сведения он далее сообщает брату.

Павел в ответном письме успокаивает его: страсти в нем нет, он действовал рассудительно; он своевременно собрал все нужные справки и убедился, что дела Репниных не безнадежны, чрез несколько лет они будут устроены, и что уцелеет, будет еще огромное состояние. Если бы этого и не было, он все-таки не отказался бы от своего намерения в виду исключительных достоинств, которые он нашел в девушке. Родители — люди настолько благородные, что в отношении приданого он счел возможным положиться на простое их обещание: они обязались, впредь до упорядочения дел, выдавать ему от 20 до 24 тыс. руб. ассигнациями в год, частями каждые три месяца, а по освобождении имения — выделить Елизавете Николаевне 13—14 000 десятин с 1500 душ. Таким образом, партия и с этой стороны оказалась достаточно выгодной.

Немного недель спустя Николай Иванович снова берется за перо, чтобы преподать совет Павлу. Последний в письме к сестре Софье высказал желание, чтобы она и мать написали родителям его невесты. Это дошло до сведения Николая, и вот что он пишет Павлу, предостерегая его от ложных шагов. «Мы живем в уравнительном веке, это верно: доказательство — твой брак, брак плебея с патрицианкой. Правда, расстояние, лежавшее между вами до известной меры заполнено твоим воспитанием, открывшим тебе тот путь, по которому ты с таким почетом идешь, и репутацией, которую ты лично сумел заслужить, но отсюда вовсе не следует, чтобы между вами существовало полное равенство во всем и для всех; извини, милый друг, но это так; и думая так, ты впал бы в жестокое заблуждение. Ты должен очень внимательно остерегаться этого с самого начала, чтобы тебе не пришлось потом горько пенять на себя. По всем данным твое теперешнее положение налагает на тебя несносную, но неизбежную обязанность замкнуться в касте¹⁰⁶, да, строго замкнуться в ней, под страхом утратить в противном случае значительную часть тех преимуществ, которые открываются пред тобою. Отдай себе хорошенько отчет (в твоём интимном сознании), что ты — всего только сын простого дворянчика Болховского уезда, что твоя мать и твои сестры на всю жизнь остались зарытыми в этой глуши, и что лучшее, что можно сделать для них, это — оставить их в тени. Эти со-

ображения могут с известной точки зрения казаться ничтожными, низменными, почти смешными; но есть другая точка зрения, с которой они представляются не столь слабыми и ложными, что впрочем, легче почувствовать, нежели объяснить. Делай как знаешь; я имею в виду единственно твое благо, и в этом смысле я советую тебе только строго рассчитывать каждое биение твоего сердца и сдерживать его сколько возможно».

Я.И. Сабуров, оставивший ценные воспоминания о Н.И. Кривцове, много раз цитированные выше, сообщает между прочим, что Николай Иванович, вообще не лишенный тщеславия, имел слабость к геральдическим знакам: он всюду прилеплял герб Кривцовых, кстати и некстати, даже на киотах образов в Любичской часовне, и беспрестанно придумывал девизы к этому гербу¹⁰⁷. В первом из приведенных выше писем к Павлу по поводу его женитьбы Николай Иванович подробно сообщает ему форму геральдической ливреи рода Кривцовых: парадная ливрея темно-синяя на желтой подкладке, жилет желтый, брюки черные бархатные или бумажного бархата, галуны и пуговицы серебряные, пуговицы с фамильным гербом; малая или денная ливрея — серый камзол, и т.д., и т.д. Он спрашивает брата, сколько дюжин ему нужно таких пуговиц с фамильным гербом, больших и малых? Он пришлет ему нужное количество, у него есть запас хорошего качества, изготовленных в Лондоне. — Очевидно он запаса им в изобилии еще в 1820 году.

Накануне свадьбы Павел Кривцов дружески встретился с двумя Гофвильскими товарищами: с Александром Суворовым, который с женою и друзьями ехал в Неаполь — к своей сестре, Пушкинской Марии Аркадьевне Голицыной^{272*}, и с Феликсом Фонтоном. Свадьба состоялась, как сказано, 12/24 ноября 1837 года. Павел Иванович и после женитьбы продолжал свою службу в Риме. Он мог теперь спокойнее ждать повышений.

XIII

Numero deus impari gaudet *

l'erg.

После своего производства в ноябре 1837 года Сергей Иванович полтора года тянул лямку на Кавказе. Летняя экспедиция этого года была последней, в какой он участвовал. Отныне он жил оседло, преимущественно в Ставрополе. Деньги получал он от сестер, управлявших уцелевшей частью его имения, жил скромно, но не скучно, по зимам часто танцевал на ставропольских балах; с ним было несколько человек крепостной прислуги. С самого производства он хлопотал об отставке, и хлопотал за него Николай Иванович, наезжая временами в Петербург; но это было трудное дело.

В Любичах жизнь шла по-прежнему, в строго-размеренном порядке, но прежняя суровость как-то незаметно смягчилась, стало легче дышать. То,

* Нечетному числу бог радуется (*лат*)

что писал Сергей о перемене, происшедшей в характере брата, подтверждается всеми нашими сведениями. Сломали ли годы и неудачи крутой нрав, или то было следствием сознательного решения, но с половины 30-х годов Николай Иванович видимо смягчается, становится человечнее, ласковее. Этот перелом совпадает с двумя событиями: с его отставкою, то есть окончательным отказом от честолюбивых надежд, и с обнаружением неизлечимой болезни жены. Екатерина Федоровна уже давно прихварывала, ездила в 1834 году к московским врачам; болезнь была хроническая, не опасная для жизни, но сопряженная с острыми болями, угнетающая настроение. В душе Николая Ивановича как-то внезапно проснулась жалость к жене, даже некоторая нежность; он усердно возит жену то в Петербург, то в Москву лечиться, настаивает на исполнении предписаний врача, окружает жену заботами, с виду по-прежнему властно, но с затаенной тревогой. Ей самой была непонятна эта перемена в нем: она так давно, — пишет она, — потеряла надежду завоевать его привязанность! Правда, он спохватился слишком поздно: ее телесное существование еще можно было продлить, но уже ничем нельзя было воскресить ее душу, вернуть ей радость жизни; долгие годы прозябанья а тени, без солнца и без воли, под железной ферулой²⁷³ мужниной власти, всего же более это убийственное самосознание нелюбимой, презираемой жены, убили в ней жизненную силу. Теперь она уже не могла жаловаться на холодность мужа, и все-таки она часто плачет, сама не зная о чем, и ищет утешения в молитве. В Москве и Петербурге ей приходилось бывать в свете ради подрастающей дочери: дочь надо было вывозить, посещать с нею балы и проч.; Екатерина Федоровна очень страдала от этого, и чтобы облегчить себе крест, она сидя на балах, утешала себя мыслью (это ее подлинные слова), что она тем исполняет религиозную обязанность.

Кривцов получил отставку с мундиром и полной пенсией. Теперь средств было достаточно — он получал ведь и аренду; можно было свободнее жить в столице и позволять себе неурочные траты; как раз к этому времени (1836-1838) относится постройка домового церкви в Любичах, для которой Николай Иванович выписывает через Павла из Италии иконы и мозаики. Только теперь, внутренне отрекшись от шумного света, Кривцов впервые почувствовал себя оседлым в Любичах и полюбил свое гнездо. Б.Н. Чичерин передает, что Николай Иванович любил цитировать стихи Пушкина, прилагая их к себе:

Я долго жил и многим наслаждался,
Но с той поры лишь ведаю блаженство.
Как в *Любичи* Господь меня привел.²⁷⁴*

Но такое настроение было у него только в эти предпоследние годы, 1836-го по 1842-й. Мягкость его, как опять верно заметил Сергей, распространилась и на материнскую его семью: он стал часто навещать мать, заезжал и к сестрам, хлопотал в Петербурге по их делам, писал душевные пи-

сьма Сергею. Мать он не видел несколько лет; зимою 1835 года он посетил ее, а весной следующего года прислал к ней Екатерину Федоровну с дочерью Софьей. Екатерина Федоровна писала потом Чичериной, что у нее почти все время стояли слезы в глазах, пока она гостила у Веры Ивановны, — до такой степени трогательна была радость старушки при виде Сонечки и при воспоминании о недавней побывке Кривцова. Вера Ивановна беспрестанно повторяла: ей стыдно вспомнить, что она могла думать, будто Николай Иванович от них отстал; он был так мил нынче зимою! Екатерину Федоровну умиляла и ужасала эта безответность, это бескорыстие материнской любви; она говорила себе: «вот что ждет нас всех и меня в частности: после 10 лет разлуки Сонечке может быть позволят приехать ко мне на два дня! Надеждою на эти два дня я буду жить те 10 лет, буду мерзнуть в Любичах с глазу на глаз с Кривцовым, дремлющим в креслах или, еще хуже того, может быть, страдающим от своих ран, — и на это-то стоило потратить свою жизнь!»

С женитьбою Павла круг деятельности Николая Ивановича неожиданно расширился. В видах обеспечения обещанной молодым ежегодной субсидии Репнины предоставили Павлу Ивановичу одно из своих имений — Тамалу, в Балашевском уезде Саратовской губ.: 1200 душ и 14 000 десятин земли. Тотчас после женитьбы Павел обратился к Николаю Ивановичу с предложением взять в свое управление Тамалу, и Николай Иванович охотно согласился: он любил строить, усовершенствовать, заводить новые порядки, а Любичи давали мало простора для его замыслов. Он тотчас составил обширный агрономический план и энергически принялся за его осуществление, но крестьяне в первый же год взбунтовались, дело дошло до старика-Репнина, вышла неприятная история. Тем не менее Николай Иванович продолжал управлять Тамалой до своей смерти.

В апреле 1839 года Сергей Иванович наконец получил отставку — за болезнью, как сказано в официальной бумаге. Он должен был дать подписку в том, что отправляется для проживания в Болховский уезд, где будет состоять под надзором полиции; въезд в столицы был ему запрещен. Ссылка кончилась^{275*}. 14 декабря отняло у него тринадцать лет жизни и навсегда прервало ту линию, по которой он направился было в жизненный путь. Но он был еще не стар: ему как раз минуло 37 лет. Он имел редкое счастье застать всех своих живыми; Вера Ивановна была еще сравнительно очень бодрa. Возвращаясь с Кавказа, он прежде всего заехал к Николаю Ивановичу в Любичи.

С Павлом он мог увидеться в следующем году, когда тот по делам приехал в Россию. Павел приезжал пожать плоды услуг, которые ему удалось в последнее время оказать царской фамилии. Услуги эти были невысокого разбора: во-первых, он состоял при наследнике, Александре Николаевиче, в бытность последнего в Риме (в начале 1839 года), во-вторых, он как-то очень экономно купил в Карраре^{276*} мраморы для отделки Зимнего дворца, который в это время возобновляли после пожара. Он ехал с определенным планом. По рассказу художника А.А. Иванова^{277*}, дело было так¹⁰⁸. Рус-

ско-немецкий художник Киль^{278*}, проживавший в Риме, высказал Кривцову мысль о необходимости учредить должность начальника над русскими художниками в Риме и о своем намерении проситься на это место. Мысль понравилась Кривцову, но с тем, чтобы самому занять эту доходную синекуру. В Петербурге его приняли очень милостиво: в январе 1840 г. он был назначен на эту должность с тем жалованьем, какое он сам указал в своей докладной записке¹⁰⁹, и с прибавкою нескольких тысяч на секретаря и канцелярию; ему был обещан к пасхе чин статского советника, государь обладал его, государыня, несмотря на нездоровье, приняла его и благодарила за услуги, оказанные им наследнику. Уезжая в половине января, он взял себе в спутники молоденького И.С. Тургенева, тоже ехавшего в Рим; сообщая об этом Николаю Ивановичу, он поручал ему при случае передать его поклон Варваре Петровне, но удержать ее от поездки в Италию. А в ноябре этого же года он писал из Москвы Сергею: «Сегодня был у Варвары Петровны Тургеневой. Она похорошела и ходит в платье, точно как в мое время было у Тимофеевского священника, — полосатая риза. Она вздыхала — не риза, а Варв. Петр., — бросилась ко мне на шею, жала мне пальцы, но впрочем гораздо проще обыкновенного, спрашивала и вздыхала про и по тебе, не врала чепухи, играла в преферанс с высокопревосходительной Мухановой и была на своем месте».

У Павла Ивановича в это время была уже дочь, а вскоре затем родился еще сын. Начальство над русскими художниками доставило ему почетное и независимое положение, так что отныне он зажил в Риме еще привольнее прежнего. Он широко инсценировал свою синекуру, окружил себя штатом (секретарь, библиотекарь, доктор, агент и пр.), и делал вид, что делает важное дело. А.А. Иванов, работавший тогда в Риме над своей знаменитой картиной, позднее горько жаловался на вред, причиненный русским художникам «беззаконным, немим правлением» Кривцова: оно деморализовало художников, слабые из них подделывались к директору ради денежных подачек, те же, которые чувствовали себя истинными художниками, отвернулись от своего общества и терпели нужду¹¹⁰.

Еще хуже, с нескрываемым презрением, отзывался о Кривцове Гоголь. Он познакомился с Кривцовым, по-видимому, вскоре своего приезда в Рим; на экземпляре «Ревизора» (1-го издания, 1836 г.), подаренном им Кривцову, он написал: «Павлу Ивановичу Кривцову в знак истинного уважения от Автора». Позднее связующим звеном между ними стала семья Репниных, с которою Гоголь, как известно, был дружен; но особенной близости между ними не образовалось: слишком чужды были друг другу Гоголь 1839—40 годов и умный, ленивый, из эгоизма благодушный барин-дипломат. Однако, лишь только разнесся слух о назначении Кривцова начальником над русскими художниками, Гоголь, бывший тогда в денежной нужде, задумал проситься к нему в секретари. Хлопотал он чрез Жуковского, Плетнева^{279*}, Репниных, но безуспешно. Получив отказ, он писал С.Т. Аксакову^{280*}: «Я почти, признаюсь, это предвидел, потому что Кривцова, который надул всех, я разгадал почти с первого взгляда. Это человек,

который слишком любит только одного себя и прикинулся любящим и то, и се, потому только, чтобы посредством этого более удовлетворять своей страсти, то есть любви к самому себе. Он мною дорожит столько же, как тряпкой. Ему нужно иметь при себе непременно какую-нибудь европейскую знаменитость в художественном мире, в достоинство внутреннее которого он хотя, может быть, и сам не верит, но верит в разнесшуюся его знаменитость; ибо ему — что весьма естественно — хочется разыграть со всем блеском ту роль, которую он не очень смыслит»¹¹¹.

В этом было много правды. Позднее, в 1841 году, Кривцов чрез Жуковского приглашал Гоголя на место библиотекаря при себе, но обиженный Гоголь с негодованием отверг это предложение¹¹².

Впрочем, надо заметить, что большинство русских художников Кривцов сумел привлечь к себе своим благодушием. Он любил, чтобы его любили, и достигал этой цели отчасти личной обходительностью, а главное — денежными подачками, хлопотами о продлении стипендии и проч. Иванов, без сомнения, был прав, называя эту политику системой развращения художников, и еще более должна была раздражать таких людей, как Гоголь и Иванов, двойная бухгалтерия Кривцова: демократическая фамильярность с художниками, и одновременно — откровенное угодничество пред сильными мира сего.

С начала 40-х годов Николай Иванович начал прихварывать. Дело по управлению Тамалой все не ладилось; страшные неурожаи 1839, 1840, 1841 годов сильно тревожили его; в это же время возник у него процесс с соседом, бывшим приятелем. Он начал «скучать и задумываться»; бывши всю жизнь материалистом и школы Вольтера, рассказывает Я.И. Сабуров, тут стали приходить ему на ум религиозные мысли и срывались как бы в шутку с его языка. В 1842 году, из-за болей в оторванной ноге, он должен был снять свою пробковую ногу и с тех пор ходил на костылях. Он таил про себя свои недомогания, и даже Екатерина Федоровна, хотя тревожилась, но не ждала близкого конца. Он умер почти скоропостижно: простудился, похворал два дня, — и как обычно после позднего обеда дремал в креслах, так, 31 августа 1843 года в креслах тихо уснул навеки. В запечатанном пакете, с надписью: «Раскрыть жене после моей смерти», нашелся заранее составленный им рисунок его надгробного камня с фамильным гербом и тремя латинскими девизами: *Veritas salusque publica. — Vixi quem doderat cursum fortunae precī. — Nec timeo, nec spero**. Б.Н. Чичерин, видевший его в своем детстве, и Я.И. Сабуров согласно изображают его наружность: величественная фигура, высокого роста, атлетического сложения, лоб крутой и высокий, черные глаза за золотыми очками, волосы черные, а впоследствии серебристо-седые, всегда коротко остриженные. Сабуров прибавляет: «Говорил он сильно, горячо, красноречиво. Смотрел на вещи прямо и высказывал правду, которую не всегда люди сами себе говорят. Характера

* Истина и общественная польза — Жил тот, кому не подобает жаловаться на судьбу (*лат. испорч.*). — Не боюсь, не надеюсь (*лат.*).

был непреклонного, нрава раздражительного, безделица выводила его из себя. Писал он хорошо, но без всяких прикрас. Чувствительность, если и имел, то старался подавлять; она высказывалась у него только полезными делами для тех, кого он любил. На все окружающие его предметы и даже лица он клал свою печать»¹¹³. Похоронили его в Любичах, в построенной им часовне, среди чистого поля.

Известие о смерти брата застало Павла Ивановича в ту минуту, когда он готовился к окончательному возвращению в Россию. Почему он решил оставить службу и Рим, я в точности не знаю; возможно, что возрастающее расстройство дел в Тамале требовало его присутствия; возможно также, что его жена сильно скучала по своим родным¹¹⁴. Елизавета Николаевна с детьми должна была ехать вперед, прямо к своим родителям в Яготин (Полтавской губ.), а он оставался до конца года, чтобы ликвидировать хозяйство и дожидаться нового посланника, Бутенева^{281*}, которому, как первый секретарь, должен был передать дела. Известие о смерти Николая Ивановича пришло еще до отъезда Елизаветы Николаевны; почти одновременно пришло известие о смерти мужа сестры Софьи, Лаврова. Теперь план был изменен в том смысле, что Елизавета Николаевна, повидавшись с родителями, поедет в Тимофеевское, чтобы сколько-нибудь успокоить убитую горем Веру Ивановну, сам же он, когда освободится, поедет сначала в Петербург, так как Екатерина Федоровна писала ему, что будет там с октября, и уже оттуда отправится тоже в Тимофеевское.

Смерть Николая ошеломила и потрясла его до глубины души. 18 сентября, уже проводив жену и детей в Россию, он писал Сергею: «Потеря брата-отца меня совершенно убила... Все мои мысли оканчиваются им и сливаются в одно неодолимое чувство горести... Неимоверно влияние, которое Николай мог производить. Он был мне маяком жизни, его одобрение было единственною наградою для меня, и все мои усилия были направлены к этой точке, потому что я уверен был, что он не пропустит и не спустит ничего, а уж ежели похвалит, то я могу почти гордиться. Он был точно чрезвычайный человек и носил, так сказать, отпечаток высокого назначения. Обстоятельства и, может быть, сила характера его и негибкость оного не позволили ему стать на месте, ему назначенном. Мир праху его. Oh! ihm ist wohl, wer aber weiss, was uns die nächste Stunde schwarz verschleiert bringt?»* — Это было точно несознанное предчувствие.

Дела задержали Павла Ивановича в Риме дольше, чем он предполагал. Только в конце декабря он мог двинуться в Россию. На прощанье несколько русских художников (Штернберг^{282*}, Н. Бенуа^{283*} и Скотти^{284*}) поднесли ему альбом из 30 прекрасных акварелей юмористического содержания с приложением соответствующего текста в плохих стихах (Резанова^{285*} и Рамазанова^{286*}). Этот альбом сохранился¹¹⁵. Тут изображены в красках и воспиты похождения разных русских художников-пансионеров, и дан ряд остроумных карикатур. Среди персонажей этой веселой эпопеи не раз фигури-

* О, ему хорошо, но кто знает, что нам принесет ближайший час, покрытый мраком (нем.).

рует в качестве Амфитриона и сам Павел Иванович, таким же, каким мы его знаем по замечательному портрету Брюллова^{287*}: толстый, с изрядным брюшком, с круглым, очень моложавым лицом без усов и бороды, с мягкими, добрыми чертами лица, пухлыми детскими губами и умным взглядом из-за очков. Последние пять акварелей изображают отъезд Кривцова из Рима и его приезд в Россию. Русские художники, прощаясь с ним, все протягивают к нему руки:

Просят все прегорячо,
Всякой лезет с просьбой новой...
А об чем? — Да, дайте в долг!..

и в сокрушении пристают к нему:

...вы нам скажите:
Когда голод заморит,
Так куда пойдем мы с просьбой?
Вы уедете от нас, —
Ведь придется завывать москвой,
Как не будет в Риме вас!

Потом они верхами провожают его за десять миль, потом он едет с Скотти в карете, потом подъезжает к Петербургу, и наконец радостно соединяется со своей семьей.

Он успел повидаться с матерью, с Сергеем, кое с кем из сестер, и через полгода по приезде, 12 августа 1844 года, скоропостижно скончался от удара в Любичах, куда приехал повидаться с Екатериной Федоровной. Ему было только 39 лет. Судьба устроила вопреки всем человеческим ожиданиям: теперь опорой семьи и единственной поддержкой матери остался Сергей Иванович, который столько лет считался безвозвратно погибшим для жизни. Павел Иванович оставил по себе бледную память. Одна дама (А.О. Смирнова?) метко характеризовала его в 1845 году: «Кривцов умер в прошлом году; он был ума приятного и обхождения facile. Он не имел, впрочем, *de la partie dans ses vues*», а так только имел ум про случай»¹¹⁶.

Сергей Иванович, по возвращении из ссылки в 1839 году, принял от Павла Тимофеевское и поселился здесь с матерью. После смерти Павла он стал опекуном его двух детей и взял на себя управление Тамалой; первое время вдова Павла с детьми даже жила в Тимофеевском. Еще в начале 1841 года он получил в Тимофеевском письмо от старого приятеля, бывшего окружного начальника в Минусинске, Александра Кузьмича Кузмина. После его отъезда из Минусинска Кузмин женился там и в 1837 году, бросив службу, уехал в среднюю Россию, где у него было небольшое имение. Оказалось, что они жили теперь в расстоянии всего 135 верст, что по-сибирски было «бабье дело — огня попросить у соседки». Кузмин сообщил Кривцо-

* Легкого; системы взглядов (франц.).

ву уже несвежие новости о минусинских знакомых, рассказал кое-что о себе и рассказал о смерти своей собаки, тоже знакомой Кривцову. Она издохла в России; Кузмин похоронил ее в своем саду под развесистой березой и поставил на ее могиле памятник с двумя надписями; на лицевой стороне было изображено:

Здесь лежит
ученый мопс Максимка,
доктор собачьих прав
и знаменитый путешественник по северной Азии,
облаявший берега Оби, Иртыша, Енисея и Абохана.

MLCCCXXXVIII

а на задней стороне красовалась эпитафия:

Максимка был добрейший пес,
Но лаял на людей почти без исключенья,
Собачьей мудростью решив вопрос.
Что все бесхвостые не стоят снисхожденья.

Этого-то Кузмина Сергей Иванович пригласил теперь в управляющие Тамалы. Кузмин с честью нес эту обязанность до своей смерти, а после его смерти ту же должность занял, по предложению Сергея Ивановича декабрист Беляев, тоже, как и он сам, прошедший через каторгу, поселение и военную службу на Кавказе¹¹⁷.

Вера Ивановна пережила и Николая, и Павла. Она жила с Сергеем, навещала дочерей, а со смерти Лаврова (1843) не расставалась с бездетной Софьей: то гостила у нее в Русском Броде Ливенского уезда, то Софья жила с нею в Тимофеевском. Умерла Вера Ивановна в Тимофеевском 10 декабря 1849 года семидесяти восьми лет. Таким образом, ей довелось еще целых десять лет прожить с Сергеем.

После смерти матери Сергей Иванович остался один в Тимофеевском; тот «Андрешка», который некогда жил при нем на Кавказе, — теперь уже пожилой и семейный человек, Андреян Степаныч — состоял у него дворецким. В 1856 году, в самый день коронавания Александра II, состоялось высочайшее повеление о снятии с Сергея Ивановича полицейского надзора, о возвращении ему потомственного дворянства и права жить в столицах. Год спустя Сергей Иванович женится на дочери Орловского губернатора Сафоновича, Анне Валериановне. Ему было 55 лет, ей 20. Сергей Иванович всюду был любим — и в Сибири, и на Кавказе; он легко сходиллся с людьми, был добр и верен в дружбе. При ясном, серьезно-настроенном уме была в нем какая-то детская незлобливость, сказывавшаяся в шутливости, которая никогда не покидала его, в склонности подтрунивать или добродушно или очень прозрачно мистифицировать. Он любил приезды гостей и всегда был любезен с ними; любил он порядок и аккуратность, и свое дере-

венское хозяйство вел исправно и просто, без всяких затей. Каждое утро он методически обходил надворные службы, шагал напрямиком, не спеша и не разбирая луж, высокий, сухощавый, в длинном пальто, заложив руки за спину, и когда, первые годы после смерти Павла, Елизавета Николаевна жила с детьми в Тимофеевском, ее маленькая дочь, очень любившая *oncle Serge*^{*}, бывало передразнивала его методическую походку с заложенными за спину руками. Сергей Иванович был здоров, но страдал астмой, нажитой на Кавказе. Туруханская жизнь вселила в него такое отвращение к ветру, что и в Тимофеевском он часто на ночь, в ветреную пору, перебирался из кабинета в одну из внутренних комнат; обычно же спальней служил ему, как и во все годы ссылки, кабинет, хотя в доме было около тридцати комнат. Он курил трубку, выписывал неизменно «*Journal des Débats*» и «Московские Ведомости» и любил читать многотомные сочинения, преимущественно исторического содержания, вроде «Истории английской революции» Гизо, конечно в подлиннике. Был строго определенных воззрений, не либеральничал, прилежно занимался хозяйством и берег копейку. Сергей Иванович пользовался большим почетом в своем уезде. В 1856 году В.А. Муханов писал о нем в своем дневнике: «он приобрел уважение дворянства и такую внушил всем уверенность благородством своего характера, опытностью в делах и готовностью на пользу ближнего, что все обращаются к нему для разбора спорных дел и для примирения лиц, между коими возникают раздоры и распри»¹¹⁸. В 1861 г. собрание предводителей дворянства Орловской губернии, «оценивая его просвещенный взгляд на реформу, освободившую крестьян от крепостной зависимости, его неуклонную справедливость и беспристрастие, а также отличную опытность в хозяйстве», выбрало его в члены губернского по крестьянским делам присутствия. «В этой должности он не позволял себе никаких мнений против строгой справедливости». Эти строки я заимствую из заметки о Сергее Ивановиче, напечатанной после его смерти, в «Орловских Губернских Ведомостях»¹¹⁹; там же сказано, что он много заботился об устройстве хозяйства своих бывших крестьян и всячески старался помогать им; они его любили и дорожили его вниманием.

После 1856 года Сергей Иванович стал ежегодно ездить в Москву. Он очень любил детей Павла и в каждый свой приезд покупал им дорогие подарки, в роде шелкового платья или тридцатирублевой шляпы для Ольги (тогда уже взрослой барышни), атласа или многотомного издания для Николая. В начале 60-х годов он ездил с женою за границу, и там, оставив где-то жену, один посетил Гофвиль. Фелленберга разумеется уже не было в живых (он умер в 1844 году), и школы не существовало.

Сергей Иванович умер в Тимофеевском 5 мая 1864 г., шестидесяти двух лет от роду. Детей у него не было. За 25 лет умелого и бережного хозяйничанья он успел накопить некоторый капитал, который и оставил жене; родовое же Тимофеевское он завещал своему племяннику, сыну Павла, Ни-

* Дядю Сергея (*франц.*).

колаю. Анна Валериановна впоследствии вторично вышла замуж — за Н.С. Абазу^{288*}.

Екатерина Федоровна на много лет пережила мужа, но что это была за жизнь! Люди, знавшие Екатерину Федоровну, как Сабуров и Чичерин, рассказывают, что в молодости она обладала живым, наблюдательным, насмешливым умом, характером пылким и впечатлительным, была изящна и привлекательна в манерах. Куда все это девалось! Кривцов подавил в ней волю, стер личность, заглушил все ростки. Но чудное дело: лишь только он умер, как все, что еще оставалось живого в этой опустошенной душе, собралось в одно страстное чувство безмерной любви к *нему*, в одну пылающую боль воспоминания о нем, о его смерти и отсутствии. Ее письма к ее другу Чичериной на протяжении полутора десятка лет после смерти мужа полны им. Особенно в первые годы ее страдания были нестерпимы. Ее письма этих лет поражают глубиной скорби и трогательной прелестью религиозного смирения. В ее чувстве Николай Иванович жив, она говорит с ним, советуется, делит свои мысли; и вместе с тем, она мучительно-ясно чувствует, что его уже нет, и навсегда, — и ей так ужасно жаль его. Это двойственное сознание убивает ее, ее день — сплошная пытка¹²⁰, и когда день кончается, она так изнурена, что не верит в возможность завтра снова встать и жить; и так отрадна ей мысль о том, чтобы больше не встать, что она принуждена гнать ее от себя, как искушение: ведь у нее дочь, Сонечка, еще не пристроенная. Только в молитве она находит временный покой. И в конце концов молитва вернула ей цельность чувства. Именно, вскоре после смерти мужа она принялась читать его заграничный дневник, которого до тех пор она не знала. Она была поражена: он, при ней всегда такой сухой и замкнутый, как полон чувства, как глубоко предан благу родины! А больше всего поразила ее глубина его веры: в строках его дневника ей помешалось (чего там в действительности нет) страстное обожание Христа. С этой минуты ей открылся путь: теперь, каждый раз, когда она молится, ей кажется, что *он* тут: это, пишет она, как бы свидание с ним у ног Спасителя. Может быть, пишет она, это грех — ставить его рядом с Богом; но у него была такая великая душа, что Бог простит ей этот грех.

Ей кажется, что все кругом делит с нею ее скорбь о нем. Она рассказывает, как однажды летом (это было в 1845 году) она гуляла перед вечером с гостившей у нее знакомой; навстречу им попались крестьянки, возвращавшиеся с работы; на ее вопрос, почему они не поют, одна молодая баба ответила: «А мы не смеем песни играть, Катерина Федоровна: думаем — ох, у тебя теперь тоска на сердце, может тебе и хуже сгрустнется, как мы заиграем. Жалко тебя». В другой раз она пишет (по-французски): «Чем труднее и тягостнее мне теперь, тем более я довольна. Мне нужно, чтобы все, каждую минуту, беспрестанно напоминало мне, что моя утрата ничем может быть возмещена или умалена. *Пускай и воздух на меня тоскою дует*¹²¹. Я помню о нем и без напоминаний, но мне отрадно, чтобы все его чувствовало и говорило мне о нем».

Она жила с дочерью все больше в Любичах, но по зимам приходилось

переселяться в Петербург, чтобы дочь могла бывать в свете. У нее были родственные связи в высшем обществе, дочь приглашали на балы у Демидова^{289*}, у разных посланников и пр. Екатерина Федоровна не сопровождала дочь на балы — это делали за нее другие. Ей кажется, что она задрожит, если ее назовут по фамилии. Она и раньше всегда вывозила дочь без Николая Ивановича, но тогда она, сидя на балу, думала о том, что она напишет ему о развлечениях Сонечки и об ее маленьких успехах в свете; а теперь о чем бы она стала думать? О том, как он лежит холодный и прямой в Любичской часовне? Но тогда она не могла бы удержать слез.

Наконец, в 1846 году Сонечка вышла замуж за Помпея Николаевича Батюшкова, и молодые поселились у нее в Любичах. Казалось бы, она должна быть довольна; но нет, в ней поднимается новая, черная, мятежная боль. Сонечка счастлива, Сонечка беззаботна: это, конечно, вполне естественно; но как могла она так скоро забыть? Как может она так весело произносить свою *новую* фамилию? *Его* следы исчезают; молодые устроили свою спальню в той комнате, «где душа Любичей покинула землю», разумеется убрав эту комнату по-новому, по-своему: это кажется ей почти кошунством. Бывший кабинет Николая Ивановича превращен в кабинет Батюшкова, — тут молодые проводят весь день и говорят о счастье и находят его. А она одна весь день со своей старушкой-компаньонкой. Для нее существуют двое Любичей: одни — прежние, бесконечно-милые, Любичи при *ней*; те Любичи умерли (она говорит: «бедные Любичи», как о муже: «бедный Кривцов») — она только носит их в себе; и другие Любичи, где теперь хозяйничает Софья с мужем, этих Любичей она не узнает, в них ей все чуждо, она рада бы бежать отсюда, куда глаза глядят.

Потом Батюшковы переехали в Петербург, и она осталась одна. В начале 50-х годов дочь упростила ее переехать к ним в Вильну, где тогда служил Помпей Николаевич¹²²; но она не долго пожила у них: ее тянуло в Любичи, и она вернулась туда. Опять прошли годы, Екатерина Федоровна жила одна, сознавая бесцельность своей жизни, но почерпая силу жить в глубокой покорности Провидению. В 1860 году она переехала к Батюшковым в Петербург, и там в 1861 году умерла. У Батюшковых не было детей. Софья Николаевна умерла почти 80 лет в 1901 году.

Вдова Павла Ивановича Кривцова умерла молодою в 1855 году, оставив двух своих детей — дочь и сына — на попечении Сергея Ивановича и своей сестры, княжны Варвары Николаевны Репниной^{290*}, известной по ее дружбе с Гоголем и Шевченко. Эта дочь, Ольга Павловна, еще живя в Москве с матерью в 1850-54 годах, была дружна с единственной дочерью вдового Александра Николаевича Раевского^{291*}, чья сестра, тогда уже тоже вдова, была, как известно, за Михаилом Федоровичем Орловым. В доме Раевского Ольга Павловна познакомилась с их сыном, Николаем Михайловичем Орловым; за него и вышла замуж в 1857 году; когда-то одну из сестер А.Н. Раевского, Софью Николаевну, сватали в Риме за Павла Кривцова.

Сын Павла Ивановича, Николай, умер в молодых годах неженатым, и Тимофеевское, как и Тамала досталось Ольге Павловне. При ней еще долго

управляющим Тимофеевского был сын того самого Андреяшки, Николай Андреяныч. Потом, уже в наши дни, когда русская земля тронулась со своих основ, репинская Тамала, подобно многим другим дворянским имениям, была продана крестьянам через Крестьянский банк, и одновременно Кривцовское Тимофеевское, уже давно не жилое, было продано его бывшему арендатору с частью земли, остальная же, большая часть земли вернулась в свое первобытное и законное состояние, то есть перешла через тот же банк к крестьянам. Так кончила свое существование колыбель рода Кривцовых. Товарный вагон увез в Москву старинные диваны с изорванными сиденьями, кожаные кресла, темные портреты, ящики с посудой, книги в кожаных переплетах и позднейшие конские лечебники без переплетов, и вороха безбожно перемешанных, милых выцветших писем. Там, в опустелом старом доме, ходят и хозяйничают чужие люди, равнодушные к тем стенам, да в ограде церкви спят под плитами бывшие владельцы Тимофеевского — Сергей Иванович, Вера Ивановна, ее муж Иван Васильевич, и назад еще сколько-то поколений. Если бы те диваны и графины, 24 одинаковых графина затейливой формы, умели чувствовать, им было бы теперь холодно и неприятно в московском доме при свете электрических ламп. Но они не чувствуют; они давным-давно уснули летаргическим сном, крепко спящих их нагружали в вагон, везли, вынимали и ставили здесь по местам, и теперь они беспробудно спят, уже навеки.

Сохранилась прекрасная старинная грамота, с которой начинается история господского Тимофеевского.

Посадский человек города Болхова, Осип Кривцов, в числе других выборных подписал Уложение^{292*} царя Алексея Михайловича; его сыну Фаддею, военному человеку на месте, было дано Тимофеевское в поместье, и от него оно понесло свое второе название Фаддеево. В 1703 году, гласит грамота, по заключении мира^{293*}, царь Петр Алексеевич того Фаддея Осипова Кривцова за его многую службу, что он служил блаженным памяти великому государю царю и великому князю Алексею Михайловичу, и великому государю царю и великому князю Федору Алексиеву^{294*} и ему самому, Петру Алексеевичу, против салтана турецкого и крымского хана, жалую и милостиво похваляя, пожаловал ему, Кривцову, то его поместье Фаддеево-Тимофеевское в вотчину со крестьяны и со всеми угоды «на память в предбудущим рода его, и чтобы впредь, на его службы смотря, дети его, и внучата, и правнучата, и кто по нему рода его будет, так же за веру христианскую, и за святых Божия церкви, и за нас великаго Государя, и за свое отечество стояли крепко и мужественно». — Три поколения Кривцовых сменились с тех пор в Тимофеевском на протяжении века; четвертым были наши три брата, Николай, Сергей и Павел, и когда они, ища новой жизни, ушли из дому, дом пришел в упадок. И вот совсем не стало его, а потомки тех прадедов и дедов рассеялись и утонули в великой разночинской массе.

Но Тимофеевское существует и сейчас. Барское Тимофеевское исчезло, крестьянское осталось; в нем «дворов 67, ревизских душ 140, наличных 210, земли, вместе с щербачевской, 722 десятины». Как оно живет, об этом

говорят письма, присылаемые оттуда. Пишет учитель, что по случаю эпидемии пришлось закрыть школу на столько-то времени, или что по случаю весеннего разлива рек Татинские школьники столько-то времени не могли ходить в школу; просит вдова многодетная благотельницу-барышню относительно своей «бедной нужды», и о том же молят с жалчайшим унижением, с невероятным косноязычием, и другая, и третья, и еще многие вдовы; пишет молодой парень, что умерли у него папаша и мамаша, а сестра, кончив министерскую школу, «жаждет к дальнейшему образованию», на что у него однако нет средств; пишет чрезвычайно грамотно, с уверенной развязностью, местный священник: «Будьте любезны уведомить меня, продолжать ли мне поминовение Ваших родственников, погребенных в селе Фадееве, и если продолжать, прошу Вас сделать распоряжение о выдаче денег из конторы за минувший год». А летом — пожар «от причин, пока еще не выясненных»: за полтора часа, с 3 до 4 1/2 дня, сгорело 16 дворов; все мужчины были в поле, многие женщины ушли по траву для скота, и домашнего имущества некому было спасти; сгорел и запасной хлеб до нового урожая.

Но мужицкое Тимофеевское цело, — в нем есть несокрушимая крепость. Когда тимофеевские мужики говорят искренно, они говорят словами тяжелыми и существенными: каждое слово — как приложенная печать. Благодаря за помощь по случаю пожара, они пишут всем обществом: «Да пошли Господи здравия Вашей милости на многие лета, а родителям Вашим, живым быть живыми на многие лета, а уسوبшим подаждь Господи царствие небесное, вечный покой». А когда речь заходит о земле, их голос становится почти торжественным; так, уже в 1900-х годах Тимофеевское общество писало тогдашней владелице: «Мы все единодушно и согласно с большим энергием желаем спросить Вашу милость: вслучае сдумаете продавать оставшею землю, то просим Вас, Милостивая Государыня, не оставьте нашу прозбу к Вашей милости: чтобы Вы известили нам о таком задуманном случае. Так как мы родные дети своей матери, да и пролитое есть кровь наша на етой земле дедов наших, то мы с большим желаньем вслучае какого дела примим все ето на себя, как ето ни было трудно».

Старый барский дом в Тимофеевском теперь — как опустевшее и выветрившееся гнездо, где паук вьет свою паутину, куда порою заползает муравей; а дуб корявый стоит корнями в земле, и веку его конца не видно.

Примечания

¹ О.Н.И. Кривцов в занятой французами Москве см. скромные и добросовестные записки Вендрамини — «Еженедельное прибавление» к «Русскому Инвалиду» за 1864 г. №№ 30 и 31 (перев. с франц.); «La Russie pendant les guerres de l'Empire», souvenirs historiques de M. Armand Domerque. Paris. 1835. Т. II. Pp. 132—133; *Gadaruel* Relation du séjour des Français à Moscou, etc. Bruxelles, 1871 (цитировано в: А. Surugue. Mil huit cent douze. Les Français à Moscou. Moscou, 1910. Pp. 56—57); *Русский Архив* 1864. С. 1078—79 (здесь сказано, что при вторжении толпы в Воспитательный дом Кривцов надел мундир и объявил себя московским генерал-губернатором). Сравни. «Воспоминания» А.М. Фадеева Одесса, 1897. С. 162—163. — Рескрипт

Карла X от 24 июля 1826 г. о пожаловании Кривцову ордена Почетного легиона a dater du 18 Avril 1816, находится в Моск. Архиве Иностр. Дел, Администр. дела, III, 6, 1827, 6.

² Формулярный список Н.И. Кривцова в «Русской Старине». 1888, дек. С. 729, и цитируемые ниже воспоминания о нем Сабурова, Чичерина, статья Гаевского в «Вестнике Европы». 1887 г.

³ Сабуров Я.И. Н.И. Кривцов. — *Русская Старина*. 1888, декабрь. С. 720—721.

⁴ Щукинский сборник. III. С. 276.

⁵ Книга Дювала озаглавлена: *Les levées départementales dans l'Allier*. 2 vol. Ed. Plon-Nourrit. Paris, 1911—1912; статья в «La Nouvelle Revue» № 100, 15 Février 1912. — *Gilbert Stengler*. Un bourbonnais célèbre. Le général baron Jean Rabusson.

⁶ *Ferd. Christin et la Princesse Tourkestanow*. Moscow, 1883. P. 503, 558.

⁷ Моск. Арх. Иностр. Дел. Адм. д. IV, 1. 1817, 33.

⁸ Цитируемое ниже «дело» № 84, 1832—36 гг., из Архива Мин. Внутр. Дел. Л. 44.

⁹ *Ferd. Christin etc*. P. 504.

¹⁰ Там же. P. 554.

¹¹ Там же. P. 558.

¹² (В. Измайлов). Сельское заведение в Гофвиле. Из *Espr. des Journ.* — *Вестник Европы*. 1813. Ч. LXVII. С. 131—147.

¹³ Сухомлинов М.И. Исследования и статьи». СПб. 1889. Т. II. С. 133—134.

¹⁴ «Донесение Его Императорскому Величеству, представленное Статс-Секретарем графом Каподистрия о заведениях Г. Фелленберга в Гофвиле, в Октябре 1814 года. Перевод с Французского. Санктпетербург, 1817», нenum. С. 3—4. Подлинник рескрипта был написан, конечно, по-французски.

¹⁵ Там же. С. 2.

¹⁶ *Рождественский С.В.* Историч. обзор деятельности Мин. Нар. Просв. 1802—1902. СПб. С. 109—115.

¹⁷ Там же. С. 145, и *Пытин*. Общественное движение в России при Александре I. Изд. 4-е. С. 336.

¹⁸ Московский Архив Мин. Иностр. Дел. Администр. дела, II, 21, 1817, 2 (подлинник по-франц.).

¹⁹ Подлинник (по-франц.) — в рукописном отделении Имп. Публ. Библ. (Бумаги П.Н. Батюшкова).

²⁰ Московский архив М.И.Д. Администр. дела, II, 21, 1817, 2 (подлинник по-франц.).

²¹ Там же, копия.

²² *Тимирязев Ф.И.* Страницы прошлого — *Русский Архив*. 1884 г. Кн. 2. С. 303—304.

²³ Братья Вадковской и кузен.

²⁴ Старинный романс, о котором говорит Кривцов, начинался, кажется, так:

Ручей два древа разделяет,
Но ветви их сплетаясь растут,
Судьба два сердца разделяет,
Но мысли их вдвоем живут...

²⁵ Д.П. Северин, член «Арзамаса» («Резвый кот»), служил в канцелярии Министерства Иностр. Дел.

²⁶ Моск. Архив Мин. Иностр. Дел. Администр. дела, IV, 4, 1818, 3.

²⁷ Там же, письмо Кривцова к Нессельроде, управляющему тогда Министерством Иностр. Дел.

²⁸ В Щукинском сборнике, III, стр. 277 и д., напечатано письмо Кривцова к его матери с дороги, из Риги, от 17 марта 1818 г. В Дерпте, очевидно по рекомендательному письму Жуковского, он посетил Мойерова и Е.А. Протасову.

²⁹ Эти строки дневника цитировал В.П. Гаевский в своей статье «Пушкин и Кривцов». — *Вестник Европы*. 1887, декабрь.

- ³⁰ «Старина и Новизна» I. С. 43.
- ³¹ Майков Л. Н. Материалы для академ. изд. соч. А. С. Пушкина. СПб. 1902. С. 1.
- ³² Остаф. архив. I. С. 117.
- ³³ Переписка А. С. Пушкина. Под ред. В. И. Саитова. Т. I. С. 10.
- ³⁴ Письма А. И. Тургенева к Н. И. Тургеневу. Лейпциг, 1872. С. 165—170.
- ³⁵ «Заметки за границу». С.-Петербург, 1845. С. 295—296.
- ³⁶ То есть к воспитанникам других школ Института; Гофвилское заведение было разбросано по нескольким смежным деревням: Гофвиль, Бухзей, Димерсвиль.
- ³⁷ См. еще подробное описание Гофвиля в книге А. Глаголева «Записки русского путешественника», 1837, второе изд. 1845. Ч. 2. С. 191—218. Глаголев посетил Гофвиль в 1823 году.
- ³⁸ Известно, что Песталоцци был крайне неряшлив во внешности. Он был в это время уже стар, за семьдесят (род. 1746).
- ³⁹ Иосиф Гамель, доктор медицины, впоследствии академик, много содействовавший введению в Россию Ланкастеровой системы; о нем см. *Пытин*. Обществ. движ. Изд. 4-е, 1908 г. С. 334—336.
- ⁴⁰ Как известно, на о-ве Св. Петра Руссо незадолго перед смертью на некоторое время нашел приют после долгих гонений. Кривцов знал об этом, конечно, по «Письмам русского путешественника» Карамзина.
- ⁴¹ Они вернулись в Петербург 25 сентября 1819 г., см. Рождественский. Указ. соч. С. 145.
- ⁴² «Дневник». Изд. 2-е, 1905 г. Т. I. С. 509.
- ⁴³ Переписка Н. И. Кривцова с гр. Каподистрией и другие бумаги по этому делу — в Моск. Архиве Мин. Иностр. Дел. Дела администрат., IV, 14, 1820, 4; см. также в деле II, 21, 1817, 2.
- ⁴⁴ Гаевский в «Вестнике Европы». С. 459; *Русский Архив*. 1864 г. С. 1080.
- ⁴⁵ *Русский Архив*. 1890. Кн. 4. С. 503.
- ⁴⁶ Записка Кривцова и указ — в Моск. Архиве Мин. Иностр. Дел. Дела администрат. IV, 10, 1820, 11.
- ⁴⁷ Письма А. Я. Булгакова к брату. — *Русский Архив*. 1902. Кн. 11. С. 379; *Погодин*. Н. М. Карамзин. М. 1866. Т. II. С. 409.
- ⁴⁸ *Погодин*. Цит. место.
- ⁴⁹ Остаф. архив. II. С. 98.
- ⁵⁰ *Историч. Вестник*. 1891. Т. 44. С. 181—183, и в статье Чичерина. — *Русский Архив*. 1890. № 4. С. 520.
- ⁵¹ Письма А. Я. Булгакова к брату. — *Русский Архив*. 1901. Т. I. С. 410, 413, 419; Остаф. архив. II. С. 246, 255, 260 и др.
- ⁵² Гаевский, 459; *Русский Архив*. 1864. С. 1080.
- ⁵³ Донесение бар. Крюднера графу Нессельроде от 31 мая — 12 июня 1822 г. — Моск. Архив Мин. Иностр. Дел. Дела админ., II, 22, 1822, 11.
- ⁵⁴ О кн. Сергее Ивановиче Гагарине и о других московских сельских хозяевах, посетивших в те годы Гофвиль, см. С. Маслов. Историч. обозрение действий и трудов Имп. Моск. общ. сельск. хоз. Изд. 2-е. М. 1850. С. 32 и др.
- ⁵⁵ Письмо об этом Н. И. Кривцова к гр. Нессельроде^{296*} от 19 марта 1823 г. и указ 30 марта — в Моск. Архиве Мин. Иностр. Дел. Дела администрат. IV, 1, 1823, 48.
- ⁵⁶ Подлинник — по-французски.
- ⁵⁷ В Тургенев. архиве в Императорской Акад. Наук хранятся два его письма к С. И. Тургеневу, от 12 апреля и 13 авг. 1826 г.
- ⁵⁸ Моск. Архив Мин. Иностр. Дел. Дела администрат. IV, 7 1826, 14 и IV, 4, 1826, 8.
- ⁵⁹ Павлов-Сильванский Н. Декабрист Пестель пред Верх. Угол. Судом. С. 154.
- ⁶⁰ Шильдер Н. Междоусердие в России. — *Русская Старина*. 1897. Кн. 2. С. 205.
- ⁶¹ Павлов-Сильванский Н. Там же. С. 62.
- ⁶² Там же. С. 154.

⁶³ Сохранилось предание, впрочем ничем не подтверждаемое, что он был оговорен Ф.Ф. Вадковским; см. *Русская Старина*. 1888 г., декабрь. С. 730.

⁶⁴ *Шильдер*. Там же. С. 211; *Русский Архив*. 1897. Кн. 2. С. 50.

⁶⁵ *Былое*. 1906 г., май. С. 205.

⁶⁶ Госуд. Арх., Д. I, № 369, Северн. Общ. № 37. Л. I.

⁶⁷ Там же. Л. 11 и 12.

⁶⁸ Это стихотворение, писанное рукою Кривцова, сохранилось среди его крепостных бумаг. Н.А. Огарева-Тучкова^{297*} приводит начало этого самого стихотворения, приписывая его (правда, по памяти детских лет) декабристу Горсткину^{298*} (Воспом. С. 16).

⁶⁹ С Кривцовым вместе везли Лихарева^{299*}, Тизенгаузена^{300*} и Толстого^{301*}; каждый ехал в особом возке с жандармом, да впереди ехал отдельно фельдъегерь. См. *А.Е. Розен*. Записки. 1907. С. 146; «Из дневных записок В.А. Муханова» — *Русский Архив*. 1896. Кн. 10. С. 166.

⁷⁰ 31 мая Вяземский из Москвы пишет А.И. Тургеневу: «Кривцов поехал третьего дня за благословением в Рязань», т.е. к генерал-губернатору Балашеву^{302*}. — *Остаф. Арх.* Т. II. С. 327.

⁷¹ *Русская Старина*. 1888, декабрь. С. 723.

⁷² *Остаф. архив*. Т. II. С. 344.

⁷³ Там же. С. 369. То же писал Вяземский о тульской деятельности Кривцова и в своих позднейших записках, см. «Старая записная книжка» в Полн. собр. его сочинений. Т. VIII. С. 265.

⁷⁴ Архив Комитета Министров. Журналы за декабрь 1823 года. Вкратце это дело было изложено, на основании того же Журнала, С.М. Середониным в его «Историческом обзоре деятельности Комитета Министров». СПб., 1902. Т. I. С. 454—455.

⁷⁵ *Русский Архив*. 1901 г. Т. I. С. 575.

⁷⁶ *Остаф. Архив*. Т. II. С. 355.

⁷⁷ Отчет Имп. Публич. Библиотеки за 1892 г. Приложение VII. Письма кн. П.А. Вяземского к Н.И. Кривцову. С. 44 (от 11 февраля 1824 г.) и 47 (от 15 мая того же года).

⁷⁸ Там же. Приложение V. Письма Н.М. Карамзина к Н.И. Кривцову. С. 36.

⁷⁹ *Русская Старина*. 1888, дек. С. 723.

⁸⁰ Нижеследующее изложение основано на подлинных документах, хранящихся в архиве Комитета Министров: «Приложение» к Журналам Комитета Министров за март 1827 года, и самые Журналы за этот месяц.

⁸¹ Позднее Кривцов изменил свое показание. В записке на имя министра юстиции он писал: «Я внимательно рассматривал журнал, сравнивал страницы одного с другою и наконец нашел, что лист, заключавший в себе прежнюю резолюцию, был переменен, и вместо одного введен новый, на коем значились слова: *снять опеку*, что весьма легко исполнить можно было, ибо подпись моя и прочих присутствующих была на последнем листе, и сей подлог зависел единственно от секретаря, коим журнал был по листам скреплен».

⁸² Надо заметить, что оба они подписали революционный ночной журнал 9 июня.

⁸³ Ответ Карамзина в его письме от 27 июля 1825 года, см. Отчет Имп. Публич. Библ. за 1892 г. Прилож. V. С. 37—38, 39 и 40.

⁸⁴ *Русский Архив*. 1874 г. Т. II. С. 727—28.

⁸⁵ Архив Министерства Внутр. Дел. «Дело» 1827 года за № 341; Журналы Комитета Министров за февраль 1828 г.

⁸⁶ Указ. м. С. 724—25.

⁸⁷ *Розен А.Е.* Записки декабриста. 1907. С. 146.

⁸⁸ Там же. С. 149.

⁸⁹ *Третьяков П.И.* Туруханский край, его природа и жители. СПб., 1871. С. 145.

⁹⁰ *Степанов А.П.* Енисейская губерния. СПб., 1835. Ч. I. С. 159; о целебных свойствах этой воды см. *М.Ф. Кривошапкин*. Енисейский округ и его жизнь. СПб., 1865. Т. I. С. 308—309. Вообще о тогдашнем Туруханске — *И. Пестов*. Записки об Енисейской губернии Восточной Сибири. 1831 года М., 1833. Гл. VII: «Туруханск, заштатный город».

⁹¹ Аврамов был родом из Веневского уезда Тульской губ., Лисовский — из Кременчуга; у первого был жив отец, у второго мать, и тот, и другая, по словам Кривцова, люди бедные.

⁹² Подлинник по-французски

⁹³ Лазарев Д. Политические ссыльные в Туруханском крае. — *Историч. Вестник*. 1896 г. январь. С. 337-39. — Портреты декабристов. Изд. М. Зензинова. — То же самое рассказывает о смерти Аврамова и Лисовского бар. А.Е. Розен ^{303*} (Зап. декабр. 1907. С. 173 и 279). Г-жа Францева, без сомнения ошибочно, сообщает, что Аврамов умер от сибирской язвы (*Историч. Вестник*. 1888, май. С. 384 и д.). Четвертый декабрист, сосланный в Туруханск, Н.С. Бобрищев-Пушкин^{304*}, как известно, сошел там с ума; князь Шаховской^{305*}, приехав в декабре 1826 г., уже в июне 1827 г. был переведен в Красноярск (см. Д. Лазарев. Цит. м.).

⁹⁴ По семейному списку за 1846 год, хранящемуся в архиве Орловского Дворянского Депутатского Собрания, Варвара Николаевна значится уже вдовою, 45 лет, с дочерью Марией 12 лет; от мужа Варваре Николаевне досталось имение при с. Власове Новосильского уезда.

⁹⁵ Чичерин Б.Н. Цитир. ст. С. 506. Другие сведения о Любичской жизни Н.И. Кривцова — в цитир. ст. Я.И. Сабурова и в «Старой записной книжке» П.А. Вяземского. Соч. Т. VIII. С. 266—268.

⁹⁶ Из дневника В.А. Муханова, 1856 г. — *Русский Архив*. 1896 г. Кн. 10. С. 167.

⁹⁷ «Воспоминания» А. Беляева. СПб., 1882. С. 284.

⁹⁸ В Любичах было 2642 десятины земли и 528 душ, из коих 438 были заложены по 250 р. в Моск. Опекунском Совете.

⁹⁹ Все сведения о службе Кривцова в 1832-36 гг., как и приводимый ниже текст прошения, заимствованы из подлинного дела «О причислении к Министерству Внутренних Дел статского советника Кривцова», хранящегося в Архиве Мин. Вн. Дел. Деп-т Общих Дел, 2-го Отд., 3-му столу, за № 84 на 111 листах.

¹⁰⁰ См. также Остаф. архив. III. С. 256.

¹⁰¹ Переписка А.С. Пушкина. Под ред. В.И. Сантова. Т. II. С. 222, [письмо] от 10 февраля 1831 г.

¹⁰² Павел Кривцов был тоже знаком с Пушкиным. 17/29 апреля он писал А.И. Тургеневу из Рима (по-франц.): «Смерть Пушкина была для меня очень чувствительна; мы были так давно знакомы, и он всегда был так добр ко мне, что эта потеря, помимо национального чувства, заставившего меня оплакивать смерть нашего единственного поэта во цвете лет, была для меня настоящей скорбью» (рукоп. письмо в Турген. архиве).

¹⁰³ Как известно, летом 1837 года цесаревич Александр Николаевич из Сибири, где он путешествовал в сопровождении Жуковского, просил Николая об облегчении участи некоторых декабристов, и его просьба была исполнена; в числе лиц, положение которых было улучшено по его ходатайству, Жуковский, в письме к императрице называет и Кривцова (*Русская Старина*. 1880. Кн. 2. С. 263). Но мы знаем, что Кривцов уже давно ждал производства в офицеры, так что заступничество цесаревича разве только ускорило его производство на несколько месяцев.

¹⁰⁴ П.М. Волконским^{306*}.

¹⁰⁵ С.С. Уваровым.

¹⁰⁶ Николай Иванович пишет: d'être exclusif (быть исключительным — франц.).

¹⁰⁷ *Русская Старина*. 1888 декабрь. С. 727—28. Герб Кривцовых, как он изображен на письмах Павлу Ивановичу, представлял щит под дворянской короной, поддерживаемый двумя львами, щит был разделен перпендикулярно на три части; в правой подкова, в средней рука с мечом, выходящая из облаков, в левой крест на надгробном камне. Вверху на узкой ленте девиз: Virtutem extendere factis (вторая половина 806-го стиха шестой песни «Энеиды»^{307*}, как любезно сообщил мне проф. М.М. Покровский^{308*}). Extendere буквально значит: расширять. В этих трех словах выражена глубокая мысль: присущая нам потенциальная энергия доблести не только осуществляется в наших поступках, но и сама питается ими, ими растет, то есть мой доблестный поступок действует обратно и на меня самого, усиливая, «расширяя» во мне доблесть.

¹⁰⁸ Новицкий А. Опыт полной биографии А.А. Иванова. М. 1895. С. 58—59.

¹⁰⁹ 30 000 р. асс., см. *М. Боткин*. А.А. Иванов. СПб. 1880. С. 139.

¹¹⁰ *Новицкий А.* Указ. соч. С. 59.

¹¹¹ Письма Н.В. Гоголя. Под ред. В.И. Шенрока. Т. II. С. 90—91, срав. С. 40—41, 50; *В.И. Шенрок*. Материалы для биографии Гоголя. Т. III. С. 309—311.

¹¹² Письма Н.В. Гоголя. Там же. С. 115.

¹¹³ *Сабуров*. Н.И. Кривцов — *Русская Старина*. 1888, декабрь. С. 726—27; Чичерин в «Русском Архиве», 1890. Кн. 4. С. 519.

¹¹⁴ В семье сохранилась память о том, что Павел Иванович ждал назначения посланником в Афины или даже был уже назначен туда; но ни в документах, ни в письмах нет указаний на это.

¹¹⁵ О нем довольно верно писал В.В. Стасов^{309*} в своих воспоминаниях об Иванове, см. *Боткин*. А.А. Иванов. С. 417—418.

¹¹⁶ Из записок дамы. — *Русский Архив*. 1882. I. С. 219.

¹¹⁷ *Беляев А.П.* Воспоминания. С. 275—276.

¹¹⁸ *Русский Архив*. 1896. № 10. С. 168.

¹¹⁹ Орловские Губернские Ведомости. 1864. № 19. С. 183.

¹²⁰ Здесь и в дальнейшем воспроизводятся собственные слова Екатерины Федоровны из ее многочисленных писем к Чичериной.

¹²¹ Эта строка написана по-русски.

¹²² О последних годах жизни Екатерины Федоровны см. упомянутую статью *Б.Н. Чичерина* в «Русском Архиве» 1890 г.

Комментарии

Впервые: *Гершензон М.О.* Декабрист Кривцов и его братья. М.: М. и С. Сабашниковы, 1914.

Печатается по: *Гершензон М.О.* Декабрист Кривцов. Изд. 2-е. М.; Берлин: Геликон, 1923.

Комментарии составлены *М.А. Ходанович*.

^{1*} Орлова Екатерина Николаевна, урожд. Раевская (1797—1895), дочь генерала Н.Н. Раевского; с 1821 — жена декабриста Михаила Федоровича Орлова (см.: *Гершензон М.О.* История молодой России; Образы прошлого. Т. 2 и 3 настоящего издания).

^{2*} Чичерина Александра Александровна, урожд. Капнист (1845—1920), жена Бориса Николаевича Чичерина (см. прим. ^{21*}).

^{3*} Богоявленский Сергей Константинович (1871—1947), историк, архивист, доктор историч. наук, член-кор. АН СССР (1929), специалист по русской истории XVI — XVII вв., русский дипломатии и армии XVIII в., по истории народов Российской империи, в частности по истории Узбекистана XIX в., по истории и археологии Москвы и Московской области, архивному делу.

Моздалевский Борис Львович (1874—1928), литературовед, член-кор. АН СССР (1918). Окончил Петербургский университет. Один из создателей Пушкинского дома в Петербурге. Автор и редактор издания «Русского биографического словаря», сборников «Пушкин и его современники»; издал «Архив Раевских», «Архив декабриста С.Г. Волконского», дневник Пушкина и его письма и другие труды.

Семевский Василий Иванович (1848—1916), историк, представитель народнического направления в русской историографии. Занимался вопросами социальной истории и истории передовой общественной мысли России XVIII — первой пол. XIX вв. Среди его работ «Крестьяне в царствование имп. Екатерины II», «Политические и общественные идеи декабристов», «М.В. Буташевич-Петрашевич и петрашевцы», «Кирилло-мефодиевское общество», основанные на большом и впервые опубликованном материале. Сотрудничал в ряде народнических и либерально-буржуазных журналов.

^{4*} Остолопов Николай Федорович (1783—1833), поэт, переводчик, теоретик стиха. В ис-

торию русской культуры вошел как составитель «Словаря древней и новой поэзии»; этот первый в России свод знаний по теории и истории стиха долгое время был единственным источником изучения поэтической терминологии.

5* Эпиграфом взята строка из так называемой похвальной надписи М.В. Ломоносова, предназначенной для статуи Петра I.

6* Коленкур Арман де (1773—1820), маркиз, франц. госуд. деятель, один из ближайших помощников Наполеона I; в 1807—11 гг. посол в России. В 1812 г. сопровождал Наполеона в Россию. После поражения и отречения Наполеона выполнял ряд дипломатических поручений, был министром иностранных дел, членом временного правительства, созданного перед второй реставрацией Бурбонов. Автор мемуаров, посвященных Наполеону и его походу в Россию в 1812 г.

7* Лессепс (Лесевс) Жан Батист Бартеlemi де (1766—1834), генеральный комиссар по делам торговли в Петербурге в 1802—12 гг. По занятии Москвы французами он тотчас же получил назначение на пост моск. гражданского губернатора, управляющего городом Москвой и Московской провинцией; одновременно исполнял и интендантские функции.

8* Вендрамини Франц (1780—1856), итальянский гравер, академик, профессор гравирования Академии художеств. Долгое время жил в Петербурге. В 1812 г. находился в Москве. Участвовал в гравировке «Галереи генералов 1812 года»; написал портреты ряда известных деятелей, представителей литературы и искусства.

9* Воспитательный дом в Москве учрежден Манифестом императрицы Екатерины II от 1 сентября 1763 г. для призрения подкидышей и беспризорных младенцев; открытие состоялось в апреле 1764 г.

10* Мортье Эдуард Адольф, герцог Тревизский (1768—1835), маршал Франции, командовал гвардией, размещенной в Москве и ее окрестностях. Наполеон назначил его генерал-губернатором Москвы. Уходя из Москвы он, по приказанию Наполеона, должен был взорвать Кремль.

11* Тутолмин Иван Акинфиевич (1752—1815), действительный статский советник, главный надзиратель московского Воспитательного дома, прославившийся умением сохранить его и вверенных ему питомцев от разорения и гибели в Отечественную войну 1812 г. В словаре Брокгауза и Эфрона (т. 67) директором Императорского московского Воспитательного дома ошибочно указан Иван Васильевич Тутолмин (1751—1815).

12* Орден Почетного легиона с девизом «Честь и отечество» учрежден 19 мая 1802 г. Наполеоном Бонапартом в период консульства. В 1804 г. орден стал императорским. Новый национальный орден приобрел такую большую популярность и опору в армии, что никакие политические перемены не в силах были его упразднить. Он остался государственной наградой и после низвержения Наполеона Бонапарта.

13* Константин Павлович (1779—1831), великий князь, второй сын императора Павла I, младший брат Александра I и старший брат Николая I. Принимал участие в походах Суворова в Италию и швейцарском походе, в войнах с Наполеоном. Участвовал и в заграничных походах 1813—14 гг. С 1814 г. жил в Варшаве, после образования Царства Польского стал его фактическим диктатором. В 1823 г. отречение вел. кн. Константина от престола было предусмотрено секретным манифестом, наследником престола объявлялся вел. кн. Николай Павлович. Вследствие польского восстания 1830 г. вел. кн. Константин бежал из Варшавы в Белосток, затем в Витебск, где 15 июня 1831 г. умер.

14* Тургенев Сергей Николаевич (1793—1834), военный, вышел в отставку в чине полковника. Умер в Петербурге.

15* По-видимому, имеется в виду Яков Иванович Сабуров (1798—1858), офицер лейб-гвардии гусарского полка (1818—21).

16* Смоленское сражение — происходило 4—6 августа 1812 г. в районе Смоленска. 22 июля отходившие с начала войны 1-я и 2-я Западные русские армии смогли соединиться, сохранив основные силы, у Смоленска, тем самым сорвав наполеоновский план уничтожить русские армии порознь. 6 августа после упорных боев русские войска оставили Смоленск, продолжая отход к Москве.

^{17*} Бауценское сражение 1813 г. — сражение в мае при г. Бауцене в Саксонии между войсками коалиции под командованием русского генерала Витгенштейна и французской армией под командованием Наполеона I, которому удалось вынудить союзную армию к отступлению.

^{18*} Сражение при Кульме — сражение вблизи селения Кульм в Чехии в авг. 1813 г., навязанное Наполеоном объединенным русско-пруско-австрийским войскам («главная Богемская армия») после недавнего неудачного для них Дрезденского сражения. Союзные войска окружили и разгромили французский корпус. Сражение при Кульме послужило началом перелома в ходе кампании 1813 г. Богемская армия двинулась к Лейпцигу, в районе которого армия Наполеона в октябре того же года потерпела жестокое поражение.

^{19*} В 1789 г. Н.М. Карамзин совершил длительное (16 мес.) путешествие по странам Западной Европы, которое описал в «Письмах русского путешественника».

^{20*} Тургенев Александр Иванович (1784—1845), общественный деятель, историк, писатель, почетный член Петербургской АН (1818). Брат декабриста Н.И. Тургенева. Окончил в 1802 г. пансион при Московском университете, в 1802—04 гг. учился в Геттингенском университете. В 1810—24 гг. — директор Департамента духовных дел в Министерстве духовных дел и народного просвещения. Член лит. кружка «Арзамас». Автор серии писем о европейской жизни под названием «Хроника русского», посылаемых в Россию во время его продолжительных странствий по странам Европы с 1825 по 1845 г., и увидевших свет в русских журналах (1827—1845).

^{21*} Чичерин Борис Николаевич (1828—1904), юрист, философ, историк, публицист и общественный деятель. Окончил юридический факультет Московского университета (1849), с 1861 г. — профессор кафедры русского права. В середине 1850-х годов — один из лидеров либерально-западнического крыла в русском общественном движении, а написанное им и К.Д. Кавелиным «Письмо к издателю» явилось первым печатным программным документом русского консервативного либерализма. Сформулированный Чичериным политический принцип «либеральные меры и сильная власть» встретил поддержку в правительственных кругах. В своих работах он развивал идею постепенного перехода путем реформ от самодержавия к конституционной монархии, которую считал идеальной для России формой государства. Виднейший теоретик государственной школы в русской историографии. В области философии Чичерин — крупнейший представитель правого гегельянства в России.

^{22*} Речь идет о статье «Из воспоминаний Б.Н. Чичерина: (По поводу дневника Н.И. Кривоцова)» // *Русский Архив*. М., 1890. Т. I. № 4. С. 501—525. Статья должна была служить предисловием к предполагаемому изданию дневника Кривоцова.

^{23*} Констан де Ребек Бенжамен Анри (Бенжамен Констан) (1767—1830), франц. писатель, публицист, политический деятель. Уроженец Лозанны (Швейцария), в 1795 г. приехал в Париж, где принял французское гражданство. В 1799—1802 гг. входил в Трибунал, был в оппозиции к первому консулу — Наполеону Бонапарту, и оказался вынужденным покинуть Францию. Вернулся в 1814 г. после реставрации Бурбонов. После 1819 г. стал одним из лидеров буржуазно-либеральной оппозиции периода Реставрации. Во время июльской революции 1830 г. способствовал возведению на трон Луи Филиппа.

В своих публицистических произведениях выступил типичным представителем французского буржуазного либерализма начала XIX в., идеалом государственного устройства считал конституционную монархию английского типа. Славу писателя и создателя образца романтического героя снискал своим автобиографическим романом «Адольф» (1816). Наряду с мадам де Сталь стал одним из зачинателей либерального романтизма.

^{24*} Сисмонди Жан Шарль Леонар Симонд де (1773—1842), историк, экономист. Родился во французской части Швейцарии в семье протестантского пастора. Учился в Женевском университете, жил во Франции, Великобритании, Италии. В 1798 г. вернулся в Швейцарию. С 1833 г. член французской Академии моральных и политических наук. Первоначально находился под влиянием идей А. Смита, впоследствии перешел к ее критическому осмыслению и резкой критике капитализма и классической буржуазной политической экономии. Используя некоторые взгляды Т.Р. Мальтуса, обосновал собственную систему экономических воззрений, положив начало новому направлению политической экономии — экономическому романтизму, выражавшему идеологию мелких товаропроизводителей.

^{25*} Пикте Марк Август (1752—1825), швейцарский натуралист, физик и математик, про-

фессор, затем президент Академии в Женеве. Сторонник присоединения Женевы к Франции. В 1807 г. Наполеон назначил его одним из пятнадцати главных инспекторов народного образования.

26* Бентам Иеремия (1748—1832), английский философ, экономист, правовед и моралист, представитель этики утилитаризма. В произведении «Деонтология, или наука о морали» Бентам проповедует «принцип пользы», согласно которому поведение людей, их поступки должны получать моральную оценку по приносимой ими пользе. Исходя из частного интереса человека, добродетельными провозглашаются поступки человека, увеличивающие его наслаждение и уменьшающие страдания; из заботы каждого только о себе естественным путем пристокается и общая польза, декларируемая как «наибольшее счастье наибольшего числа людей».

27* Сталь Анна Луиза Жермен де (1766—1817), французская писательница, автор знаменитых романов «Дельфина» (русск. пер. 1803—1804), «Коринна, или Италия» (русск. пер. 1809—1810) и др. Находилась под влиянием идей Просвещения, в частности Руссо. Положительно в целом оценив французскую буржуазную революцию конца XVIII в., мадам де Сталь не поддерживала однако идею народовластия, проводимую якобинцами, но была в оппозиции и к диктатуре Наполеона, а также к реставрации Бурбонов. Выступая против условностей классицизма, оказала влияние на развитие французского романтизма. При этом литература утверждалась писательницей как явление историческое, поэзия ставилась в зависимость от общественных условий. В 1803—1813 годах, находясь в изгнании, посетила ряд европейских стран, приезжала в Россию.

28* Жанлис Стефани Фелисите де (1746—1830), графиня, французская писательница. Была воспитательницей детей герцога Орлеанского, автор педагогических сочинений и детских книг. В период французской революции эмигрировала и вернулась во Францию лишь при консульстве Наполеона. Автор сентиментальных романов из жизни светского общества и на исторические темы, в свое время очень популярных, в том числе и в России, где была переведена значительная часть ее произведений.

29* Конт Шарль (1782—1832), французский ученый и публицист, один из основателей в 1814 году самого авторитетного либерального журнала «Le Censeur» («Цензор»).

30* По-видимому, речь идет о Марке Антуане Жюльене (1775—1848), французском политическом деятеле, поклоннике Максимилиена Робеспьера. Был связан с заговором Кая Гракса Бабёфа. Служил в армии Наполеона, но в 1813 году был арестован за критические отзывы о деспотизме императора. Как либерал преследовался после восстановления монархии Бурбонов. Занимался журналистикой.

31* Сей Жан Батист (1767—1832), французский экономист, родоначальник вульгарной политической экономии, популяризатор и комментатор идей А. Смита, одного из крупнейших представителей английской классической буржуазной политической экономии. Его «Трактат о политической экономии» в 1876 г. был напечатан в русском переводе.

32* Кандоль Августин-Пирам де (1778—1841), знаменитый ботаник.

33* Шуазель Стенвиль Клод Антуан Габриэль (1760—1838), герцог, политический деятель. В Национальном собрании Франции входил в палату пэров; придерживался либеральных взглядов.

34* Роган Камилл-Филипп-Жозеф-Идесбальд (1800—1892), князь.

35* Гумбольдт Александр Фридрих (1769—1859), немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник. Почетный член Русского географического общества. По своим политическим взглядам придерживался умеренного либерализма. Провел более 20 лет в Париже, занимаясь научно-исследовательской работой по обработке результатов своих исследований, которые были обобщены в незаконченном 30-томном труде «Путешествие в равноденственные области Нового Света, совершенное в 1799—1804 гг.» (1807—34). В 1829 г. совершил экспедицию по России, результаты которой изложил в ряде своих сочинений. Брат Вильгельма Гумбольдта.

36* Имеется в виду работа Б. Констана «De L'Esprit de conquête et de l'usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne». Р., 1814 («О духе завоевания и узурпации в их отношениях с европейской цивилизацией»).

^{37*} Грегуар Анри (1750—1831), деятель Великой французской революции конца XVIII в. Сын бедного крестьянина, священник, в 1806 г. удостоенный графского звания. В 1789 г. был выбран духовенством Нанси в Генеральные штаты, в 1792 г. — депутатом Конвента, где потребовал упразднения монархии и внес ряд предложений по развитию народного образования. В 1793 г. выступил с проектом декларации по вопросам международного права, основывавшейся на принципах признания суверенитета каждого народа. Приветствовал переворот 18 брюмера, приведший Наполеона к власти. Грегуар был известен в России; в 1814—21 гг. — почетный член Казанского университета.

^{38*} Лагарп Фредерик Сезар де (1754—1838), швейцарский политический деятель, сторонник либерализма и идей Просвещения. В 1784 г. был приглашен Екатериной II воспитателем великих князей Александра (будущего императора Александра I) и Константина. Потерял это место в 1795 г. из-за приверженности идеям Французской революции. Во время Венского конгресса (1814—15) отстаивал восстановление Швейцарской федерации. Конец жизни провел на родине.

^{39*} Сен-Прё, Юлия — героиня романа в письмах Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза».

^{40*} Аркадия — гористая область в центральной части Пелопоннеса в Греции, население которой занималось главным образом земледелием и скотоводством и в Древней Греции пользовалось славой гостеприимного и благочестивого народа. Родина древнейших греческих культов, место действия событий, излагаемых во многих мифах.

В идиллической поэзии — страна «счастливых пастухов», «счастливая страна», страна патриархальной простоты нравов.

^{41*} Кантон (от франц. *canton* — округ) — федеративная единица в Швейцарии.

^{42*} Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493—1541), нем. врач и естествоиспытатель. Родился в Швейцарии, учился медицине в итальянских, немецких, французских университетах. Стремился создать медицинскую науку, основанную на опыте и наблюдениях, внес много нового в учение о лекарствах. Один из основателей ятрохимии — направления науки XVI и XVII вв., стремившейся поставить химию на службу медицине.

^{43*} Гольбах Поль Анри (1723—1789), франц. философ-материалист и атеист, один из идеологов Французской революции конца XVIII в., деятельный сотрудник «Энциклопедии» Дидро и Д'Аламбера. Родился в семье нем. коммерсанта, воспитывался и всю жизнь провел в Париже. Парижский салон Гольбаха стал одним из центров просветительской и атеистической мысли предреволюционной Франции. Главное сочинение — «Система природы» (1770).

^{44*} Вильгельм Телль, Арнольд Мельхаль, Вернер Штауффахер — герои драмы Фр. Шиллера «Вильгельм Телль».

^{45*} Палладиум — в переносном смысле — защита, оплот.

^{46*} Марк Аврелий Антонин (121—180), римский император (161—180). Известен как последний крупный философ стоического направления, существующего с III в. до н.э. по VI в. н.э., в котором основное место занимает этика, опирающаяся на натурфилософию и логику. В его единственном философском произведении «Наедине с собой» разработаны этические проблемы с отчетливо выраженной религиозно-идеалистической тенденцией. Трансформированный в этом направлении стоицизм оказал влияние на формирование христианства.

^{47*} Космополит (от греч. гражданин мира) — сторонник космополитизма, идеологии так наз. «мирового гражданства», человек, не считающий себя принадлежащим к какой-либо национальности, признающий единство человеческого рода и солидарность интересов отдельных народов и стран; мерилом любви к своей родине, своему народу является у космополитов общее благо человечества.

^{48*} Сен-Готард — перевал в Альпах в Швейцарии, древний путь из Германии в Италию. Речь идет о Швейцарском походе Суворова 1799 г.: пройдя через труднодоступные горы Альп, русские войска овладели перевалом, нанеся поражение одной из лучших французских дивизий.

^{49*} Точнее: Белл-Ланкастерская система взаимного обучения — система организации и

методов обучения в начальной школе, при которой старшие и более успевающие ученики (так наз. мониторы) вели занятия под руководством учителя с остальными учащимися. Название получила по именам английских педагогов Э. Белла (1753—1832) и Джозефа Ланкастера (1778—1838), независимо друг от друга выдвинувших сходный метод обучения. В 1798 г. Ланкастер основал школу и начал применять свой метод и в высшем образовании. Вскоре школы быстро стали распространяться не только в Англии, но и в других странах мира, несмотря на критику со стороны Песталоцци и его последователей. Эмигрировав в Южную Америку, Ланкастер организовал учебное дело в Колумбии, после чего уехал в Соединенные Штаты Америки, но не нашел там поддержки своему начинанию.

Единомышленники Ланкастера организовали в 1808 г. в Лондоне «Британское и иноземное школьное общество» по внедрению в школьную систему метода взаимного обучения. В России было образовано аналогичное «Вольное общество учреждения училищ взаимного обучения» (1818—1825) с целью распространения грамотности и просвещения в народе.

Далее речь идет о франц. переводе книги Дж. Ланкастера «The British System of Education» (Л., 1810), который анонимно сделал герцог де Лапешфуко-Лианкур: «Système anglais d'instruction, ou Recueil complet des améliorations et inventions mises en pratique aux écoles royales en Angleterre». Р., 1815 («Английская система обучения, или полный сборник улучшений и изобретений, принятых в практике королевских школ в Англии»).

^{50*} Мартен Луи-Эме (1786—1847), французский литератор, автор знаменитого сочинения «Письма Софии о физике, химии и естественной истории» в 4 томах, выдержавшего 11 изданий; был секретарем Палаты депутатов в 1815 г., профессором беллетристики, морали и литературы в Политехнической школе.

Теофилантроп — сторонник благотворительности по религиозным соображениям.

^{51*} Бернарден де Сен-Пьер Жан Анри (1737—1814), французский писатель. Родился в семье почтмейстера. Инженер, служил во многих странах, в том числе в России. В своей литературной деятельности примыкал к течениям сентиментализма и предромантизма. В философских сочинениях «Этюды природы» (1784—87) и «Гармония природы» (1815) разделяет некоторые идеи Руссо, такие как деизм, культ природы и чувства, проповедь гуманности, симпатии к простым людям, усматривая в природе проявление естественных всеобщих законов справедливости, нарушаемых искусственной и порочной цивилизацией. Широкую известность приобрел роман «Поль и Виргиния» (1787). Автор «Путешествия в Россию», опубликованного посмертно.

^{52*} Мария-Тереза, герцогиня Ангулемская (1778—1851), дочь Людовика XVI, с 1799 г. жена Луи Антуана де Бурбона, герцога Ангулемского, старшего сына Карла X.

^{53*} Титул графа д'Артуа носил до вступления на трон в 1824 г. Карл X.

^{54*} Каподистрия Иоанн (1778—1831), граф, греческий и русский государственный деятель и дипломат. Родился на о. Корфу, с 1800 г. — секретарь законодательного совета, с 1803 г. — статс-советник по иностранным делам Республики Ионических островов, созданной по инициативе России после освобождения их в 1798—99 гг. от власти французов, установленной на островах после побед Бонапарта в 1797 г. в Италии. В 1809 г. перешел на русскую службу в качестве атташе при посольстве в Вене. Принимал участие в работе Венского конгресса 1814—15 гг. В 1822 г. вышел в отставку и поселился в Женеве. В 1827 г. избран президентом Греческой республики. В 1831 г. был убит.

^{55*} Воронцов Михаил Семенович (1782—1856), граф, русский военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, монархист, признававший однако необходимость уступок буржуазному развитию. В 1806—14 гг. участвовал в войнах с наполеоновской Францией, 1815—18 гг. командовал русским оккупационным корпусом во Франции, в 1823—44 гг. генерал-губернатор Новороссии и наместник Бессарабской области, в 1844 г. был назначен наместником Кавказа с неограниченными полномочиями. Умело используя противоречия между отдельными кавказскими феодалами, сумел добиться добровольного присоединения значительной части их владений к России. Принадлежал к умеренному либеральному крылу, сочувствовавшему идее об отмене крепостного права «сверху». В 1820 г. вместе с декабристом Н. И. Тургеневым пытался основать дворянское общество для постепенного освобождения крестьян.

56* Лафит Жак (1767—1844), французский политический деятель, банкир. В 1814—19 гг. — управляющий Французским банком. В 1830—31 гг. — глава правительства и министр финансов. В период Реставрации принадлежал к умеренному крылу буржуазной оппозиции. С 1814 г. до конца жизни с небольшими перерывами был членом Палаты депутатов.

57* Франклин Бенджамин (1706—1790), американский писатель, просветитель, государственный деятель, ученый. Родился в семье ремесленника, эмигрировавшего по религиозным соображениям из Англии в Бостон. В 1727 г. основал в Филадельфии собственную типографию, в 1729—48 гг. издавал «Пенсильванскую газету», затем ежегодник «Альманах бедного Ричарда». Основал в Филадельфии первую в английских колониях публичную библиотеку (1731), Американское философское общество (1743), Филадельфийскую академию (1751), ставшую основой Пенсильванского университета.

В 1755 г. — депутат Континентального Конгресса, один из авторов Декларации независимости (1776), первый посол США во Франции (1776—85), член Конституционного конвента, один из составителей Конституции 1787 г. Область его интересов распространялась на экономику, политику, философию, проблемы морали.

Речь идет о знаменитой «Автобиографии» Франклина, которую он начал в 1781 г. в Англии и писал в течение многих лет. Во французском переводе «Автобиография» впервые вышла в свет не полностью, а частично, в 1791 и 1798 гг.

58* Малек Адель — герой романа «Матильда» французской писательницы Марии Коттен (1770—1807).

59* Пишегрю Шарль (1761—1804), франц. военный и политический деятель. Родился в крестьянской семье, окончил коллеж и преподавал в военной школе, где учился Наполеон Бонапарт. Командовал армиями на разных фронтах; зимой 1794—95 гг. руководил завоеванием Нидерландов. Участвовал в подавлении восстания якобинцев против так называемого термидорианского Конвента (июль 1794 г. — октябрь 1795 г.) — высшего законодательного и исполнительного органа Первой французской республики. В начале 1796 г. был освобожден от командования армией за связь с роялистами. В 1797 г. избран председателем Совета пятисот, который вместе с Советом старейших избирал правительство Французской республики. В результате переворота 14 сент. 1797 г. из обоих Советов было исключено значительное число сторонников монархии, а Пишегрю был арестован и сослан. В 1798 г. бежал в Англию, затем в Пруссию. В 1803—04 гг. готовил покушение на Наполеона, который в результате государственного переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) установил свою диктатуру. Пишегрю был арестован, покончил самоубийством в тюрьме.

60* Прейсш-Эйлау — город в Восточной Пруссии, в районе которого 26—27 января 1807 г. произошло кровопролитное сражение русской армии с французской под командованием Наполеона. Сражение не имело решающего исхода, однако явилось одним из факторов, приведшим к мирному договору между Россией и Францией, подписанному в июле 1807 г. в Тильзите, который прекращал состояние войны между странами.

61* Верне Орас (1789—1863), популярный французский баталист 1-й половины XIX в. Писал также портреты и картины на библейские, исторические и жанровые сюжеты. В 1830—50 гг. неоднократно бывал и работал в России.

62* По-видимому, Готье де Куанси (1177—1234) — старофранцузский поэт, приор бенедиктинского монастыря Вик-сюр-Эн, автор широко распространенного сборника «Чудеса Богоматери» («Les miracles de la sainte Vierge»).

63* Во Франции в XIX в. легитимистами называли сторонников династии Бурбонов, свергнутой впервые в 1792 г. и затем вторично — в результате Июльской революции 1830 г.

64* Вероятно, речь идет о Франсуа-Гильоме-Жане-Станиславе Андриэ (1759—1833), франц. драматическом писателе. После произведенного Наполеоном Бонапартом переворота («18 брюмера») был назначен президентом Трибуната, учреждения, имевшего некоторые законодательные функции. После отставки в 1802 г. полностью посвятил себя занятиям науками и литературой. Занимал должность профессора в Политехнической школе, а после Реставрации в Collège de France. В 1816 г. избран в члены академии.

65* Эпиграф взят из фельетона А.И. Герцена «Москва и Петербург», впервые опубликованного в «Колоколе» в 1857 г.

66* Кристин Фердинанд (1763—1837) — швейцарец; долгое время жил во Франции при дворе Бурбонов. В 1794 г. приехал в Россию. Последние 24 года жизни провел в Москве. Придерживался монархических взглядов.

67* Орлов Алексей Федорович (1786—1861), военный и государственный деятель, дипломат, граф (1825), князь (1856), генерал-от-кавалерии, старший брат декабриста М.Ф. Орлова. В 1805—14 гг. участник походов русской армии против Наполеона. Участвовал в подавлении восстания декабристов, будучи в то время командиром лейб-гвардии конного полка. С 1836 г. член Государственного совета. В 1844—56 гг. шеф жандармов и главный начальник III Отделения, с 1856 г. — председатель Государственного Совета.

68* Уваров Сергей Семенович (1786—1855), граф, государственный деятель, попечитель Петербургского учебного округа (1811—22), президент Академии наук (1818—55). Находясь на посту министра просвещения (1833—49), активно проводил политику «триединства» принципов «православия, самодержавия, народности».

69* Юсупов Николай Борисович (1750—1831), князь, при Павле I — министр уделов, при Александре I — член Государственного совета.

70* Салогуб (Сологуб) Александр Иванович (1784—1844), граф, тайный советник.

71* Пушкин Сергей Львович (1770—1848), отец А.С. Пушкина, в молодости офицер гвардии, затем майор в отставке.

72* Речь может идти о Иване Ивановиче Фицуме (1750-е — 1829), генерал-майоре, военном писателе. Преподавал фортификацию и артиллерию в различных армейских учебных заведениях.

73* Туркестанова Варвара Ильинична (1775—1819), княжна, фрейлина. В 1813 г. познакомилась в Москве с Ф. Кристином, переписка с которым длилась несколько лет.

74* Благородные пансионы — интернаты, существовавшие при университетах, а также при некоторых гимназиях, учащиеся которых обеспечивались общежитием и полным содержанием. В 1779 г. был основан М.М. Херасковым Благородный пансион при Московском университете (с 1830 г. — дворянская гимназия).

75* Фелленберг Филипп Эмануэль (1771—1844), швейцарский педагог. Родом из аристократической семьи. Сторонник соединения детского производительного труда с обучением и воспитанием. Характер педагогической деятельности Фелленберга определялся его убеждением в неизменности классово-сословного расслоения общества, в связи с чем первостепенное значение придавалось целенаправленному воспитанию детей каждого сословия в сочетании с обучением правильному ведению сельского хозяйства.

76* Песталотци Иоганн Генрих (1746—1827), швейцарский педагог, проводивший демократические методы воспитания, один из основоположников дидактики начального обучения. Родился в Цюрихе в семье врача. Руководил воспитательными заведениями в Швейцарии. Находился под идейным влиянием французских, английских и немецких просветителей. Выделяя тройственный характер человеческой природы, связанный с умственными, физическими и нравственными силами, Песталотци утверждал необходимость комплексного их развития, в тесной взаимосвязи друг с другом. Требование гармонического развития «всех сил и способностей человеческой природы» лежит в основе разработанной им теории элементарного образования, а ее применение в педагогическом процессе составляет так называемый метод Песталотци. Провозглашенная им идея развивающего обучения оказала огромное влияние на развитие дидактики, частных методик и школьной практики в ряде стран.

77* Рескрипт (от лат. *rescriptum* — письменный ответ) — в Древнем Риме имевший силу закона письменный ответ императора на представленный ему для разрешения вопрос. В монархических государствах — акт монарха, адресованный определенному должностному лицу (напр. министру). На должностных лиц Рескриптом возлагалось какое-либо поручение, объявлялась благодарность за службу и т.д.

78* Голицын Александр Николаевич (1773—1844), князь, обер-прокурор Св. Синода (с 1803 г.), министр народного просвещения (с 1816 г.); с 1817 г. министр духовных дел и народ-

ного просвещения, президент Российского Библийского общества с 1813 г. Придерживался программы, согласно которой все науки следует заменить «священным писанием». Несмотря на то, что в 1824 г. был смещен с постов министра и президента Библийского общества, он удержал свое влияние и во время правления Николая I.

79* Криденер (или Крюднер) Павел Алексеевич (1785—1858), барон, действительный статский советник, полномочный министр при Соединенных штатах Северной Америки, в 1849—56 гг. тайный советник, полномочный министр при Швейцарском союзе.

80* Гурьев Дмитрий Александрович (1751—1825), граф, действительный тайный советник, министр финансов, в 1796 г. — обер-прокурор, с 1810 г. — член Государственного совета.

81* Штивер или стивер — бывшая монетная единица в Голландии, равная $\frac{1}{20}$ гульдена.

82* Гершензон здесь неточен. Свое стихотворение «Безверие» Пушкин читал на экзамене по русской словесности 17 мая 1817 г. (См.: Цявловский М.А. Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина. 1799—1826. 2 изд. Л., 1991).

83* Мясоед — период, когда по православному церковному уставу разрешена мясная пища. Различается осенний (с середины августа по середину ноября) и зимний мясоед (с конца декабря до масленицы). Мясоед — время для венчания.

84* Кунсткамера (от нем. кабинет редкостей, музей) — в прошлом название различных исторических, художественных, естественно-научных и др. коллекций редкостей и места их хранения. В России основана в Петербурге в 1714 г. по инициативе Петра I и открыта в 1719 г. В 1724 г. вошла в состав Академии наук и превратилась в комплексный музей. С 1727 г. размещена в специально построенном для нее здании.

85* Принцесса Шарлотта — по принятии православия Александра Федоровна (1798—1860), дочь прусского короля Фридриха-Вильгельма III и супруга с 1817 г. императора Николая I.

86* Родзянко Аркадий Гаврилович (1793—1846), поэт, богатый помещик. Окончил Московский университетский благородный пансион; служил в лейб-гвардии егерском полку (1818—1819), затем в Орловском пехотном полку. В 1821 г. вышел в отставку и поселился в своем полтавском имении. Был членом кружка «Зеленая лампа».

Мансуров Павел Борисович (1795—1880), офицер лейб-гвардии егерского полка (1815—1824). Выйдя в отставку, в 1827 г. поступил в Министерство финансов.

87* Речь идет о трагедии французского драматурга Ж. Расина «Эсфирь», написанной в 1688 г. по заказу для закрытого женского Сен-Сирского пансиона и переведенной Катениным в 1816 г.

Катенин Павел Александрович (1792—1853), русский поэт, драматург, критик, переводчик и театральный педагог. В 1806 г. служил в департаменте Министерства народного просвещения, в 1808 г. — титулярный советник, в 1810 г. — портупей-прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка, в 1811 г. — прапорщик, в 1820 г. — полковник, командир лейб-гвардии Преображенского полка. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Член Союза спасения (с 1816), один из организаторов Военного общества (1818). К суду не привлекался. В 1833 г. определен в Эриванский карабинерский полк, в 1836 г. комендант крепости Кизляр, уволен от службы с чином ген.-майора (1838). Член Российской академии (1833), почетный член отделения русского языка и словесности Академии наук (1841).

88* Речь идет о стихотворении «Певец в стане русских воинов», написанном находившимся в московском ополчении Жуковским накануне Тарутинского сражения; имело большой успех и в списках распространялось в армии. Впервые опубликовано в 1812 г. в «Вестнике Европы», вызвало множество подражаний. В 1814 г. Жуковский написал своего рода продолжение — «Певец в Кремле», в котором певец, уже вернувшийся в Москву из похода, обращаясь к народу, поет о победоносном окончании войны.

89* Глинка Федор Николаевич (1786—1880), русский поэт, публицист. Родился в имении Сутоки под Смоленском. Окончил кадетский корпус, был участником Отечественной войны 1812 г., описанной им в «Письмах русского офицера» (1815—16) и «Очерках Бородинского сражения» (1839). Деятельный член тайных декабристских организаций — «Союза спасения», затем «Союза благоденствия». В 1819—25 гг. председатель Вольного общества любителей словесности. После поражения восстания декабристов сослан в Петрозаводск, где изучал

этнографию и фольклор Карелии. С конца 30-х годов сотрудничал в журн. «Москвитянин». Умер в Твери.

90* Литта Юлий Помпеевич (1763—1839), видный деятель католицизма в России, граф. Родился в Милане, окончил римскую коллегию св. Климента, в 1782 г. записан рыцарем Мальтийского ордена. С 1789 г. в России — с целью оказать содействие Екатерине II в переформировании флота на Балтийском море. Деятельность его как представителя католической партии и чрезвычайного посла ордена при русском дворе увенчалась избранием Павла I великим магистром Мальтийского ордена в 1798 г., что позволило Литте влиять даже на ход государственных дел. Имел большое влияние и при Александре I, и при Николае I. Был назначен в 1811 г. членом Государственного Совета, в 1826 г. обер-камергером.

91* Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882), барон, затем граф, генерал-адъютант, член Государственного совета (1856). После окончания Института путей сообщения начал военную службу, участвовал в Отечественной войне 1812 г., в Бородинском сражении, в заграничных походах русской армии 1813—14 гг., а также в русско-турецкой войне 1828—29 гг. и в Крымской войне 1853—56 гг. Военный губернатор в Риге и Минске (1831—1834). В 1859—60 гг. Московский генерал-губернатор. Являясь членом Комитета устройства учебных заведений, учрежденного 14 мая 1826 г. с целью предотвращения повторения подобных восстанию декабристов событий, содействовал преобразованиям системы среднего и высшего образования. В 1835 г. попечитель Московского учебного округа. Известен как меценат, коллекционер и археолог. В 1825 г. основал бесплатную художественную школу (Строгановское училище), с 1837—74 гг. председатель Общества истории и древностей Российских при Московском университете, основатель (1859) и президент (пожизненно) Археологической комиссии.

92* Вильгельм I (Фридрих-Людвиг) (1797—1888), император германский (1871) и король прусский (1861), второй сын короля Фридриха Вильгельма III (1770—1840).

93* Сен-При — трудно сказать, о каком из двух Сен-При идет речь: об эмигранте Армане-Эммануэле-Шарле (1782—1863), находившемся на русской службе (был губернатором Одессы и Подолии), или о французском дипломате и государственном деятеле Франсуа-Эммануэле-Гиньяре (1735—1821), находившемся после 1790 г. в эмиграции и некоторое время жившем в России.

94* Речь может идти о Скарятине Якове Федоровиче (ум. 1850 г.), полковнике, участнике убийства Павла I, орловском помещике, коннозаводчике.

95* Вяземский Петр Андреевич (1792—1878), поэт, критик. В последние годы царствования Александра I выполнял важные дипломатические поручения: в дальнейшем служил в министерстве финансов, государственном банке, в министерстве просвещения.

96* Лаваль Иван Степанович (1761—1846), граф, французский эмигрант, приехавший в Россию в начале Французской революции, гофмейстер, член главного правления училищ, затем служил в министерстве иностранных дел.

Стройновский Валериан (1759—1834), польский, в дальнейшем российский деятель. После раздела Польши в конце XVIII в. переехал в Петербург, стал графом и сенатором. Автор ряда работ по экономике.

Завадовский Александр Петрович (1794—1856), граф, отставной поручик Александрийского гусарского полка, камер-юнкер. Сын русского государственного деятеля, первого министра народного просвещения (1802—10) Завадовского Петра Васильевича (1739—1812).

97* Российское Библейское Общество (1812—1826) учреждено по образцу «Британского и Иностранного Библейского общества» в Англии и преобразовано на основе уже ранее созданного С.-Петербургского Библейского общества с целью разъяснения, издания и распространения книг Священного писания. Деятельность Общества была прекращена указом Николая I, объявившим издания Библии исключительным правом Синода. Общество преобразовалось в «Евангелическое Русское Библейское общество», распространявшее свою деятельность только на протестантское население России.

98* Вадковский Федор Федорович (1764—1806), сенатор, камергер, действительный тайный советник.

^{99*} Чернышев Иван Григорьевич (1726—1797), граф, дипломат, государственный деятель, генерал-фельдмаршал от флота, президент Адмиралтейской Коллегии.

^{100*} Вадковские: Иван Федорович (1790—1849), подполковник лейб-гвардии Семеновского полка; Павел Федорович — камер-юнкер, жил в Елецком уезде Орловской губ.; Александр Федорович (р. ок. 1801 г.), подпоручик 17 егерского полка. Воспитывался в Московском университетском пансионе, затем в училище св. Петра в Петербурге и у аббата Лемри, занимался с преподавателями Пажеского корпуса. На службу поступил подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. Член Южного общества (1823). По окончании следствия содержался еще 4 месяца в Петропавловской крепости и был выписан в Моздокский гарнизон (1826). Участник русско-турецкой войны 1828—29 гг. Уволен от службы в 1830 г. Разрешен въезд в столицы с сохранением надзора в 1837 г.; Федор Федорович (1800—1844), прапорщик Нежинского конно-егерского полка. Воспитывался в Московском университетском пансионе (1810—1812), затем у аббата Лемри в Петербурге и в пансионах Гинрихса и Годеннуса. На службу поступил подпрапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк (1818), переведен в Кавалергардский полк юнкером, в 1822 г. — корнет. В 1824 г. был переведен в Нежинский конно-егерский полк с переименованием в прапорщика за неприличное поведение (шутки по поводу императора и сочиненную им сатирическую песню). Член северного отделения Южного общества (1823), активный организатор декабристской ячейки в Кавалергардском полку. Приговорен к каторжным работам навечно; впоследствии срок сокращен сначала до 20, а затем до 13 лет. С 1840 г. жил в с. Оёк Иркутского округа, где и скончался.

^{101*} Плещеева Анна Ивановна, рожд. Чернышева (ум. 20.6.1817), дочь графа Ивана Григорьевича Чернышева, жена Александра Алексеевича Плещеева (1778—1862), писателя, автора романов на стихи В.А. Жуковского, Г.Р. Державина, П.А. Вяземского и др. При императоре Павле — юнкер Коллегии Иностранных Дел. В 1821 г. — камергер, затем чиновник особых поручений при Министерстве Внутренних Дел, при С.-Петербургской Таможне, чиновник особых поручений при Министерстве Финансов. В 1845 г. — статский советник.

^{102*} Нарышкин Александр Львович (1760—1826), обер-гофмаршал, обер-камергер, канцлер российских орденов. Сын обер-шталмейстера Льва Александровича Нарышкина и жены его Марины Осиповны, рожд. Закревской. Получив домашнее образование, поступил в лейб-гвардии Измайловский полк, где дослужился до чина капитан-поручика. С 1778 г. при дворе, где с 1799—1819 гг. занимал должность Главного Директора Императорских театров, состоял почетным членом Императорской Академии художеств и был Петербургским губернским предводителем дворянства. В 1820 г. уезжает за границу. Скончался в Париже.

^{103*} Козодавлев Осип Петрович (1754—1819), писатель, переводчик, государственный деятель. В царствование Павла I стал обер-прокурором Сената, затем сенатором. При Александре I министр внутренних дел (1810—1819).

^{104*} Убри Петр Яковлевич (1774—1847), действительный тайный советник, русский дипломат. В 1803—04 гг. поверенный в делах в Париже, в 1809—10 гг. — поверенный в делах в Пруссии, с 1812 г. — чиновник Коллегии иностранных дел, в дальнейшем посланник в Неаполе, в Мадриде, в ряде государств Германии.

^{105*} Горчаков Александр Михайлович (1798—1883), князь, русский дипломат. Воспитывался в Царскосельском лицее. С 1856 г. министр иностранных дел, с 1863 г. государственный канцлер России.

Корсаков Николай Александрович (1800—1820), лицеист первого выпуска Царскосельского лицея, по окончании которого (1817) поступил в Коллегию иностранных дел. Причисленный к римской миссии, в 1819 г. уехал в Италию, где во Флоренции умер от чахотки.

^{106*} Ланской Дмитрий Сергеевич (ум. в 1833), тайный советник, с 1811 г. сенатор, член Государственного совета (1819).

^{107*} Трудно сказать, о каком Козловском идет речь: о дипломате — князе П.Б. Козловском (1783—1840); о князе М.С. Козловском (1785—1850), или о генерал-майоре В.Н. Козловском (1790—1847).

^{108*} Ожаровский Адам Петрович (1776—1855), граф, генерал-адъютант имп. Александра I, генерал-от-кавалерии, сенатор

Щербатов Алексей Григорьевич (1777—1848), князь, генерал от-инфантерии (1825), ге-

нерал-адъютант (1818), с 1839 г. — член Государственного совета, в 1843—1848 гг. — московский военный генерал-губернатор.

Апраксин Владимир Степанович (1796—1833), граф, флигель-адъютант (1817), генерал-майор.

^{109*} Ливен Христофор Андреевич (1774—1838), граф, генерал-адъютант, генерал-от-кавалерии, попечитель наследника цесаревича Александра Николаевича, дипломат. В 1809 г. — чрезвычайный посланник и полномочный министр в Берлине. С 1812—1834 гг. посол в Лондоне.

^{110*} Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864), государственный деятель, граф. В 1800—02 гг. в Коллегии иностранных дел, с 1807 г. на дипломатической службе в Швеции и Англии. В 1826 г. назначен делопроизводителем Верховной следственной комиссии по делу декабристов. В 1832 г. Министр внутренних дел, с 1837 по 1839 гг. — министр юстиции, в конце 1839 г. — управляющий II отделением собственной его императорского величества канцелярии и председатель департамента законов в Государственном совете. В 1855 г. Президент Петербургской Академии наук, в 1862 г. — председатель Гос. совета и Комитета Министров.

^{111*} Анаксагор из Клазомен (в Малой Азии) (ок. 500—428 до н.э.), философ и ученый, около 30 лет проживший в Афинах, фактически основоположник афинской философской школы. Автор прозаического сочинения «О природе». Суть учения Анаксагора заключена в его понимании первоначал: первичны не отдельные стихии, как считали предшествующие философы, а все без исключения состояния вещества. Оказал большое влияние на Демокрита и на Сократа. За критику мифологии и учение об Уме (Нусе), управляющем миром, против Анаксагора был возбужден судебный процесс, на котором его обвинили в непочитании богов. Изгнанный из Афин, последние годы провел в Ионии.

Цитируемое стихотворение претерпело несколько редакций: первая относится к декабрю 1817 г., третья, последняя, к декабрю 1819 г. Стихотворение в автографах предполагалось назвать или «К Анаксагору», или «К Кривоцу». Впервые под заглавием «Кривоцу» стихотворение опубликовано в 1826 г. в разделе «Послания» в издании стихотворений А.С. Пушкина (Стихотворения А. Пушкина. СПб., 1826).

Любопытна опубликованная в статье «Пушкин и Кривцов» версия названия стихотворения пушкиноведа В.П. Гаевского. Он считает, что основанием для сопоставления Кривоца с Анаксагором может служить факт продолжительных путешествий знаменитого древнегреческого философа в молодые годы с целью самообразования.

^{112*} Речь идет о стихотворении «Когда сожмешь ты снова руку». При жизни Пушкина напечатано не было. Автограф, принадлежавший Н.И. Кривоцу, был им вклеен перед титульным листом книги «Орлеанская дева» Вольтера («La Pucelle» par Voltaire. Paris, 1801), подаренной Кривоцу Пушкиным, подписавшим на форзаце переплета книги «Другу от друга», что и было принято В.П. Гаевским, а затем и редакторами сочинений Пушкина до Л.Н. Майкова включительно за заглавие стихотворения. В правильном виде стихотворение опубликовано лишь в 1903 г. в 4-м издании Собр. соч. Пушкина под ред. Ефремова.

^{113*} «Библия Харит» — поэма Вольтера «Орлеанская дева».

Хариты (лат. Грации) — в греч. мифологии три сестры-богини, олицетворявшие все привлекательное и соблазнительное в красоте; были в дружбе с музами и состояли в свите Афродиты (Венеры). В знак объединявшей их тесной дружбы изображались всегда вместе.

^{114*} Тентетников — герой 2-го тома поэмы Гоголя «Мертвые души».

^{115*} Оуэн Роберт (1771—1858), один из первых социальных реформаторов XIX в., социалист-утопист; он первый стал писать о необходимости фабричного законодательства, поставил задачу борьбы с безработицей; считается духовным отцом кооперативного движения. В своих планах установления мира между классами путем полного преобразования промышленной системы Оуэн рассчитывал на вмешательство государства.

^{116*} Тургенев Николай Иванович (1789—1871), действит. статский советник. Родился в Симбирске. По окончании в 1806 г. курса в благородном пансионе Московского университета слушал лекции в Московском университете, затем в Геттингенском университете (1808—11). В 1813 г. состоял на государственной службе: русский комиссар центр. административного департамента союзных правительств, помощник статс-секретаря Государственного Совета, управляющий III Отделением канцелярии Министерства финансов. Член преддекабристской

тайной организации «Орден русских рыцарей», член Союза благоденствия и один из создателей и руководителей Северного общества декабристов. С 1824 г. находился в заграничном отпуску и во время восстания на Сенатской площади в Петербурге не находился. Привлечен к следствию по делу декабристов, но вернуться в Россию отказался. Приговорен заочно к каторжным работам навечно. Оставался эмигрантом и жил сначала в Англии, а затем в основном в Париже. По амнистии 26 августа 1856 г. дарованы все прежние права и возвращены все чины и ордена. Несколько раз приезжал в Россию. Умер в Париже. В Париже издал в 1847 г. на французском языке известную свою книгу «Россия и русские». (См. о нем: *Гершензон М.О. Образы прошлого.* — т. 3 настоящего издания.)

^{117*} Лубяновский Федор Петрович (1777—1869), переводчик, мемуарист, автор книги «Заметки за границей в 1840 и 1843 годах» (СПб., 1845).

^{118*} Римский-Корсаков Григорий Александрович (1792—1852), отставной полковник лейб-гвардии Московского полка. Участник Отечественной войны 1812 г., а также заграничных походов. Уволен от службы в 1821 г. Член Союза благоденствия. К суду по высочайшему повелению не привлекался. В 1823—26 гг. жил в Вене, Париже и Италии. В 30-х годах жил в Москве. (См. о нем: *Гершензон М.О. Грибоедовская Москва.* — Т. 1 настоящего издания.)

^{119*} По-видимому, имеется в виду Памфамир Христофорович Молоствов (1793—1828), лейб-гусар, приятель А.С. Пушкина.

^{120*} По-видимому, имеется в виду Александр Александрович Раль (Rall) (1756—1833), барон, придворный банкир в С.-Петербурге.

^{121*} Престол — главная принадлежность алтаря христианского храма в виде высокого четырехстороннего стола. В православной церкви ставится в центре алтаря, в католических храмах плотно к стене.

^{122*} Шувалов Андрей Петрович (1802—1873), граф, обер-гофмаршал, обер-камергер, президент придворной канцелярии. В 1857 г. — член Гос. Совета.

Нарышкина Софья Дмитриевна (1808 — 18 июня 1824), дочь обер-егермейстера Дмитрия Львовича Нарышкина (1764—1838) и Марии Антоновны, рожд. кн. Четвертинской (1779—1854). Скончалась будучи невестой гр. А.П. Шувалова.

^{123*} Фонтон Феликс Петрович (род. в 1801), действительный статский советник, тайный советник (1859), писатель. В 1842 г. советник миссии в Берлине, в 1846 г. — советник посольства в Вене, чрезвычайный посланник и полномочный министр в 1855 г. при дворах короля Ганноверского и вел. герцога Ольденбургского, с 1857 г. при Германском Союзе. В 1860 г. вышел в отставку. В 1862 г. в Лейпциге издал книгу в 2 томах под заглавием: «Воспоминания. Юмористические, политические и военные письма из главной квартиры Дунайской армии в 1828 и 1829 годах». Книга открывается обращением: «Сергею Ивановичу Кривцову! Любезный друг!».

Суворов Александр Аркадьевич (1804—1882), князь Итальянский, граф Рымникский, генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии, генерал-инспектор пехоты, член Государственного совета, внук генералиссимуса А.В. Суворова. Учился в иезуитском пансионе в Петербурге, затем в школе Фелленберга в Гофвиле, в Париже посещал Сорбонну, после чего поступил в Геттингенский университет. По возвращении в Россию определен на службу юнкером в лейб-гвардии конный полк. По показанию ряда декабристов, член Северного общества. Арестован, но был освобожден и выслан на Кавказ, где участвовал в ряде военных кампаний. Флигель-адъютант (1828), сопровождал Николая I в действующую армию во время русско-турецкой войны 1828—29 гг. В течение 14 лет был генерал-губернатором сначала прибалтийского края, затем Петербурга.

Суворов Константин Аркадьевич (1809—1878), князь Итальянский, граф Рымникский, полковник, гофмейстер, внук генералиссимуса А.В. Суворова.

^{124*} В данном случае датировка М.О. Гершензона неточна. Графиня Екатерина Петровна Шувалова с дочерью Александрой Андреевной, вышедшей замуж в 1797 г. за австрийского посланника, князя Франца Иосифовича Дидрихштейна, приняли католичество в 1807 г. Е.П. Шувалова умерла в 1816 или 1817 г., а речь идет о событиях, происходивших в 1818—1820 гг.; слова «год спустя» не соответствуют хронологии событий.

^{125*} М.В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на ... престол ... Елисаветы Петровны, 1747 года».

^{126*} Суворов Аркадий Александрович (1784—1811), граф Рымникский, сын генералиссимуса А.В. Суворова, генерал-лейтенант.

Его вдова, Елена Александровна (1785—1855), урожденная Нарышкина, в 1823 г. вышла замуж за кн. Василия Сергеевича Голицына.

^{127*} Голицын Михаил Михайлович (1793—1856), князь, генерал, писатель, участник кампании 1812 года, действительный статский советник (1830).

^{128*} Козлов Иван Иванович (1779—1840), поэт. В молодости офицер, потом чиновник. В 1819 г. лишился ног вследствие паралича, а в 1821 г. ослеп. Литературная деятельность относится ко времени после 1821 г.: издал несколько поэм и много стихотворений. Наибольшим успехом пользовалась его романтическая поэма «Чернец».

^{129*} Буссе Федор Иванович (1794—1859), педагог, родился в семье лютеранского пастора; в 1814 г. окончил Петербургский педагогический институт и был командирован за границу для ознакомления с системами образования.

^{130*} Ободовский Александр Григорьевич (1796—1852), педагог, учился в Медико-хирургической академии, затем в Педагогическом институте в Петербурге, преподавал в Главном педагогическом институте и др. учебных заведениях.

^{131*} Свенске Карл Федорович (1797—1871), уроженец Лифляндии, окончил Главный педагогический институт в Петербурге, в дальнейшем лектор немецкого языка в Петербургском университете.

^{132*} Тимаев Матвей Максимович (1796—1858), педагог, окончил Петербургский педагогический институт, ознакомился с методами и системами образования за границей, преподавал в Главном педагогическом институте и в императорской семье.

^{133*} Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), литературный критик, историк литературы. Сын крепостного, в 1824 г. получил вольную, окончил Петербургский университет, профессор русской словесности (1834—64), академик Российской АН с 1855 г.

^{134*} Озеро Четырех кантонов — Фирвальдштетское озеро (оно же Люцернское); считается самым красивым из горных озер Швейцарии. Альторф — главный город кантона Ури, в 1291 г. объединившийся с кантонами Швиц и Унтервальден для организации борьбы против австрийского гнета и образования Швейцарского Союза.

^{135*} Капуцины — католический монашеский орден, основанный как ответвление ордена францисканцев в 1525 г. в Италии. Название получил по остроконечному капюшону, пришитому к рясе из грубого сукна, которую носят капуцины.

^{136*} Почти дословная фраза из либретто комической оперы русского писателя и драматурга Якова Борисовича Княжнина (1742—1791) «Несчастье от кареты» (1779). Следует: Какая это радость, Какая сердцу сладость.

^{137*} Из стихотворения «Три души» (1850).

Павлова Каролина Карловна (1807—1893), рожденная Яниш — русская поэтесса, дочь обрусевшего немца, проф. Моск. университета К. Яниша, жена писателя Николая Филипповича Павлова. В 1833 г. опубликовала сборник переводных и оригинальных произведений на немецком языке, включавший переводы из А.С. Пушкина, Е.А. Баратынского, Н.М. Языкова. С 30-х годов начинается и оригинальное поэтическое творчество Павловой на русском языке. В 1853 г. после разрыва с мужем уехала за границу, откуда ненадолго возвращалась в Петербург, в 1856 г. покинула Россию навсегда.

^{138*} Вероятно, Малиновский Алексей Федорович (1762—1842), тайный советник, историк, писатель, начальник московского архива Коллегии иностранных дел, сенатор, член Российской Академии наук, председатель общества истории и древностей российских.

^{139*} Тургенев Сергей Иванович (1790—1827), дипломат, брат декабриста Н.И. Тургенева. С 1815 г. — чиновник Коллегии иностранных дел, в 1820—21 гг. — советник миссии в Константинополе.

^{140*} Песня написана В.А. Жуковским в 1818 г.; впервые опубликована в журнале «Сын отечества» в 1821 г. под заглавием «Прежнее время».

^{141*} Тэер (Тер) Альбрехт-Даниель (1752—1828), немецкий агроном, проф. Берлинского университета (1810—19). Создал в 1804 г. в 7 милях от Берлина учебное сельскохозяйствен-

ное заведение, которое в дальнейшем было переименовано в Королевскую академию, просуществовавшую до 1861 г.

142* Гагарин Сергей Иванович (1777—1862), член Государственного Совета, сенатор, президент Московского общества сельского хозяйства.

143* Свербеев Дмитрий Николаевич (1799—1876), московский дворянин, общественный деятель. Мемуарист.

144* Актуариус, актуарий — канцелярский служащий, делопроизводитель (в коллегии, сенате и т. п.); чин 13 и 14 класса.

145* Алопеус Максим Максимович (1748—1822). Учился в университете Або (Финляндия) и Гёттингене. Дипломат, с 1790 г. посланник в Берлине, в дальнейшем — посол в Лондоне.

146* Дукат (от итал. *ducato*) — старинная серебряная, а затем золотая монета. Впервые выпущен в Италии в 1140 г., получил распространение в западноевропейских странах в качестве самой высокопробной монеты.

147* Пестель Павел Иванович (1793—1826), полковник, командир Вятского пехотного полка. Родился в Москве. Учился в Дрездене, затем в Пажеском корпусе, откуда выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Литовский полк, с которым участвовал в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах 1813—14 гг. Член Союза спасения и Союза благоденствия, организатор и глава Южного общества декабристов. Автор проекта социально-экономических и политических преобразований в России, принятого в качестве политической программы Южного общества, которую назвал в 1824 г. «Русской Правдой». В 1825 г. вел переговоры с представителями Польского патриотического общества о совместных действиях. Казнен 13 июля 1826.

148* Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826), отставной подпоручик, поэт. Воспитывался в Петербургском 1-м кадетском корпусе (1801—1814). Участник заграничных походов русской армии (1814, 1815). В 1818 г. вышел в отставку, с 1821 г. служил заседателем Петербургской уголовной палаты, с 1824 г. — правитель канцелярии Российско-американской компании. С 1819 г. сотрудничал в журналах. Член «Вольного общества любителей словесности» (1821). С 1823 г. член Северного общества декабристов, возглавил затем наиболее радикальное его крыло. Сыграл ведущую роль в организации восстания декабристов на Сенатской площади в Петербурге. Казнен 13 июля 1826.

149* Свистунов Петр Николаевич (1803—1889), корнет лейб-гвардии Кавалергардского полка. Родился в Петербурге. Член петербургской ячейки Южного общества (1823), участвовал в деятельности Северного общества. Приговорен к каторжным работам. По отбытии срока на поселение сначала в Иркутской губ., затем в г. Кургане Тобольской губ., где поступил на службу. За отличие в работе произведен в коллежские регистраторы, затем, по выслуге лет, в губернские секретари. По Манифесту об амнистии 26 августа 1856 г. жил в Калуге: восстановлен в правах. В 1863—89 гг. жил в Москве, где и умер.

150* Чернышев Захар Григорьевич (1797—1862), граф, ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского полка. Член петербургской ячейки Южного общества (1825), участвовал в деятельности Северного общества. Приговорен к каторжным работам. После отбытия срока на поселении в г. Якутске, где жил одно время вместе с Александром Бестужевым. В 1829 г. рядовой в Нижегородском драгунском полку. В 1834 г. уволен в отставку в чине подпоручика. По амнистии 1856 г. восстановлен в прежних правах с возвращением графского титула и получил разрешение выехать за границу. Умер в Риме.

151* Муравьев Никита Михайлович (1795—1843), капитан Гвардейского генерального штаба. Родился в Петербурге. Воспитывался дома, затем учился в Московском университете, не окончив который, пошел в 1813 г. на военную службу; участвовал в заграничных походах русской армии 1813—14 гг. Один из основателей Союза спасения, член Союза благоденствия (член Коренного совета), член Верховной думы Северного общества и правитель его, автор проекта Конституции. В самом восстании на Сенатской площади участия не принимал. Как активный деятель декабристского движения приговорен к каторжным работам на 20 лет (срок сокращен до 15 лет). В 1835 г. был переведен на поселение в с. Урик Иркутского округа, где и умер. Автор историко-публицистических работ. Его жена, Александра Григорьевна, урожд.

гр. Чернышева (1804—1832), сестра З.Г. Чернышева, последовала за мужем в Сибирь; умерла в Петровском Заводе.

^{152*} З.Г. Чернышев и Ф.Ф. Вадковский были двоюродными братьями, так как мать Вадковского, Екатерина Ивановна, и отец Чернышева — Григорий Иванович, родные сестра и брат.

^{153*} Анненков Иван Александрович (1802—1878), поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка. Член петербургской ячейки Южного общества (1824), участвовал в деятельности Северного общества. Приговорен в каторжным работам на 20 лет. Срок сокращен до 15 лет; затем отправлен на поселение в с. Бельское Иркутской губ., позднее в г. Туринск Тобольской губ., где поступил на гражданскую службу. По амнистии 26 августа 1856 восстановлен в правах, с 1857 г. — титулярный советник. Умер в Пижем Новгороде, где жил с 1857 г.

^{154*} Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793—1886), отставной подполковник. Участвовал в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах русской армии. Один из основателей Союза спасения, член Союза Благоденствия (1817), член Южного общества, участник восстания Черниговского полка. Был представителем Южного общества в Петербурге, вел переговоры об объединении Северного и Южного обществ. Приговорен к каторге с последующим оставлением на поселении в Сибири. По амнистии 26 августа 1856 восстановлен в правах. С 1857 г. — в Твери, с 1863 г. мог проживать в Петербурге и Москве. Умер в Москве.

^{155*} В показаниях М.Ф. Орлова, где он пишет в частности о Союзе спасения, читаем: «Общество состояло из трех степеней: друг, брат и муж. Другом почитался всякий человек, имеющий свободный образ мыслей, ... знающий или не знающий о существовании общества... Другом и внесенным на их регистр мог быть всякий, кто бы он ни был, и совершенно без ведома, ни согласия. Братом назывался тот, кто дал клятвенную обязанность на свою верность, но коему тайна Общества не была открыта. Мужем наречен был тот, кто знал тайну и дал клятву». (См.: *Орлов М.Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма*. М., 1963. С. 80.)

^{156*} Утверждение, что Кривцов выехал из Орловской губ. вместе с З.Г. Чернышевым, по-видимому, не соответствует действительности: З.Г. Чернышев был арестован в деревне своего отца в Орловской губ. в декабре 1825 г., С.И. Кривцов — в Воронеже 14 января 1826 г. по приказу об аресте от 5 января 1826 г.

^{157*} Ентальцев (Янтальцев) Андрей Васильевич (1788—1845), подполковник, командир конно-артиллерийской роты. Участник Отечественной войны 1812 г. Член Южного общества декабристов. Приговорен к каторжным работам на 2 года, срок сокращен до 1 года; затем водворен на поселение в г. Березов Тобольской губ., позднее в Ялуторовск, где и умер в результате психического заболевания.

^{158*} Депрерадович Николай Николаевич (1802—1884), корнет лейб-гвардии Кавалергардского полка. Член петербургской ячейки Южного общества (1823), участвовал в деятельности Северного общества. Не был предан суду. Переведен в Нижегородский драгунский полк (1826). Участник русско-персидской войны 1826—1828 гг.; переведен в С.-Петербургский уланский полк (1828), в лейб-гвардии уланский полк (1829). В 1831 г. освобожден от секретного надзора. Вышел в отставку генерал-майором в 1846 г. Умер в Штуттгарте, погребен в Дрездене.

^{159*} По-видимому, речь идет о Александре Михайловиче Муравьеве (1802—1853). Корнет лейб-гвардии Кавалергардского полка. Член Союза благоденствия (1820) и Северного общества декабристов. Приговорен к каторжным работам на 12 лет, срок сокращен до 8 лет. По указу 1832 г. подлежал освобождению от каторжных работ, но по собственной просьбе оставался в рудниках до окончания срока работ его брата Н.М. Муравьева. В 1835 г. освобожден; отправлен на поселение вместе с братом в с. Урик Иркутской губ.; после смерти брата получил разрешение поступить на гражданскую службу (1844). С 1845 г. проживал в г. Тобольске, где умер, так и не получив известие о разрешении ему выехать из Сибири и служить в Курске.

^{160*} Горожанский Александр Семенович (1800 или 1801—1846). Поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка. Член петербургской ячейки Южного общества (1824), участвовал в деятельности Северного общества. По отбытии в Петропавловской крепости четырехлетнего заключения отправлен в 1830 г. в 7-линейный Оренбургский батальон, откуда — в Соловецкий монастырь, где и умер.

^{161*} Арцыбашев Дмитрий Александрович (1803 или 1804—1831). Корнет лейб-гвардии Кавалергардского полка. Член петербургской ячейки Южного общества (1825), участвовал в деятельности Северного общества. После содержания в Петропавловской крепости переведен в Таманский гарнизонный полк (1826). Участник русско-персидской (1826—28) и русско-турецкой (1828—29) войн. В 1830—31 гг. — подпоручик Нашебургского пехотного полка. Автор военно-исторических исследований.

^{162*} Вяземский Александр Николаевич (р. ок. 1803 — ум. после 1860), князь. Корнет лейб-гвардии Кавалергардского полка. Член петербургской ячейки Южного общества (1825), участвовал в деятельности Северного общества. Был выпущен на свободу (11 августа 1826) и переведен в полки 2 армии. За отличие в русско-турецкой войне 1828—29 гг. произведен в поручики, в 1830 г. переведен в Ингерманландский гусарский полк, уволен от службы в 1832 г. Жил в Москве; в 1843 г. разрешен заграничный отпуск.

^{163*} В следственных материалах по восстанию декабристов упоминаются братья Плещеевы.

Плещеев Александр Александрович (1803—1848). Корнет лейб-гвардии конного полка. Следствием установлено, что членом тайных обществ декабристов не был, но знал о существовании Северного общества. Освобожден из Петропавловской крепости в 1826 г. Уволен в отставку в чине поручика (1827); чиновник особых поручений при начальнике Петербургского таможенного округа (1828).

Плещеев Алексей Александрович (ок. 1800—1842). Поручик лейб-гвардии конного полка. Член Северного общества (1823) и петербургской ячейки Южного общества. В 1826 г. переведен из Петропавловской крепости в Курляндский драгунский полк, откуда уволен майором в 1836 г.

^{164*} Якушкин Иван Дмитриевич (1793—1857). Отставной капитан. В службу вступил в лейб-гвардии Семеновский полк прапорщиком в 1811 г., с полком участвовал в Отечественной войне 1812 г. и заграничных походах (1813—14). Учредитель и составитель первоначального Устава Союза Спасения, член Союза Благоденствия (1817), член Северного общества. Приговорен к каторжным работам, затем отправлен на поселение в Ялutorовск, где и прожил до амнистии 26 августа 1856 г. Умер в Москве.

^{165*} Якубович Александр Иванович (1796 или 1797—1845). Капитан Нижегородского драгунского полка. Членом тайных обществ декабристов, вероятно, не был. Участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к каторжным работам вечно, в 1835 г. срок был сокращен до 13 лет; затем — на поселении в Иркутской и в Енисейской губерниях. Умер в г. Енисейске.

^{166*} Здесь неточность: Петр Николаевич Свистунов (1803—1889) состоял с 20 апреля 1823 г. корнетом в лейб-гвардии кавалергардском полку.

^{167*} С. И. Кривцов был доставлен в Петербург на главную гауптвахту фельдъегерем Миллером — 19 января 1826 г.; 21 января 1826 г. переведен в Петропавловскую крепость.

^{168*} Дибич Иван Иванович (1785—1831), барон, граф (1827), генерал-лейтенант, генерал-адъютант (1818). Находился в Таганроге при кончине Александра I. Начальник Главного Штаба (1826).

^{169*} Фейерверкер — в русской армии: унтер-офицер в артиллерии.

^{170*} Пфейлицер-Франк Егор Ермолаевич (1794 или 1795—1832), барон. Ротмистр Ахтырского гусарского полка. Из дворян Курляндской губ. Лютеранин. Службу начал прапорщиком в Одесском пехотном полку в 1812 г.; участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Член Южного общества (1825). Переведен в 1826 г. в Уральский гарнизон. В 1832 г. уволен от службы. Поселился в Екатеринославе, затем в Таганроге, где и умер.

^{171*} Масоны — члены тайных обществ, называемых ложами, очень различающимися между собой по целям, формам организации и методам действия. Но в идеале «истинное», «правильное» масонство — это утопическое нетрадиционно-религиозное движение, стремящееся к достижению братства всего человечества, независимо от его национальных, политических, социальных, религиозных и иных различий. Масоны связаны между собою прежде всего моральными принципами, идеалами личного нравственного совершенствования. Единого масонского движения никогда не было и нет. Но внутри лож организация масонов строго иерархична (члены ложи имеют степени), построена на строгой дисциплине и подчинена особым ритуалам; масоны узнают друг друга посредством особых знаков и паролей. Термин «ма-

сон» происходит от французского «таçon» — каменщик, кладчик. Символически масонство означает строительство храма добродетелей, храма мудрости.

172* Лабзин Александр Федорович (1766—1825), писатель, известный мистик-масон, переводчик, издатель. Родился в Москве в дворянской семье. В 1812 г. один из секретарей Библиейского общества, затем директор и член комитета Общества. В 1818 г. назначен вице-президентом Академии художеств, в 1822 г. оставил служебную, общественную и литературную деятельность. С 1823 г. проживал в Симбирске, где и умер.

173* Стихотворение А.С. Пушкина «К вельможе» напечатано в «Литературной газете», 1830 г., 26 мая, № 30, С. 240—241 под заглавием «Послание к К.Н.Б.Ю.***» и адресовано вельможе екатерининского времени кн. Н.Б. Юсупову. Вместо «жил для жизни» следует «Для жизни ты живешь».

174* Каховский Петр Григорьевич (1799—1826), отставной поручик. В 1816 г. поступил на службу юнкером в лейб-гвардии егерский полк. Уволен в отставку поручиком по болезни в 1821 г. В 1823—24 гг. путешествовал за границей. По возвращении был принят Рылеевым в члены Северного общества. Активный участник восстания на Сенатской площади: смертельно ранил графа М.А. Милорадовича. Казнен 13 июля 1826 г.

175* Стихотворение К.Ф. Рылеева «Мне тошно здесь, как на чужбине» адресовано находившемуся вместе с ним в Петропавловской крепости Е.П. Оболенскому. 1-я строка воспроизведена неточно.

176* Огарев Николай Платонович (1813—1877), русский просветитель-демократ, один из предтеч народничества, поэт, публицист. В Московском университете (1829—33) был одним из создателей кружка радикально настроенных студентов, за что в 1834 г. был арестован и сослан в Пензенскую губ. В 1841—46 гг. с незначительными перерывами жил за границей. С 1856 г. стал политическим эмигрантом и жил главным образом в Лондоне и Женеве, где вместе с Герценом создал и редактировал органы вольной русской прессы: «Колокол» (1857—1867), «Полярная звезда» (1859—62), «Общее вече» (1862—64), «Под суд» (1859—62).

177* Более точно, по конфирмации приговора 10 июля 1826 г.

178* Бенкендорф Александр Христофорович (1783—1844), граф, генерал-адъютант. В 1806—15 гг. участник в войнах с Наполеоном, с 1819 г. — флигель-адъютант Александра I. В 1820 г. начальник штаба гвардейского корпуса. 14 декабря 1825 г. командовал отрядом, действовавшим против декабристов. Впоследствии член Следственного комитета по делу декабристов. Автор «Проекта об устройстве высшей полиции», целью которого было введение централизации политического сыска и надзора для укрепления самодержавно-крепостнического строя и борьбы с революционным движением. Указом 3 июля 1826 г. был назначен начальником Третьего отделения, шефом жандармов. При нем была организована широко разветвленная сеть тайной полиции. С 1831 г. член Государственного совета.

179* Потапов Алексей Николаевич (1772—1847), член Государственного и Военного Советов, генерал-адъютант, генерал-от-кавалерии. Участвовал в походах 1805—07 гг. против французов, в Отечественной войне 1812 г., в войнах 1813—14 гг. Участник русско-турецкой войны 1828—29. После восстания декабристов член комиссии для суда над декабристами.

180* Сукин Александр Яковлевич (1764—1837), генерал-от-инфантерии и ген.-адъютант, член Государственного совета, сенатор, комендант С.-Петербургской крепости (1826).

181* «Дон-Карлос» — трагедия Ф. Шиллера (1787).

182* Графиня Чернышева — по-видимому, Елизавета Петровна Чернышева, урожд. Квашнина-Самарина (1773—1828) — мать декабриста Захара Григорьевича Чернышева.

183* Д.В. Давыдов. «Современная песня» (1836).

184* Нахимов Аким Николаевич (1782—1814), поэт-сатирик, сын небогатого помещика Харьковской губ. Первоначальное образование получил в благородном пансионе при Московском университете. Недолгое время служил юнкером в Мариупольском гусарском полку. Выйдя в отставку, поступил в Императорский Харьковский университет, окончил его в 1808 г. со степенью кандидата. Жил в своем имении в Харьковской губ.

Эпиграф — из прозаического сочинения Нахимова «Сказание о Фемиде и об иноплеменных приказных».

^{185*} Палестина — обычно во мн. ч., только с прил. или местоим. — местность, край (устаревшее, разговорное выражение).

^{186*} Кавелин Дмитрий Александрович (1779—1850), действ. статский советник; при Александре I директор Главного Петербургского педагогического института и Благородного пансиона при СПб. университете с 1817 до 1821 г.; в 1821—24 гг. — чиновник особых поручений при ген.-губернаторе Балашеве, затем обер-прокурор. Отец дворянско-либерального деятеля и философа К.Д. Кавелина.

^{187*} Булгаков Александр Яковлевич (1781—1863), действительный тайный советник, московский почт-директор, сенатор, писатель. Служил секретарем посольства в Неаполе, Вене, в архиве Министерства иностранных дел. Его брат Константин Яковлевич (1782—1835), тайный советник, директор почтового департамента. Служил в Коллегии иностранных дел, в московском архиве Коллегии иностранных дел, выполнял также дипломатические поручения в ряде стран.

^{188*} Зерцало — увенчанная двуглавым орлом трехгранная призма, на которой были наклеены экземпляры указов Петра I; устанавливалась в судебных и других государственных и просветительных учреждениях как эмблема правосудия.

^{189*} Шафиров Петр Павлович (1669—1739), крупный русский дипломат, сподвижник Петра I, с 1709 г. — вице-канцлер, с 1717—23 гг. — вице-президент Коллегии иностранных дел, барон. В 1723 г. был обвинен в крупных злоупотреблениях по службе и хищениях и приговорен к смертной казни, замененной ссылкой. В 1725 г. был амнистирован, назначен президентом коммерц-коллегии. До конца жизни продолжал дипломатическую деятельность.

Говоря об указе 1724 г. Гершензон допускает, по-видимому, неточность: 15 февраля 1723 г. обряд казни Шафирова был уже совершен, и в момент имитации казни ему было сообщено о помиловании. (См.: Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великого. Ч. 2. М., 1821. С. 95—98; Терешенко А.В. Опыт обозрения жизни сановников, управляющих иностранными делами в России. Ч. 3. СПб., 1837. С. 36—37.)

^{190*} Ланской Василий Сергеевич (1754—1831), сенатор (1809), действительный тайный советник (1812), наместник Царства Польского, член Государственного совета. При Николае I министр внутренних дел.

^{191*} Пятидесятник (в стрелцком или казачьем войске — полусотник) командир подразделения, равного половине сотни.

^{192*} Бахметев Алексей Николаевич (1744—1841), генерал-от-инфантерии, участник Бородинского сражения, генерал-губернатор Нижегородской, Казанской, Симбирской и Пензенской губерний. Член Гос. совета.

^{193*} Толстой Петр Александрович (1761—1844), граф, генерал-от-инфантерии; с 1799 г. — в армии, в 1807—08 гг. — посол в Париже, отличился во время Отечественной войны 1812 г. В 1828 г. — главнокомандующий в Петербурге и Кронштадте. Член Государственного совета и комитета министров.

^{194*} Аверин Павел Иванович (1775—1849), действительный статский советник. В 1822 г. чиновник особых поручений при министре внутренних дел. Губернатор волынский (1828—31), бессарабский — с 1833 г.

^{195*} Закревский Арсений Андреевич (1783—1865), граф, ген.-лейтенант, член Государственного совета, министр внутренних дел (1828—31). Участник походов 1805 г. в Австрию против французов, аустерлицкого и ряда других сражений, а также битвы при Бородине 1812 г. В конце 40-х годов в течение 11 лет до 1859 г. Московский военный генерал-губернатор с предоставлением необыкновенных полномочий: снискал репутацию энергичного, но жестокого администратора, отличающегося большим умом, твердым характером и необыкновенным деспотизмом.

^{196*} Кривцов доставлен в Читинский острог 9 апреля 1827 г. По окончании срока каторги в начале мая 1828 г. переведен на поселение в г. Туруханск, куда прибыл 20 июня 1828 г.

^{197*} Нарышкина Елизавета Петровна, урожд. Коновницына (1802—1867), дочь героя Отечественной войны 1812 г., бывшего военного министра П.П. Коновницына, жена декабриста М.М. Нарышкина, последовавшая за мужем в Сибирь, в 1837 г. — на Кавказ.

198* Картуз (устар.) — бумажный пакет для сыпучих веществ.

199* Аврамов Иван Борисович (1802—1840). Поручик квартирмейстерской части. Из дворян Тульской губ. Воспитывался в пансионе при Тульском Александровском дворянском училище и в Московском учебном заведении для колонновожатых, куда поступил в 1818 г. Член Южного общества. Приговорен к каторжным работам. По окончании срока в 1828 г. переведен на поселение в г. Туруханск Енисейской губ. Разрешено заниматься вместе с Н.Ф. Лисовским торговыми оборотами в Туруханском крае и ездить для покупки хлеба и других припасов в Енисейск. Умер в пути в октябре 1840 г. в д. Осиново Анцыферовской волости

200* Лисовский Николай Федорович (1802—1844). Поручик Пензенского пехотного полка. Член общества Соединенных славян. Приговорен к каторжным работам. С 1828 г. переведен на поселение в Туруханск Енисейской губ.

201* Голицын Дмитрий Борисович (1803—1864), князь, отставной прапорщик (1827).

202* Бестужев Николай Александрович (1791—1855). Капитан-лейтенант 8 флотского экипажа. Родился в Петербурге. Воспитывался в Морском корпусе, куда поступил в 1802 г. Массон, член ложи «Избранного Михаила» (1818). Член Северного общества (1824). Участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к каторжным работам. По окончании срока в 1839 г. переведен на поселение в г. Селенгинск Иркутской губ., где и умер. Талантливый акварелист-нордгетист, прозаик, критик. С 1818 г. сотрудничал в журналах. Член-сотрудник Вольного общества любителей российской словесности (1821). В 1821 г. издал «Записки о Голландии», в периодических изданиях 1821—25 гг. напечатал ряд статей по истории Российского флота.

203* Степанов Александр Петрович (1781—1837), енисейский гражданский губернатор (1822—31). Участник суворовских походов, писатель, поэт, автор работ о Сибири.

204* Доллонд Джон (1706—1761), английский оптик, построивший ахроматический объектив, усовершенствованный позже его сыном Петером. Трубы Д. быстро получили широкое распространение.

205* Одоевский Никита Иванович (ум. 1689) — князь, государственный и военный деятель. В 1646—47 гг. главный воевода южных границ России. Руководил Приказом, готовившим Соборное уложение 1649 г. Участвовал в русско-польской войне 1654—67 гг. В 50—60 годы неоднократно стоял во главе русских посольств в переговорах с польскими и шведскими представителями. При царе Федоре Алексеевиче фактически ведал внешней политикой. Известно письмо царя Алексея Михайловича к Одоевскому, написанное вскоре после смерти сына Михаила в 1652 г.

206* Пантизм — философское учение, отождествляющее бога и мир. В пантизме, полностью растворявшем бога в природе, скрывалась возможность натуралистических тенденций, что нередко подводило к материализму. Иногда в форму пантизма облекались различные религиозно-мистические стремления, наоборот растворявшие природу в боге, что порождало идеалистическое направление пантизма.

207* Пантизм — идеалистическое воззрение, провозглашающее всеобщую одушевленность материи, как правило, приписывает психическому решающее значение.

208* Автор ошибается в имени. Сестра Захара Чернышева — Софья Григорьевна Чернышева (1799—1847), в замужестве Кругликова, с 1832 г. — гр. Чернышева-Кругликова. (См.: Долгоруков П. Российская родословная книга. Ч. 2. СПб., 1855. С. 103.)

209* Чернышев Григорий Иванович (1762—1831), граф, обершенк, действительный статский советник.

210* Мюллер (Müller) Иоганн (1752—1809), швейцарский историк, работавший также в Австрии, Пруссии и других германских государствах. Автор трудов: *Geschichte der schweizerischen Eidgenossenschaft*. Тl. 1—5. Leipzig, 1786—1808 (в первом варианте «Schweizergeschichte»); известна также работа «24 Bücher allgemeiner Geschichte». Tübingen, 1811 и ряд других трудов.

211* Речь идет о работе английского историка Уильяма Робертсона (1721—1793) «The History of the reign of the emperor Charles V» (1769) (в переводе на французский язык). В русск. пер.: «История государственания императора Карла V».

212* Монтень Мишель (1533—1592), французский писатель, философ, моралист. Речь идет о его самой знаменитой работе «Опыты» (*Essais de Messire Michel, Seigneur de Montaigne, chevalier de l'ordre et gentilhomme ordinaire de sa chambre*. 1580).

213* Паскаль Блез (1623—1662), французский философ. Речь идет о двух его работах: «Письма к провинциалу», которые Паскаль начал публиковать анонимно и порознь с 1656 г., и «Мысли» (1670). «Письма» представляли собой памфлет против иезуитов. В 1657 г. вышло два издания под названием «*Les provinciales*» или «*Lettres écrites par Louis de Montalte à un provincial des ses amis et au R.R.P.P. Jésuites sur le sujet de la morale et politique de ces Pères*». «Мысли» представляют собой фрагменты труда Паскаля «*Apologie de la religion chrétienne*» и посвящены проблемам религии.

214* Речь идет о работе французского мыслителя Жака-Бенямина Боссюэ (1627—1704) «Разговор о Всеобщей истории» в 3-х частях (М., 1761—1762).

215* «Федон» — знаменитый диалог Платона (428/427—348/347 до н.э.), в котором древнегреческий философ рассказывает о смерти своего учителя Сократа (469—399 до н.э.).

216* Речь, видимо, идет о Жане Батисте Сее (Say) и его «Трактате политической экономии» (*Traité d'économie politique*. 1803).

217* Лакруа Сильвестр Франсуа (1765—1843), французский математик. Речь идет о его труде «*Cours de mathématiques*» (1797—99) («Курс математики»).

218* Франкёр Луи Бенжамен (1773—1849), французский математик. Речь идет о работе «*Cours complet de mathématiques pures*». Т. 1—2. Р., 1809 (в русск. пер.: Курс чистой математики, содержащий арифметику, начальную алгебру, основания геометрии, прямолинейную геометрию и аналитическую геометрию. М., 1819).

219* Имеется в виду известная работа средневекового богослова-мистика Фомы Кемпийского (1380—1471) «*De imitatione Christi*», выдержавшая 5 тысяч изданий. Речь идет об одном из французских переводов, выходивших в 1818, 1822 и др. «*L'imitation de Jésus-Christ*». В русск. пер.: О подражании Иисусу Христу.

220* Речь идет о работе английского офицера и путешественника майора Диксона Денхама (1786—1828) и капитана Х. Клаппертона «*Narrative of Travels and Discoveries in Nothern and Central Africa*» (London, 1826). Работа вышла и на французском языке в 1826 г. под названием «*Voyages et découvertes dans le nord et dans les parties centrales de l'Afrique*». (Путешествия и открытия в Северной и Центральной Африке).

221* Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790—1869), французский поэт-романтик, писатель и политический деятель.

222* Речь идет о работе французского писателя и юриста Шарля Маргерита Мерсье Дюпати (1746—1788). В русск. пер.: Путешествие Г. дю Пати в Италию в 1785 году. Ч. 1—2. СПб., 1800—1801.

223* Нозль Франсуа Жозеф (1755—1841), составитель «Французско-латинского словаря» (*Dictionarium latino-gallicum = Dictionaire latin-français*. Paris, 1813).

224* Массильон Жан Батист (1663—1742), французский католический проповедник. Около сотни проповедей Массильона посмертно издал его сын. (В русск. пер.: Беседы.)

225* Сочинение французского аббата Роассара «Утешение Христианина, или побудительные причины к упованию на Бога в различных обстоятельствах жизни» в 2 частях (СПб., 1806: 2-е изд. М., 1819).

226* Батюшков Константин Николаевич (1787—1855), русский поэт. В 1817 г. выпустил книгу «Опыты в стихах и прозе» в двух томах. Печатался с 1805 г., известность пришла к нему в 1809—1811 годах.

227* Речь идет о серии трудов немецких классиков, выходившей в Аахене в 1812—1818 гг., носившей название «*Etui-Bibliothek der deutschen Classiker*».

Etui — букв. портсигар, футляр. В серии вышли труды Шиллера, Лессинга, Гердера и др. авторов.

228* Роллен Шарль (1661—1741), французский писатель. Речь идет о его труде «*Traité des études*» (1726). В русск. пер.: Правила о способе учения, извлеченные из сочинений Роллена. СПб., 1823.

229* Аббат Баттё Шарль (1713—1780), французский философ и педагог. Речь идет о его сочинении «*Principes abrégés de littérature à l'usage des élèves de l'Ecole Royale militaire*». («Краткие принципы литературы для учащихся королевской военной школы»).

230* Ансильон Жан Пьер Фредерик (1767—1837), пастор, писатель, государственный деятель. Из семьи французских эмигрантов в Пруссии. Член Берлинской академии наук, придворный историограф, с 1804 г. на службе в Министерстве иностранных дел, с 1832 г. министр иностранных дел. Речь может идти о работе «*Tableau des révolutions du système politique de l'Europe depuis la fin du quinzième siècle*» («Перечень революций политической системы Европы с конца XV века»), берлинское издание 1803—1805 гг. в 4 томах; парижское издание 1823 г. в 4 томах.

231* Греч Николай Иванович (1787—1867), журналист и писатель. После поражения восстания декабристов стал агентом III Отделения. Издавал журнал «Сын Отечества» (1812—38). Вместе с Булгариным был издателем газеты «Северная пчела». Автор учебника «Практическая русская грамматика» (1827).

232* Тургенева Варвара Петровна, рожд. Лутовинова (1787—1850), мать И.С. Тургенева.

233* Лутовинова Екатерина Ивановна, рожд. Лаврова — бабка И.С. Тургенева по матери.

234* Речь идет о русско-турецкой войне 1828—29 гг., вызванной обострением «Восточного вопроса» в связи с национально-освободительным движением в Греции. Военные действия начались в апреле 1828 г. Осаждая одновременно три турецкие крепости — Варну, Шумлу и Силистрию, русские войска лишь в конце сентября 1828 г. овладели первой из них; осада двух других была снята. Завершил войну Андрианопольский мирный договор в сент. 1829 г.

235* Шамбо Иван Павлович (1783—1848), тайный советник, секретарь императрицы Александры Федоровны. Родился в Берлине, в 1814 г. поступил на службу секретарем к принцессе Прусской, будущей императрице, с которой прибыл в Россию в 1817 г.

236* Перевод в Минусинск разрешен 13 февраля 1829 г., Кривцов прибыл туда 13 июля 1829 г.

237* Гагарин Григорий Иванович (1782—1837), дипломат, писатель. Посланник в Риме (1827) и Мюнхене (1832).

238* Успенъев пост — в память Успения Богородицы (15 августа ст. стиля).

239* По-видимому, речь идет о Иване Петровиче Черкасове, бароне, секунд-майоре. В 1826 г. ему было около 65 лет.

240* Черкасов Алексей Иванович (1799—1855), барон, поручик квартирмейстерской части. Член Южного общества (1824). Приговорен к 2 годам каторжных работ. Срок сокращен до 1 года. Каторгу отбывал в Чите. В 1828 г. переведен на поселение в г. Березов Тобольской губ., а затем в Ялуторовск. В 1832 г. определен рядовым на Кавказ и в 1843 г. уволен в отставку в чине прапорщика. Жил в Орловской губ. В 1851 г. разрешен въезд в Москву.

241* Брат А.И. Черкасова — Черкасов Петр Иванович (1796—1867), барон. Поручик. Подозревался в принадлежности к тайным обществам, был арестован, но 10 января 1826 г. освобожден с оправдательным аттестатом. Впоследствии отставной полковник.

242* Баратынский Абрам Андреевич (1767—1811), генерал-адъютант, сенатор. От брака с Александрой Федоровной, урожд. Черепановой, фрейлиной императрицы Марии Федоровны, у него было четыре сына (Евгений, известный поэт; Ираклий (1802—1859), генерал-лейтенант, сенатор, военный губернатор Ярославля, затем Казани; Сергей (1807—1866), коллежский ассесор, помещик Кирсановского уезда Тамбовской губ.; Лев (ум. 1858), гвардии поручик) и три дочери.

243* Голицын Григорий Сергеевич (1780—1848), князь, сенатор, ген.-адъютант Павла I (1798), действительный камергер (1801), пензенский губернатор (1811—16).

244* Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874), французский историк и политический деятель. Начал свою ученую и политическую карьеру при Наполеоне I, затем сотрудничал с Бурбонами. После 1820 г. посвятил себя профессорской деятельности. В 1830 г. был избран в палату депутатов. После революции 1830 г. занимал в разное время посты министра внутренних дел, просвещения, иностранных дел и премьера при короле Луи Филиппе. С 1840 г. до рево-

люции 1848 г. фактически руководил внутренней и внешней политикой Франции. Февральская революция 1848 г. положила конец его политической карьере.

245* Павлов Николай Филиппович (1805—1864), писатель, литературный критик. Сын крепостного. В 1811 г. получил вольную. В 1825 г. окончил Московский университет. Издавал газеты «Наше время» и «Русские ведомости». Большой успех имели «Три повести» (1835), сыгравшие известную роль в развитии русской реалистической прозы.

246* Гершензон ошибается. Мать Б.Н. Чичерина — Екатерина Борисовна, урожд. Хвошинская (ум. 1876).

247* А.С. Пушкин «Моя родословная» (1830).

248* Краснокутский Семен Григорьевич (1787 или 1788—1840). Прапорщик в лейб-гвардии Семеновского полка (1805). Участвовал в кампании 1807 г., в кампании 1812 г., а также в заграничных походах русской армии (1813—14) и при взятии Парижа. Масон. Обер-прокурор Правительствующего Сената, действительный статский советник (1825). Член Союза благоденствия (1817), член Южного общества декабристов и участник подготовки восстания на Сенатской площади. Приговорен к ссылке на поселение на 20 лет. Сначала отправлен в Верхоянск Якутской губ., затем в Минусинск Енисейской губ. и, наконец, в Тобольск, где и умер.

249* Беляев Александр Петрович (1803—1887). Мичман Гвардейского экипажа. Один из основателей тайного «Общества Гвардейского экипажа» (1824), автор его «статутов». Участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к каторжным работам на 12 лет, срок сокращен до 8 лет (1826); в 1832 г. отправлен на поселение в Илгинский винокуренный завод Иркутского округа, затем с 1833 г. жил вместе с братом Петром Петровичем, также сосланным по делу декабристов, в г. Минусинске. В 1839 г. определился вместе с братом рядовым на Кавказ в Кабардинский пехотный полк, затем в Навагинский пехотный полк, где в 1842 г. за отличие переведен в унтер-офицеры, в 1844 г. — в прапорщики. В 1846 г. в связи с болезнью уволен от службы подпоручиком. По амнистии 26 августа 1856 г. освобожден от надзора. Последние годы жизни провел в Москве. Мемуарист.

250* Кузмин Александр Кузьмич (1796—1863), первый минусинский окружной начальник (1827—36), поэт, писатель, по убеждениям либерал.

251* Радклиф Анна, урожд. мисс Уорд (1764—1823), английская писательница, популярная во всех странах Европы, в том числе в России. Главная особенность ее творчества — постоянное желание производить впечатление на читателя, запугать его воображение разными ужасами, переносить место действия в загадочную обстановку: мрачные подземелья, средневековые замки, нападения разбойников, одинокие заброшенные могилы и т.п.

252* Кривцов назначен рядовым в Кавказский корпус 23 сентября 1831 г., определен в 44 егерский полк 19 декабря 1831 г., переведен в резервную батарею 20 артил. бригады 7 августа 1834 г., с 4 июня 1835 г. — фейерверкер.

253* Линия (устар.) — граница, рубеж, ряд укреплений на пограничной черте государства.

254* Вельяминов Алексей Александрович (1785—1838), ген.-лейтенант, командующий войсками Кавказской линии.

255* Шапсуги — часть адыгейцев, в прошлом одно из адыгейских (черкесских) племен.

256* Орден св. Георгия — военный орден св. великомученика и победоносца Георгия. В России учрежден Екатериной II 26 ноября 1769 г. как особый орден для отличившихся в военной службе.

257* Щербатова Анна Михайловна (1761—1852), княжна, дочь М.М. Щербатова (1733—1790), князя, общественного и государственного деятеля, историка и публициста, родная сестра матери П.Я. Чаадаева.

258* Бегичев Дмитрий Никитич — автор романа «Семейство Холмских: Некоторые черты нравов и образа жизни, семейной и одинокой, русских дворян». Ч. 1—6. М., 1832.

259* Тургенева Елизавета Петровна, урожд. Апухтина — бабка И.С. Тургенева со стороны отца.

260* Тургенев Николай Николаевич (1795—1881), дядя И.С. Тургенева, в 1830-х гг. — штаб-ротмистр в отставке.

261* Персий Авл Флакк (34—62), римский поэт-сатирик. В его дошедших до нас 6 сатирах

(приведенные стихи из сатиры V) разрабатываются главным образом общие морально-этические проблемы, трактуемые в духе философии стоиков.

262* Чичерин Николай Васильевич (1801—1860), отец Б.Н. Чичерина, крупный помещик Тамбовской губ. и откупщик. См. 21*.

263* Аренд (Арендт) Николай Федотович (1785—1859), лейб-медик, личный врач императора Николая I и его семьи.

264* Фок (фон Фок) Александр Александрович (1803 или 1804—1854). Подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка. Членом декабристских обществ не был, о существовании тайного общества не знал, но, сомневаясь в действительности отречения цесаревича Константина от престола, агитировал против присяги Николаю I. Приговорен к разжалованию в солдаты в дальние гарнизоны без лишения дворянства с выслугой. Службу отбывал в Усть-Каме-ногорске и на Кавказе. В 1833 г. зачислен прапорщиком в 10 Оренбургский линейный батальон. Уволен в отставку в чине прапорщика с установлением секретного надзора и запрещением въезда в столицы.

265* За храбрость в боях Кривцов награжден Знаком отличия Военного ордена; учрежден в 1807 г. (с 1913 г. — Георгиевский крест), был причислен к Орденом Георгия, жаловался унтер-офицерам, солдатам и матросам за военные подвиги. С 15 ноября 1837 г. Кривцов произведен в прапорщики.

266* Репнин-Волконский Николай Григорьевич (1778—1845). Князь, в 1809—12 гг. — посланник в Вестфалии, в 1813—14 гг. — генерал-губернатор королевства Саксонии, с 1816 по 1835 г. — военный губернатор Малороссии (Украины).

267* Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865). Ген.-майор, бригадный командир 19 пехотной дивизии. С 1805 г. — поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, участник русско-турецкой кампании 1806—07 гг., войн с наполеоновской Францией, Отечественной войны 1812 г., а также заграничных походов 1813—15 гг. С 1813 г. — генерал-майор. Член Союза благоденствия (1819) и Южного общества декабристов. С 1823 г. один из руководителей Каменской управы Южного общества. Представлял умеренное направление среди декабристов. Приговорен к каторжным работам на 20 лет, срок сокращен до 15 лет, в 1832 г. — до 10 лет. В 1835 г. освобожден от каторжных работ и отправлен на поселение в Петровский завод, затем переведен на жительство в с. Урик Иркутской губ. (1836). В 1845 г. окончательно переселился в Иркутск. По амнистии 26 августа 1856 г. ему и его детям возвращено дворянство.

268* Разумовский Алексей Кириллович (1748—1822), граф, сын фаворита имп. Елизаветы Петровны Кирилла Григорьевича Разумовского. С 1769 г. на придворной службе. С 1810 по 1816 г. министр народного просвещения, противник М.М. Сперанского. Был вице-президентом Библейского общества. Выйдя в отставку, поселился под Москвой, где создал ботанический сад.

269* Прелиминарии (от лат.) — предварительные переговоры, соглашения, временные решения.

270* Шереметев Петр Борисович (1713—1787), граф, сенатор, сын знаменитого военного деятеля эпохи Петра I генерал-фельдмаршала Бориса Петровича Шереметева.

271* Креки (Crequé) Рене Каролина де (1714—1803), маркиза; в 1755 г. открыла салон, который посещали многие знаменитости, в том числе Д'Аламбер, переписывалась с Ж.-Ж. Руссо. Оставила многотомные мемуары (опубликованы после ее смерти).

272* Голицына Мария Аркадьевна, урожд. гр. Суворова-Рымникская, кн. Итальянская (1802—1870), внучка генералиссимуса А.В. Суворова, замужем за М.М. Голицыным (см. 127*). Пушкин посвятил ей стихотворение «Давно об ней воспоминанье...», написанное в Одессе в 1823 г.

273* Ферула (от лат. *ferula* — хлыст, розга) — в перен. смысле: строгое обращение, под угрозой наказания.

274* Перефразируются слова из «Бориса Годунова»: «Как в монастырь господь меня при-вел».

275* Уволен Кривцов от службы 18 апреля 1839 г. с запрещением въезда в столицы. Поселился в своем имении с. Тимофеевском Болховского уезда Орловской губернии. Разрешены

отлучки из Орла и приезд в столицы с предварительного разрешения шефа жандармов и с установлением секретного надзора в месте пребывания (март 1845), разрешен свободный приезд и проживание в столицах (1856). В 1860 г. в заграничном путешествии. В 1861 г. избран членом губернского по крестьянским делам присутствия.

276* Каррара — город на северо-западе Италии, основанный в X в. Известен месторождением высококачественного белого мрамора.

277* Иванов Александр Андреевич (1806—1858), художник. Родился в семье живописца — проф. петербургской Академии художеств А.И. Иванова. В 1830 г. выехал за границу как пенсионер Общества призрения художников и, посетив ряд городов Германии и Италии, обосновался в Риме, где в 1833—35 гг. пишет картину «Явление воскресшего Христа Марии Магдалине», принесшую художнику звание академика (1836); в Риме же создана знаменитая картина «Явление Мессии (Явление Христа) народу» (1837—57). По возвращении в Петербург внезапно скончался.

278* Киль Лев Иванович (Людвиг) (1790—1851), адъютант вел. кн. Константина Павловича, затем ген.-майор Свиты Его Величества, начальник русских художников в Риме, после Кривцова. Родился в Париже.

279* Плетнев Петр Александрович (1792—1865), критик и поэт. Происходил из духовного звания. Окончил Педагогический институт в Петербурге. С 1832 г. — профессор русской словесности, с 1841 г. — академик. В 1838—61 гг. — ректор Петербургского университета. В 1838—46 гг. издатель-редактор журнала «Современник». В 40—60-е годы придерживался умеренно-либеральных позиций.

280* Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859), писатель, славянофил. По окончании Казанского университета служил сначала в Петербурге, затем в Москве, где состоял цензором и директором Межевого института.

281* Бутенев Аполлинарий Петрович (1787—1866), дипломат, член Гос. совета, с 1804 г. в коллегии иностранных дел, в 1830 г. посол в Константинополе, с 1843 г. — посланник в Риме. После Крымской войны до 1858 г. снова в Константинополе.

282* Штернберг Василий Иванович (1818—1845), живописец, пейзажист и мастер жанровой живописи. Работал на Украине. К концу жизни поселился в Италии, где и умер.

283* Бенуа Николай Леонтьевич (1813—1898), профессор архитектуры, председатель петербургского общества архитекторов. Обучался в Академии художеств по классу архитектуры в Петербурге, по окончании которой работал помощником К.А. Тона, в частности, при строительстве храма Христа Спасителя в Москве. С 1840—46 гг. совершил поездку за границу в качестве казенного пенсионера. По возвращении в Россию был удостоен звания академика архитектуры, в 1858 г. — профессора. Отец Александра Николаевича Бенуа (1870—1960) — художника, одного из основателей журнала «Мир искусства».

284* Скотти Михаил Иванович (1812—1861) — художник. Родился в Москве в семье итальянца, после смерти отца воспитывался у проф. А.Е. Егорова и посещал классы Академии художеств в Петербурге. С 1845 г. — академик живописи.

285* Резанов Александр Иванович (1817—1837), архитектор, ученик и помощник К.А. Тона при строительстве храма Христа Спасителя в Москве, Большого Кремлевского дворца и Малого театра, впоследствии профессор и ректор Академии архитектуры.

286* Рамазанов Николай Александрович (1815—1867), скульптор. Обучался ваянию в Академии художеств в Петербурге. В Италии работал в качестве казенного пенсионера с 1842 по 1846 г. В 1849 г. удостоен звания академика, в 1856 г. — профессора.

287* Брюллов Карл Павлович (1799—1852), художник, профессор Академии художеств (1836). В 1809 г. поступил в Академию художеств в Петербурге. С 1822 г. жил в Риме. В 1830 г. начал работать над грандиозным полотном «Последний день Помпеи». В Италии приобрел репутацию замечательного портретиста. В 1835 г. возвратился в Россию. В 1850 г. — снова в Италии, где и умер.

288* Абазы Николай Саввич (1837—1901), доктор медицины, сенатор с 1880 г., член Государственного совета с 1890 г.

289* К первой половине 40-х годов XIX в. из династии Демидовых Анатолий Николаевич

Демидов (1812—1870) был известен, как и его знаменитый родственник Павел Григорьевич Демидов (1738—1821), на деньги которого было открыто, в частности, Ярославское Демидовское училище высших наук, крупными пожертвованиями на общественные нужды. Большую часть жизни А.Н. Демидов прожил в Европе, нередко наезжая в Россию. В 1841 г. он женился на племяннице Наполеона I Матильде, купил княжество Сан-Донато (около Флоренции) и там назывался князем Сан-Донато.

290* Репнина Варвара Николаевна (1808—1891), фрейлина, писательница, дочь малороссийского генерал-губернатора, кн. Н.Г. Репнина-Волконского и княгини Варвары Алексеевны, урожд. графини Разумовской. См. 266*.

291* Раевский Александр Николаевич (1795—1868), отставной полковник. Сын героя Отечественной войны 1812 г. Н.Н. Раевского. Участник русско-турецкой войны в 1810 г., Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Подозревался в принадлежности к тайным обществам декабристов, что в ходе следствия не подтвердилось. В 1826 г. чиновник особых поручений при новороссийском генерал-губернаторе, графе М.С. Воронцове. В 1827 г. вышел в отставку. Жил в Москве, умер в Нише.

292* «Соборное Уложение» 1649 г. (Уложение царя Алексея Михайловича) — сборник законов Русского государства, утвержденный на Земском Соборе 1648—1649 гг. в Москве. В течение 17—18 вв. сохраняло значение основного кодекса феодального права в России.

293* Речь идет о Азовских походах Петра I (1695—1696) против Турции за выход в Азовское и Черное моря, результаты которых были закреплены на Карловицком конгрессе в 1698—99 гг. и подтверждены Константинопольским мирным договором 1700 г.

294* Федор Алексеевич (1661—1682), царь 1676—82 гг., старший сын царя Алексея Михайловича и его первой жены Марии Ильиничны Милославской; после его смерти царем был провозглашен его брат Петр.

295* Батюшков Помпей Николаевич (1810—1892), действительный тайный советник. Окончив в Петербурге артиллерийское училище, поступил на военную службу. Вскоре перешел в ведомство Министерства внутренних дел и в 1850 г. был назначен вице-губернатором в Ковно. Последовательно занимал должности помощника попечителя виленского учебного округа, вице-директора департамента духовных дел иностранных исповеданий и попечителя виленского учебного округа, был членом Совета при Министерстве народного просвещения, а также членом многих учебных благотворительных и религиозных обществ и братств. Известен изданиями по истории, археологии, этнографии северо- и юго-западных районов России. Помимо научных изданий издал в 1887 г. сочинения своего старшего брата, поэта К.Н. Батюшкова.

296* Нессельроде Карл-Роберт (Карл Васильевич) (1780—1862), граф, сын русского посланника в Лиссабоне, служил при Павле I во флоте, в армии, при Александре I стал секретарем посольства в Париже. С 1816 по 1856 г. возглавлял ведомство иностранных дел. В 1844—56 гг. — государственный канцлер. При Александре I придерживался ориентации на Австрию и Пруссию, при Николае I, вопреки своим убеждениям, проводил линию царя на сближение с Англией и Францией.

297* Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829—1913), вторая жена Н.П. Огарева.

298* Гореткин Иван Николаевич (1798—1876), титулярный советник. Сын тульского помещика. Воспитывался в Московском университетском пансионе. На военную службу вступил юнкером в 1814 г., которую закончил в 1821 г. поручиком лейб-гвардии егерского полка. В 1824 г. определен в штат гражд. канцелярии Моск. военного генерал-губернатора. В 1825 г. — советник Московского губернского правления. Член Союза благоденствия (1818), московской управы Северного общества (1825) и тайной декабристской организации «Практический союз» (1825). После ареста отправлен в ссылку в Вятку, где жил под надзором и служил в канцелярии губернатора. С 1828 г. жил в Пензе. В 1848 г. ему было предоставлено право поступления на службу в Москве и беспрепятственного въезда в Петербург. Умер в Пензе.

299* Лихарев Владимир Николаевич (1803—1840), подпоручик квартирмейстерской части. В 1817 г. вступил колонновожатым в Моск. учебное заведение для колонновожатых, откуда выпущен прапорщиком, в 1823 г. подпоручик. Член Южного общества декабристов. Приговорен к каторжным работам. По окончании срока с 1828 г. находился на поселении в г. Кон-

динск Тобольской губ., с 1830 г. в г. Курган. В 1837 г. определен рядовым в действующую армию в Отдельный Кавказский Корпус. Убит в сражении с горцами.

300* Тизенгаузен Василий (Вильгельм-Сигизмунд) Карлович (1779 или 1780—1857), полковник, командир Полтавского пехотного полка. Из дворян Лифляндской губ. Лютеранин. Воспитывался в 1 кадетском корп. (поступил в 1789 г.). Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов. Член Южного общества (1824). Приговорен к каторжным работам на 2 года, срок сокращен до 1 года; в 1828 г. отправлен на поселение в г. Сургут Тобольской губ., затем в Ялutorовск. В 1853 г. разрешено возвратиться на родину в Нарву. По амнистии 26 августа 1856 восстановлен в прежних правах.

301* Толстой Владимир Сергеевич (1806—1888), прапорщик Московского пехотного полка. В службу вступил унтер-офицером в Екатеринбургский кирасирский полк в 1823 г. Член Южного общества (1824) Приговорен к каторжным работам. По особому повелению царя отправлен прямо на поселение в Тункинскую крепость Иркутской губ. В 1829 г. определен рядовым на Кавказ. Уволен от службы в чине есаула в 1849 г. По амнистии 1856 г. освобожден от всех ограничений.

302* Балашев Александр Дмитриевич (1770—1837), ген.-адъютант. В 1791 г. начал действительную службу поручиком в лейб-гвардии Измайловском полку, в 1809 г. — генерал-адъютант, генерал-лейтенант, Санкт-Петербургский военный губернатор. В 1810 г. — член Государственного совета и министр полиции. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813—14 гг. С 1819 по 1828 г. — ген.-губернатор округа (губернии Орловская, Тульская, Рязанская, Тамбовская и Воронежская). С 1832 по 1834 г. член Военного совета.

303* Розен Андрей Евгеньевич (1799—1884), барон, поручик лейб-гвардии Финляндского полка. Воспитывался в Нарвском народном училище (1812), в 1815 г. поступил в 1 кадетский корпус, откуда выпущен прапорщиком в лейб-гвардии Финляндский полк. Членом тайных обществ декабристов не был. Присутствовал на совещании членов Северного общества 11 и 12 декабря 1825 г. Участник восстания на Сенатской площади. Приговорен к каторжным работам на 10 лет, срок сокращен до 6 лет, по отбытии срока переведен на поселение в г. Курган Тобольской губ. В 1837 г. определен рядовым в Кавказский корпус. В 1839 г. по болезни уволен с военной службы. Проживал под строгим надзором на родине в Эстляндской губ., с 1855 г. в Харьковской губ. (освобожден от надзора с запрещением въезда в столицы). По амнистии 26 августа 1856 г. восстановлен в правах, после 1861 г. жил в имении Каменке Изюмского уезда. Его «Записки декабриста» появились на немецком языке в 1869 г., а затем неоднократно издавались в России.

304* Бобрищев-Пушкин Николай Сергеевич (1800—1871). Поручик квартирмейстерской части. Член Союза благоденствия (1820 или 1821 г.) и Южного общества. Арестован в Тульчине в 1826 г. Приговорен к ссылке навечно, срок сокращен до 20 лет. Отправлен на поселение в Среднеколымск Якутской обл. (1826), откуда пытался бежать. В 1827 г. переведен в Туруханск. Поступил сначала в Троицкий монастырь близ Туруханска в 1827 г., затем переведен в Спасский монастырь в Енисейск в 1828 г. В 1829 г. находился на излечении в енисейской городской больнице, в 1831 г. переведен в дом умалишенных в Красноярск. В 1833 г. в Красноярск прибыл на поселение его брат, Павел Сергеевич. В 1839 г. разрешено перевести обоих братьев в Тобольск. В 1856 г. обоим было разрешено вернуться на родину в Тульскую губ.

305* Шаховской Федор Петрович (1796—1829), князь. Отставной майор. В службу вступил в 1813 г. в резервную команду лейб-гвардии Семеновского полка. Участвовал в военных действиях 1814 г. на территории Франции до взятия Парижа. Уволен в отставку майором (1822). Член Союза спасения и Союза благоденствия. Приговорен к ссылке на вечное поселение. Отправлен в Сибирь 27 июля 1826 г., поселен в Туруханске Енисейской губ. В 1827 г. переведен в Енисейск. В 1829 г. в связи с психич. заболеванием переведен в Спасо-Евфимиевский монастырь (Суздаль), где и умер. Автор записок о Туруханском крае.

306* Волконский Петр Михайлович (1776—1852), светлейший князь (1834), генерал-адъютант, генерал-фельдмаршал (1850). В 1812—14 гг. — начальник Генерального штаба. Близкий друг Александра I в бытность его великим князем и на протяжении всего его царствования. С 1826 г. — министр императорского двора и уделов

^{307*} «Энеида» — знаменитая поэма римского поэта Вергилия Марона Публия (70—19 до н.э.), написанная в параллель «Илиаде» и «Одиссее».

^{308*} Покровский Михаил Михайлович (1869—1942), языковед и филолог, ученик и последователь Ф.Ф. Фортунатова. Профессор по истории римской литературы.

^{309*} Стасов Владимир Васильевич (1824—1906), художественный и музыкальный критик, историк искусства, почетный член Академии наук (с 1900).